

АКАДЕМИЯ НАУК СССР
ИНСТИТУТ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

В О П Р О С Ы
ЯЗЫКОЗНАНИЯ

ГОД ИЗДАНИЯ

VI

4

ИЮЛЬ — АВГУСТ

ИЗДАТЕЛЬСТВО АКАДЕМИИ НАУК СССР
МОСКВА — 1957

РЕДАКЦИОННАЯ

*О. С. Ахманова, И. А. Баскаков, Е. А. Бокарев, В. В. Вшюградое (главный редактор),
В. П. Григорьев (и. о. отв. секретаря редакции), А. И. Ефимов, В. В. Иванов
(п. о. зам. главного редактора), И. И. Конрад, В. Г. Орлова, Г. Д. Санжеев,
Б. А. Серебрянников, И. М. Толстой, А. С. Чикобава, И. Ю. Шведова*

Адрес редакции: Москва, К-12, ул. Куйбышева, 8. Тел. Б 1-75-42

Б. А. СЕРЕБРЕННИКОВ

ТЕОРИЯ ВОЛН ИОГАННА ШМИДТА И ЯВЛЕНИЯ ЯЗЫКОВОЙ АТТРАКЦИИ

Восемьдесят пять лет назад в г. Веймаре была опубликована работа немецкого лингвиста Иоганна Шмидта «Die Verwandtschaftsverhältnisse der indogermanischen Sprachen». В этой небольшой по объему книге автор высказал целый ряд свежих и интересных мыслей, получивших дальнейшее развитие в современной зарубежной лингвистике, но совершенно незаслуженно, как нам кажется, забытых в советском языкознании.

И. Шмидт впервые подверг резкой критике теорию родословного древа Шлейхера, который, учитывая различные явления, связывающие славяно-балтийские (славяно-латышские, по терминологии И. Шмидта) языки с немецким, с одной стороны, и известную близость греческого, латинского и кельтского — с другой, выдвинул гипотезу о том, что первые произошли из североевропейского языка-основы, а вторые — из так называемого южноевропейского языка-основы. Доказывая несостоятельность гипотезы Шлейхера, И. Шмидт обратил внимание на то, что славяно-балтийские языки, которые Шлейхер объединял с германскими, обнаруживают значительное количество общих черт с индо-иранскими языками. Скрупулезный учет всех этих общих черт показал, что славянские языки стоят ближе к иранским, чем литовский. Отсюда И. Шмидт сделал вывод, что «географически ближе расположенные друг к другу языки больше имеют между собой сходства, чем языки, более далеко отстоящие, что существует постепенный переход от индийских языков через иранские к славянским и от последних к литовским [балтийским], что славянские языки содержат больше арийских черт, чем литовский [балтийский], а иранский в свою очередь содержит больше славянских черт, чем санскрит»¹.

«Мы должны признать, — заявляет далее И. Шмидт, — что литовско-славянский, с одной стороны, неразрывно связан с немецким, а с другой — не менее тесно связан с арийским. Европейские, немецкие и арийские характерные черты взаимопроникают настолько основательно, что целый ряд явлений возник только в результате их органического взаимодействия»². «Славяно-латышский, — по мнению И. Шмидта, — не мог оторваться ни от немецкого, ни от арийского, а представляет органическое переходное звено от одного к другому»³. Очень интересны наблюдения И. Шмидта над лексическим составом этих языков. Лексика славяно-балтийских языков по сравнению с немецкой содержит в четыре раза больше арийских составных частей (61 : 15) и в десять раз больше немецких составных частей по сравнению с арийским словарным составом.

Далее И. Шмидт показывает, что и в южной Европе нет незыблемой границы между греческим и индо-иранскими языками. Несмотря на дей-

¹ J. Schmidt, Die Verwandtschaftsverhältnisse der indogermanischen Sprachen, Weimar, 1872, стр. 15—16 (в этой цитате, как и в последующих, сохранена терминология И. Шмидта. — Б. С.).

² Там же, стр. 16.

³ Там же, стр. 17—18.

ствительное наличие общих черт, связывающих греческий язык с латинским и итальянскими, все же, по мнению И. Шмидта, нельзя пройти мимо тех особенностей, которые связывают греческий язык с индо-иранскими. И. Шмидт справедливо замечает, что в области спряжения глаголов ни один из индоевропейских языков не стоит так близко к индо-иранским, как греческий. Он обращает внимание читателя на наличие таких общих явлений в этих языках, как аугмент, аористы с удвоением, сходство в образовании некоторых инфинитивов, сходство в названии числительного «тысяча» и т. д. Оказывается также, что у греческого языка слов, общих с индо-иранским, больше, чем у итальянских языков. Таким образом, и греческий язык оказался неразрывно связанным как с латинским, так и с индо-иранскими языками. Далее обнаружилось, что и кельтские языки являются промежуточным звеном между латинским и немецким языками. «Повсюду видим мы, — замечает И. Шмидт, — постепенные переходы от одного языка к другому»¹.

Не менее интересны наблюдения И. Шмидта относительно диапазона распространения общих черт в родственных языках. «Нельзя не признать, — говорит И. Шмидт, — что индо-германские языки тем больше теряют первоначальные особенности, чем дальше они продвинуты на запад, а два граничащие друг с другом языка обнаруживают всегда некоторые только им свойственные общие черты»².

«Теория волн» И. Шмидта неоднократно подвергалась критике. Некоторые лингвисты, как например, П. Кречмер, отчасти А. Лескин, критикуя И. Шмидта, одновременно пытались сгладить острые углы и, находя рациональное зерно в «теории волн», утверждали, что взгляды И. Шмидта не находятся в кричащем противоречии с взглядами младограмматиков. Более резкой критике подвергла «теорию волн» А. В. Десницкая, по мнению которой эта теория «не внесла чего-либо существенного в решение вопроса о процессах образования индоевропейских языков»³.

Не считая теорию волн И. Шмидта абсолютно правильной и безупречной, мы хотим в данной статье, опираясь на конкретные языковые факты, перечислить как доводы, ее подтверждающие, так и аргументы, свидетельствующие о ее недоработанности. Начнем прежде всего с анализа тех языковых явлений, которые подтверждают теорию волн И. Шмидта.

*

Распространение различных особенностей языка — как утвердившихся в его системе, так и вновь возникающих путем полной передачи — глубоко коренится в самой природе языка. Совершенно невозможно представить (если иметь в виду случаи естественного развития языка), чтобы каждая языковая инновация мгновенно стала достоянием всего языка в целом; начинаясь с импульса, она постепенно расширяет свою сферу.

Известен также другой факт, что особенности данного языка могут выходить за его границы. В настоящее время можно считать твердо установленным, что каждый язык всегда что-нибудь усваивает от смежного по территории расположения языка. Абстрагируемся на время от сложности процессов, которыми отличается историческое развитие языков, и представим мысленно целую цепь, состоящую, скажем, из восьми языков, расположенных на смежных территориях. Если доказано, что один язык может в какой-то мере влиять на соседний язык, то с течением времени все соседящие друг с другом языки, входящие в эту цепь, неизбежно будут охва-

¹ J. Schmidt, указ. соч., стр. 26.

² Там же.

³ А. В. Десницкая, Вопросы изучения родства индоевропейских языков. М. — Л., 1955, стр. 157.

чены так называемой языковой аттракцией, иными словами, каждый язык приобретет от соседнего некоторые его черты. Графически это можно было бы изобразить следующим образом:

12345678.

Попробуем теперь проверить эти абстрактные доводы на конкретном языковом материале. В настоящее время на территории Европы и Азии, пожалуй, трудно найти такую семью языков, все члены которой были бы выстроены в одну линию, так как различные территориальные перемещения носителей этих языков в известной мере запутали лингвистическую последовательность. Наиболее подходящими в этом отношении нам представляются современные самодийские и финно-угорские языки. Крайними восточными звеньями этой цепи являются самодийские и обско-угорские языки, а крайними западными звеньями — прибалтийско-финские.

В бассейне р. Оби территориально соприкасаются самодийские и обско-угорские языки. Самодийские языки настолько сильно отличаются от обско-угорских языков — хантыйского и мансийского, что, казалось бы, ничего не имеют между собой общего. Однако более внимательный анализ позволяет обнаружить в них целый ряд общих черт¹.

В области фонетики тенденция к спирантизации древнего веларного κ является характерной чертой ненецкого², хантыйского и мансийского языков; ср. ненецк. *халл*, хант. *хул*, манс. *хул*, но финск. *kala*, марийск. *кол*, мордовск. *кол* «рыба»; ненецк. *хады*, финск. *kuusi*, эстонск. *kuus*, коми-зырянск. *коз*, марийск. *кож* «ель».

Падежная система самодийских и обско-угорских языков в общей совокупности составляющих их диалектов обнаруживает известное единство схемы. В самодийских языках имеются именительный, родительный, винительный, дательный-направительный, местный, отложительный, продольный, творительный-совместный и превратительный падежи. Последние два падежа отсутствуют в ненецком, но наличествуют в селькупском. В мансийском языке, по сравнению с селькупским, недостает только трех падежей — родительного, продольного и винительного. В ваховском диалекте хантыйского языка количество падежей и их функции почти полностью совпадают с количеством падежей и их функциями в селькупском языке.

Наблюдается также сходство семантического содержания некоторых падежей в ненецком и обско-угорских языках. По утверждению Н. М. Терещенко, местно-творительный падеж в ненецком языке выполняет как функции местного падежа, так и некоторые функции творительного, например: *гой ядхана мл' падлы* «на склоне хребта стоит чум»; *тубкажана ма-*

¹ Примеры в статье приводятся: из ненецкого языка — по работам Н. М. Терещенко «Очерк грамматики ненецкого (юрако-самоедского) языка» (Л., 1947) и «Краткий очерк лексики и грамматики ненецкого языка» (в кн. «Ненецко-русский словарь», Л., 1955), а также Г. Н. Прокофьева «Ненецкий (юрако-самоедский) язык» (сб. «Языки и письменность народов Севера, т. I — Языки и письменность самоедских и финно-угорских народов», М. — Л., 1937); из энецкого диалекта — по работе Г. Н. Прокофьева «Энецкий (ендсейско-самоедский) диалект» (там же); из селькупского языка — по работе Г. Н. Прокофьева «Селькупский (остяко-самоедский) язык» (там же); из мансийского языка — по работе В. Н. Чернецова «Мансийский (вогульский) язык» (там же), по «Грамматическому очерку» в кн.: В. Н. Чернецов и И. Я. Чернецова, Краткий мансийско-русский словарь, М. — Л., 1936, а также по «Грамматическому таблицам по словоизменению в мансийском языке (имя существительное, местоимение, глагол)» А. Н. Баландина (Приложение I в кн.: Е. И. Ромбанцева, Русско-мансийский словарь для мансийской школы, Л., 1954); из хантыйского языка — по ил.: W. Steinitz, Ostjakische Grammatik und Chrestomathie, 2-e Aufl., Leipzig, 1950; по работе А. Н. Баландина «О языках и диалектах ханты» (сб. «В помощь учителю школ Крайнего Севера», вып. 5, Л., 1955).

² Надо отметить, что спирантизация веларного κ свойственна не всем самодийским языкам.

торпида «он рубит топором»; *хубтахана тута* «спридут утром»; *тыда хабцянгга на ха ма* «колена его пали от болезни». Кроме того, этот падеж имеет функции совместного падежа: *Неко небяхана ядрнегадамз* «я ходил с матерью Неко»¹.

В. Штейниц, характеризуя местный падеж в хантыйском языке, по существу приводит те же значения, например: *уорпа* «в лодке»; *йркпа рйтэцэте* «он опрыскал ее водой»; *йрхи йр-эвэтна улта эн* «мужчина живет со своей сестрой» и т. д.². Необходимо отметить, что в языке коми, территориально наиболее близком к ненецкому и обско-угорским языкам, местный падеж не может употребляться в роли творительного и совместного падежей, а также обозначать причину действия.

Дательно-направительный падеж в ненецком языке имеет функции дательного и направительного падежей одновременно, например: *нга-цекэн сянаком ми'нга* «она подарила ребенку игрушку»; *мят тыда янам-бовна вацобалы* «к чуму он подкрался тихо».

В мансийском языке направительный падеж имеет те же функции, например: *хит усн мини* «человек в город идет»; *тау писале а-эн мисте* «он ружье (свое) отцу (своему) дал».

По утверждению В. Штейница, латив в хантыйском языке также может иметь значение дательного падежа³. В языке коми, близком по территории своего расположения к ненецкому и обско-угорским языкам, направительный падеж не имеет функций дательного падежа.

Ненецкий, хантыйский и мансийский языки объединяет наличие двойственного числа в склонении существительных и в спряжении глаголов; ср. в ненецком: *хасаваха' ёрнегаха'* «двое мужчин ловят рыбу»; *тюни'* «мы (двое) приехали», *тоди'* «вы (двое) приехали», *тонгаха'* «они (двое) приехали»; в мансийском: *ханыг* «две лодки», *варемен* «мы (двое) делаем», *варегым* «вы (двое) делаете», *варег* «они (двое) делают»; в хантыйском: *ешерэн* «две девушки», *таптэн* «мы (двое) дали», *таптэн* «вы (двое) дали», *тапэн* «они (двое) дали». Как известно, в европейских финно-угорских языках (если не считать лапландского⁴) двойственное число в системе имени и глагола отсутствует.

Еще более разительные черты сходства обнаруживаются в системе глагола. Одной из наиболее характерных черт системы ненецкого глагола является различие типов спряжения переходных и непереходных глаголов⁵. Например: *иледм* «я живу», *илен* «ты живешь» и т. д., но: *хадав* «я убил (одного)», *хадар* «ты убил (одного)» и т. д.

Сходная с ненецким языком картина наблюдается в обско-угорских языках. В мансийском и хантыйском языках существуют так называемые безобъектное и объектное спряжения глаголов; ср. в мансийском: *варегум* «я делаю», *варегым* «ты делаешь» и т. д., но *тотилум* «я несу это», *тотилым* «ты несешь это» и т. д.; в хантыйском: *матэм* «я даю», *матэн* «ты даешь» и т. д., но: *матем* «я даю это», *матен* «ты даешь это» и т. д.⁶.

¹ Н. М. Терещенко, Очерк грамматики ненецкого (юрако-самоедского) языка, стр. 84—86.

² W. Steinitz, указ. соч., стр. 51—52.

³ Там же, стр. 52.

⁴ В некоторых западных говорах лапландского языка глагол имеет двойственное число.

⁵ По наблюдениям Г. Н. Прокофьева [см. его работу «Ненецкий (юрако-самоедский) язык», стр. 49] переходный по своей природе глагол оформляется личными суффиксами переходного залога в тех случаях, если обозначаемое им действие обращено на предмет (или лиц), который говорящему представляется вполне определенным. Эту же особенность, правда, с некоторыми оговорками, отмечает и Н. М. Терещенко в своем «Очерке грамматики ненецкого (юрако-самоедского) языка» (стр. 200).

⁶ Все исследователи обско-угорских языков утверждают, что употребление объектного спряжения связано с определенностью объекта.

В ненецком языке личные окончания глаголов, спрягающихся по переходному типу спряжения, совпадают с притяжательными суффиксами; ср. *hadaw* «я убил (его)» — *wənekow* «моя собака»; *hadar* «ты убил его» — *wənekor* «твоя собака» и т. д. То же самое явление наблюдается в обско-угорских языках. Правда, там притяжательные суффиксы и личные окончания глаголов в значительной части стали омонимичными, но в третьих лицах единственного и множественного чисел объектного спряжения связь личных окончаний с притяжательными суффиксами выступает особенно отчетливо; ср. в мансийском языке: *zapanył* «их лодка» и *totiyanıy* «они несут это»; в хантыйском: *ewet* «их девушка» и *malet* «они дают это».

Характерной чертой ненецкого языка является наличие двух прошедших времен. Одно из них имеет специфический показатель -с, например: *иледамъ* «я жил», *иленась* «ты жил», *илесь* «он жил» и т. д. Другое прошедшее время (оно иногда может передавать значение настоящего времени) не имеет по существу своего показателя, например: *хайдм* «я пошел, я поехал», *хайдм* «ты пошел, ты поехал» и т. д.

В обско-угорских языках имеется одно, так называемое с-овое прошедшее время; ср. в мансийском: *варсум* «я делал», *варсым* «ты делал», *варыс* «он делал» и т. д.; в хантыйском: *масым* «я дал», *масын* «ты дал», *мас* «он дал» и т. д. Однако некоторые данные диалектов заставляют предполагать наличие в древних обско-угорских языках двучленной схемы прошедших времен, как и в ненецком языке. В языке ваховских ханты, например, имеется так называемое бессуффиксальное прошедшее время, например: *ма верам* «я делал», *ма вэям* «я жил», наряду с с-овым прошедшим временем, например: *ма версам* «я делал».

Ненецкий язык стремится выразить в глаголе число объекта, на которое распространяется действие переходного глагола, например: *хадав* «я убил (одного)», *хадар* «ты убил (одного)» и т. п.; *хадангахаюн* «я убил двоих», *хадангахаюд* «ты убил (двоих)» и т. д.; *хадаян* «я убил (многих)» и т. д. Подобными же свойствами отличается в обско-угорских языках и глагол; ср. в мансийском языке: *тотилум* «я несу это (один предмет)», *тотилгум* «я несу эти (два предмета)», *тотиянум* «я несу эти (многие предметы)»; в хантыйском: *матем* «я даю это (один предмет)», *маттам* «я даю их (два или много предметов)».

На основе м-ового причастия в мансийском языке возникло так называемое повествовательное наклонение прошедшего времени, например: *минамум* «говорят, что я шел»; *минамын* «говорят, что ты шел»; *минам* «говорят, что он шел» и т. д. Эта форма употребляется в тех случаях, когда речь идет о действии, которое произошло не на глазах у говорящего, или когда нужно указать, что одно действие закончилось к началу другого действия¹. В ненецком языке причастие совершенного действия на -вы и -мы также может выступать в роли *verbum finitum*, значения которого в общем соответствуют значениям аналогичной формы в мансийском языке². Подобное явление свойственно и другим самодийским языкам; ср. предположительное наклонение в энецком диалекте, образуемое при помощи суффикса -гi; например *bū jigei* «он, очевидно, жил», а также повествовательное наклонение в селькупском языке. По-видимому, то же самое явление отмечено В. Штейницем в хантыйском языке, где м-овое причастие иногда выступает в роли *verbum finitum*³.

В обско-угорских языках в роли личного окончания 2-го лица един-

¹ См. об этом: В. Н. Чернецов, Мансийский (вогульский) язык, стр. 185.

² О значениях причастий на -вы и -мы в функции сказуемого см. Н. М. Терещенко, Краткий очерк лексики и грамматики ненецкого языка, стр. 294.

³ W. Steinitz, указ. соч., стр. 70.

ствяного числа выступает не *t* или *d*, как в остальных финно-угорских языках, а *n*, например: манс. *варегын* «ты делаешь», хант. *матын* «ты даешь». Эта же особенность свойственна также самодийским языкам, например ненецк. *илен* «ты живешь».

Трудно представить себе совершенно независимое, спонтанное происхождение всех этих особенностей. Мы имеем дело здесь с целым комплексом их, можно сказать — с языковой манерой, свойственной языкам особой зоны, которую мы предварительно называем восточно-приуральской языковой зоной.

Попробуем теперь произвести подобный анализ в финно-угорских языках, расположенных уже целиком на территории Европейской части СССР к западу от Урала. Непосредственно соседящим с ненецким языком в Европейской части СССР будет язык коми. В языке коми представлена уже иная языковая манера. В настоящее время в нем нет двойственного числа; по-прежнему организована падежная система; в системе глагола получило преимущество и-овое, а не с-овое прошедшее время; в спряжении нет противопоставления переходных и непереходных глаголов; иной характер имеет фонетическая система. Перед нами совершенно другой язык. Однако более внимательный анализ структуры этого языка позволяет обнаружить в нем некоторые следы тех черт, которые являются типичными для языков зоны восточного Приуралья.

Выше уже говорилось о том, что в системе глагола самодийских, мансийского и хантыйского языков ярко проявляется тенденция к выражению числа объекта посредством особых показателей, включаемых в форму глагола¹. В коми-зырянском языке множественность объекта в глаголе может выражаться посредством особого суффикса *-ал(-ав)*, например: *аслам киясён лэпталэ ящикъяс машина вылэ* «своими руками поднимал ящики на машину». Это явление, хотя и в меньшей степени, свойственно удмуртскому языку, например: *Соколовы со трос юанъёс сётъяз* «Соколову он задал много вопросов».

В языке коми различие между переходными и непереходными глаголами не проводится, но все же сохранились некоторые намеки на то, что некогда это различие проводилось. Так, например, все переходные глаголы в третьем лице единственного числа первого прошедшего времени имеют окончание *-с*, например: *босьтис* «он взял», *лэптис* «он поднял» (формы 3-го лица мн. числа — *босьтисны* «они взяли», *лэптисны* «они подняли») и т. д. У непереходных глаголов это *-с* иногда опускается, например: *лои* «он стал», *уси* «он упал», *куси* «он погас», *муні* «он ушел», *вёлі* «он был» (соответственно формы третьего лица мн. числа — *муніны*, *усины*, *кусины*, *вёліны*) и т. д.

Как и в ненецком и обско-угорских языках, в большинстве диалектов коми языка в роли личного окончания второго лица единственного числа глаголов выступает *-н*, например *мунан* «ты идешь». Так же, как и в ненецком языке, в коми языке притяжательный суффикс второго лица единственного числа может иметь артиклевое значение. В некоторых диалектах коми языка притяжательные суффиксы были использованы в роли личных глагольных окончаний. Кроме того, коми-зырянский язык имеет известное количество слов, общих для него с обско-угорскими языками и не встречающихся в близко родственном ему удмуртском языке².

¹ В самодийских языках множественность объекта может выражаться также посредством особых видовых суффиксов; ср., например, в селькупском: *тип'тегынлэ* «шпеныков (много) наделал он», а также в ненецком: *гада (сы)* «убить», *габерыч* «поубивать многих».

² В то же время интересно отметить, что в некоторых южных диалектах языка коми, расположенных на территориях, более близких к зоне распространения удмурт-

Если в языке коми имеются некоторые следы тяготения к языкам зоны восточного Приуралья, то в удмуртском языке эти черты постепенно утрачиваются. Резко снижается количество глагольных суффиксов с видовым значением, не наблюдаются в первом прошедшем времени случаи использования притяжательных суффиксов в роли личных окончаний, нет следов былого различия переходных и непереходных глаголов, отсутствует личное окончание второго лица *-н*, глагольная система по своей семантике обнаруживает заметный крен в сторону марийского языка.

Ближайшим к пермским языкам по территории распространения является марийский язык. Марийский язык является языком нового качества. По характеру своей лексики он довольно сильно отличается от пермских языков, обнаруживая в этой области некоторое тяготение к прибалтийско-финским языкам: процент слов, общих со словами этих языков, в марийском языке является более значительным, чем в языке коми. Но в то же время в марийском языке имеется группа таких слов, которые встречаются только в марийском и в пермских языках, но отсутствуют в прибалтийско-финских; ср. марийск. *тылзы*, коми-зырянск. *толъсь*, удм. *толъсь* «месяц»; марийск. *пуш*, коми-зыр. *пыж* «лодка»; марийск. *пундаш*, коми-зырянск. *пыдӧс*, удм. *пыдӧс* «дно»; марийск. *тӱр*, коми-зырянск. *дор* «край» и т. д.

Существенно отличается марийский язык от пермских и в отношении фонетической системы. Однако при всех этих различиях марийский язык имеет ряд черт, которые связывают его с пермскими и не встречаются в мордовском языке. В области фонетики для марийского языка характерна тенденция к задерживанию гласных; ср. финск. *pesä*, луг. марийск. *пыжаш* «гнездо»; финск. *pirtti* «пэбза»; марийск. *пӧрт* «дом»; финск. *valkea* «белый» луг. марийск. *волыдо* «светлый»; финск. *hapan*, марийск. *шово* «кислый» и т. д. Эта же тенденция оказывается характерной и для пермских языков; ср. финск. *tehen*, коми-зырянск. *муна* «яду», удм. *мыно* «я пойду»; финск. *paras*, «наилучший», удм. *бур*, коми-зырянск. *бур* «хороший»; финск. *vanha*, удм. *еуж* «старый»; финск. *taksa*, удм. *мус* «щель»; финск. *maa*, удм. *му* «земля» и т. д.

Имеются некоторые общие черты в области морфологии. В дательном падеже в марийском, как и в некоторых пермских, присутствует *л*-овый элемент, например: *Йолдашлан* «товарищу» (ср. в коми языке *вӧрлань* «по направлению к лесу»). В мордовском языке *л*-овый элемент в падежных окончаниях отсутствует.

В марийском языке, как и в пермских, существуют перфект и плюсквам-перфект, совершенно отсутствующие в мордовском языке; например, в луговом марийском языке *возен* «он написал», *возен ыле* «он написал раньше», ср. в коми языке *гижӧма* «он написал», *гижӧма вӧлі* «он написал раньше», удм. *мынем* «он ушел», *мынем вал* «он ушел раньше».

В марийском языке имеется прошедшее длительное время, образуемое из форм настоящего времени основного глагола и окаменелой формы третьего лица ед. числа первого прошедшего времени вспомогательного глагола «быть», например, *налам ыле* «я брал», *налат ыле* «ты брал», *налеш ыле* «он брал» и т. д. Эта временная форма построена по той же самой схеме, что и прошедшее длительное в пермских языках; ср. в коми: *босьта вӧлі*

ского языка, наблюдаются некоторые удмуртизмы как в области лексики, так и грамматики, например: в говоре села Слудка имеются слова типа *чериг* «рыба» (ср. удмуртск. *чоры*); личные окончания первого и второго лица мн. числа типа *-мӧ*, *-дӧ*, напоминающие соответствующие личные окончания *-мы*, *-ды* в удмуртском языке (подобные окончания встречаются и в пермяцких говорах); суффиксы *-ылл*, *-алл*, напоминающие суффиксы множественности действия в удмуртском языке, и т. д. (см. об этом Т. И. Жилкина, О говоре села Слудка, «Историко-филологический сборник [Коми филиала АН СССР]», вып. 3, Сыктывкар, 1956, стр. 84).

«я брал», *босьтан вöлі* «ты брал», *босьтö вöлі* «он брал» и т. д.; в удмуртском: *бастысько вал* «я брала», *бастыськод вал* «ты брал», *бастэ вал* «он брал» и т. д.

Перфект в марийском языке, как и в пермских, приобрел паряду с чисто перфектным значением способность выражать действие, неочевидное для говорящего, в результате чего образовались особые глагольные времена наклонения неочевидности. Употребление прошедшего длительного в марийском, как и в пермских языках, связано с наличием эмфазы.

Притяжательный суффикс третьего лица в марийском языке, как и в пермских, по наблюдениям Я. Г. Григорьева, помимо функции указания принадлежности, может иметь артиклевое значение, например: *Пöтыр письмам налын. Письмаже аваж дечын улмаш* «Петр получил письмо. Письмо было от матери». Способность притяжательного суффикса третьего лица единственного числа присоединяться не только к именам существительным, но почти ко всем частям речи сближает марийский с языком коми. Притяжательный суффикс в этих случаях играет роль своеобразного средства усиления.

Далее по территории расположения следует мордовский язык. По сравнению с марийским, мордовский в области лексики еще в большей степени приближается к прибалтийско-финским языкам. Заметные отличия от марийского наблюдаются в области морфологии, особенно в области глагола. В мордовском языке нет форм перфекта и плюсквамперфекта, нет особых времен наклонения неочевидности, но зато имеется, как и в обско-угорских языках, объектное спряжение и так называемое определенное склонение. Выражение отрицания посредством особых форм отрицательного глагола в парадигме настоящего времени утратилось. Притяжательный суффикс третьего лица единственного числа не обладает такой активностью, как в пермских и марийском языках.

Тем не менее все же нельзя сказать, что мордовский язык не имеет никаких общих черт с марийским. В мордовском языке встречаются слова, имеющие параллели только в марийском языке; ср.: эрзя-мордовск. *ашо*, марийск. *ош* «белый»; эрзя-мордовск. *панго*, марийск. *понго* «гриб»; эрзя-мордовск. *моро*, марийск. *муро* «песня»; эрзя-мордовск. *ташито*, марийск. *тшито* «старый»; эрзя-мордовск. *сардо*, марийск. *шордо* «лось»; эрзя-мордовск. *сил*, марийск. *ший* «серебро» и т. д.

Существуют связи и в области языковой структуры. В качестве примера наиболее разительного схождения между марийским и мордовским языками можно привести наличие с-ового элемента в формах прошедшего времени отрицательного глагола, например в марийском: *шым луд* (*ш < с*) «я не читал», *шым луд* «ты не читал», *шш луд* «он не читал» и т. д.; ср. в эрзя-мордовском: *эзын корта* «я не говорил», *эзыть корта* «ты не говорил», *эзь корта* «он не говорил» и т. д.

Марийский и мордовский языки при образовании форм повелительного наклонения используют притяжательные суффиксы, чего не наблюдается в пермских языках. Ср. луг. марийск. *лудшо* «пусть он читает», *лудышит* «пусть они читают», эрзя-мордовск. *корташо* «пусть он говорит», *кортасть* «пусть они говорят». Марийский язык связан с мордовским и по линии с-ового латива, отсутствующего в пермских языках; ср. марийск. *алеш* «в деревне» (в прошлом обозначало «в деревню»), эрзя-мордовск. *еелес* «в деревню», *кудос* «в дом» и т. д.

В третьем лице единственного и множественного числа первого прошедшего времени в мордовском языке еще сохраняются остатки с-ового прошедшего времени, чего уже нет в прибалтийско-финских языках. Как и в марийском, в мордовском языке наблюдается тенденция к замене старых надежных окончаний послелогом. Основа слова в мордовском

языке, как и в марийском, отличается большей прочностью и однообразием по сравнению с основой в прибалтийско-финских языках.

Прибалтийско-финские языки по некоторым особенностям своей структуры тяготеют к мордовскому более, чем к какому-либо из других финно-угорских языков, но вместе с тем обнаруживают немало элементов нового качества. Резко изменился характер фонетической системы, что выразилось в утрате аффрикат, образовании долгот и т. д. Одной из характерных особенностей прибалтийско-финских языков является развитие на базе древнего аблатива нового падежа — партитива. В эстонском и финском языках образовались аналитические времена — перфект и плюсквамперфект, причем в отличие от бессвязочного перфекта в пермских и марийских языках здесь перфект содержит в своем составе вспомогательный глагол.

Территориально прилегающий к финскому саамский, или лапландский, язык имеет много черт, связывающих его с прибалтийско-финскими языками, но в то же время обнаруживает некоторые признаки, сближающие его с финно-угорскими языками волжской и пермской групп. Венгерский язык обнаруживает явные следы тяготения к обско-угорским и отчасти к пермским языкам. При этом интересно отметить, что некоторые особенности венгерского языка свидетельствуют о том, что он некогда занимал промежуточное положение между обско-угорскими и волжскими языками.

И. Шмидт видел наличие постепенных переходов только между родственными языками. В действительности же языковой аттракции подвергаются также неродственные языки, если они расположены на смежных территориях. Так, например, в удмуртском языке, соседящем с татарским, появились некоторые особенности, свойственные последнему. Сюда относится образование сложных глаголов по татарским моделям (например, удм. *гырыса быдтыны* и татарск. *сәреп бетерергә* «вспахать»; удм. *куртчыса басыны* и татарск. *тешиләп алырга* «укусить»), употребление оборотов типа *адзэме вань* «видел», соответствующих татарск. *күргәнем бар*, регулярное употребление изафетной конструкции с оформленным первым именем (например: *Китайләи экономикаез* «экономика Китая»; ср. татарск. *эшчеләрнең тормышы* «жизнь рабочих»), частое употребление дееспричастия, наличие многих десятков заимствованных слов и т. д.

Марийский язык оказывается связанным не только с пермскими и мордовским языками, но также с чувашским и отчасти с татарским. Количество общих черт, связывающих марийский и чувашский языки, довольно велико. К ним относится наличие некоторых общих закономерностей ударения (невозможность ударения на последнем или двух последних слогах, если они содержат редуцированные по природе гласные), одинаковые типы моделей образования сложных глаголов, одинаковый порядок расположения притяжательных суффиксов при наличии аффикса множественного числа, распространение формы третьего лица единственного числа вспомогательного глагола «быть» на все лица в некоторых временах наклонения неочевидности, наличие полной и краткой формы прилагательных, приобретение артиклевых функций притяжательным суффиксом третьего лица единственного числа, общность некоторых словообразовательных аффиксов, поразительное сходство в употреблении второго прошедшего времени, и, наконец, несколько сот общих слов. При этом нужно заметить, что чувашский и марийский языки взаимно влияли друг на друга, в результате чего марийский язык отклонился от некоторых общефинноугорских норм, а чувашский — от общетюркских.

Мордовский язык оказывается связанным не только с марийским и в какой-то мере с прибалтийско-финскими языками, но также и с чувашским. В мордовском языке есть слова, имеющие параллели только в чувашском; ср. эрзя-мордовск. *мазый* «красивый» и чув. *маса* «красота»; эрзя-мордовск.

тарад и чув. *турат* «ветка»; эрзя-мордовск. *ансяк* и чув. *анчах* «только».

Так называемое продленно-прошедшее время типа *ловнылинь* «я читал», *молилинъ* «я шел» в эрзя-мордовском языке по особенностям своего употребления очень напоминает прошедшее несовершенное или многократное в чувашском языке и довольно сильно отличается от употребления прошедшего продленного времени в марийском языке.

Любопытный параллелизм наблюдается в употреблении чувашских (на *-ма*, *-ме* и *-ас*, *-ес*) и мордовских (на *-мо*, *-ме* и *-мс*) инфинитивов. Первая форма инфинитива в мордовском языке употребляется после наречия *эряви* «нужно», после вопросительных и отрицательных наречий и после глагола *улемс* «быть»; вторая форма — после глаголов *карман* «начну», *молян* «иду», *маштан* «умею» и некоторых других. Употребление этих инфинитивов в чувашском языке, в основном, имеет тот же характер; ср., например: чув. *парахас пулатъ* «бросать пушно» и эрзя-мордовск. *эряви модемс* «нужно идти»; чув. *Муса пурне те укелеме тытанать* «Муса всех принимает укорять» и эрзя-мордовск. *карми керямо* «начинает рубить» и т. д.

Эстонский язык и отчасти финский обнаруживают некоторые особенности, присущие балтийским языкам. Общей чертой эстонского и латышского языков является наличие в них пересказочного наклонения. Характерным для прибалтийско-финских и балтийских языков является использование плюсквамперфекта для выражения неочевидного действия, чего, например, никогда не наблюдается в пермских или марийском языках. В прибалтийско-финских и балтийских языках иногда встречаются обороты, построенные по одной модели, например русскому глаголу *узнать* в эстонском соответствует оборот *получать знать*; ср.: эст. *sai teada*, финск. *sai tietää*, латышск. *davī ja zināt* «он узнал».

Распространение некоторых общих черт не ограничивается только двумя языками, но может охватывать несколько. Например:

Усилительная частица *ак*, *ах* имеет одновременное распространение в марийском, чувашском и мордовском языках, например: в марийском *пычкемыш ыле*, *пычкемышак кодалтын* «темным был, темным и остался», чему в чувашском соответствует *тёттём пулка, тёттёмпех юлка*; ср. в эрзя-мордовском: *стенасоак ульнестъ понгавтнезь мехень одижан* «и на стенах были развешаны меховые одежды».

В марийском, мордовском, татарском и чувашском языках распространена особая уменьшительная форма существительных на *-ай*, употребляемая обычно при обращениях; ср. татарск. *бабай* «дедушка», *атай* «бабушка», чув. *авай* «мамушка», марийск. *кугызай* «дедушка», эрзя-мордовск. *ялгай* «товарищ» и т. д.

В марийском, татарском, чувашском и удмуртском языках русскому соединительному союзу и соответствуют послелог, близкий по значению русскому предлогу *с*, или конструкция с творительным падежом; ср. татарск. *Англия белэн Америка* «Англия и Америка (буквально: Англия с Америкой)», марийск. *Англия ден Америка*, чувашск. *Попове Ивано* «Иванов с Поповым», удм. *эичиен атас* «лиса и петух».

Выражение «мне хочется есть» строится по схеме «мос, едение» приходит в татарском, башкирском, марийском и чувашском языках; ср. татарск. *ашыйсым килә*, марийск. *кочмешуеш*, чув. *манан сиес килет*.

Русские обороты со значением обладания типа «у него есть» в татарском, чувашском, марийском, коми и мордовском языках передаются конструкциями с родительным падежом; ср. в татарском: *Газинурның китабы бар* «у Газинура есть книга», в чувашском: *Пирён колхозан Атал урай қасмалли перевоз пур* «у нашего колхоза есть перевоз через Волгу»,

в марийском: *Кажне колхозникын пашаже уло* «у каждого колхозника есть работа», в коми: *Царлӧн воліны советникъяс* «у царя были советники», в эрзя-мордовском: *Ханонтъ арасель кормозо конницат туртов* «у хана не было корма для конницы».

В области фонетики тенденция к превращению *a* в *o* наблюдается одновременно в марийском, чувашском и татарском языках; ср. эрзя-мордовск. *ланго*, марийск. *понго* «гриб»; эрзя-мордовск. *ташто*, марийск. *тошто* «старый»; эрзя-мордовск. *кодамс*, марийск. *кодаш* «оставить»; турецк. *alti*, верх. чув. *олта*, низ. чув. *улта* «шесть»; турецк. *ağaç*, татарск. *агач* «дерево» и т. д.

Тенденция к ослаблению смычки аффрикат наблюдается в марийском, чувашском и татарском языках. Благодаря ей в башкирском осуществился переход *беренче* > *берениче* > *беренсе* «первый». Использование деепричастия от глагола «говорить» для введения прямой речи в структуру повествовательного предложения наблюдается в удмуртском, марийском, чувашском, татарском и башкирском языках. Аналитическое будущее время в коми, марийском, мордовском и отчасти в удмуртском образуется по совершенно одинаковой модели: инфинитив основного глагола + вспомогательный глагол «начинать»; ср. в коми *кута гижны* «буду писать», в марийск. *возаш тӱкалам*, в эрзя-мордовск. *кэрман сёрмадомо*, в удмуртском *гожъяны кутскӱськом*.

Наличие некоторых общих особенностей, связывающих пермские, марийский, чувашский, татарский и башкирский языки, дает право говорить о существовании особой волго-камской языковой зоны.

Наблюдаются также общие явления, обладающие необычайно широкой распространения. Так, например, в эстонском языке управление глаголов иногда расходится с управлением в русском. Там, где по-русски следовало бы употребить предлог *в* с предложным падежом, в финском языке употребляется дательный или направительный падеж, обозначающий движение во внутрь чего-либо, например: *vihollinen häipyi rämeikköön* «неприятель скрылся в болоте» (буквально: в болото). Подобное расхождение в управлении свойственно, кроме того, эстонскому языку, например: *vahetekile oli juba kogunenud terve meeskond* «на средней палубе (буквально: на средней палубу) уже собралась вся команда», а также лапландскому; ср. в диалекте инари: *Jagi 1760 rakkadegji od̄ā a kirku Pielrajavrikaddai* (Т. Jtkonen, Samikiel abis) «в 1760 г. построили новую церковь на берегу (буквально: на берег) озера Пвельнаярви».

Встречается указанное расхождение и в мансийском языке, например: *тав ворн культыс* «он остался в лесу» (буквально: в лес); *тав турн рачныс* «он утонул в озере» (буквально: в озеро)¹. Не чуждо это явление и мордовскому языку; ср. в эрзя-мордовском *бригада лоткась велес* «бригада остановилась в деревне» (буквально: в деревню); довольно часто встречается в марийском языке, например: *немец шамыч площадеш чарнен шогалынит* «немцы остановились на площади». Наблюдается оно также в удмуртском, татарском и чувашском языках, например, удм. *Илья тракторза ана лумэ дуэдытыз* «Илья остановил трактор на конце поля» (буквально: на конец поля), чув. *унӧн ашиӧ яла ялӧ* «его отец остался в деревне» (буквально: в деревню), татарск. *ул авылга туктады* «он остановился в деревне» (буквально: в деревню)². Далее это явление распространяется на язык коми, например: *колхозникъяс чукӧртчисны вель клубб* «колхозники собрались в новом клубе» (буквально: в новый клуб). Отмечено это явле-

¹ По сообщению Е. И. Ромбандеевой.

² Подобный характер управления можно наблюдать и в некоторых тюркских языках, например в киргизском, турецком, староузбекском.

ние также в ненецком языке, например: *хардазана' мядонда' малавд'* «в нашем доме (буквально: в наш дом) собрались гости».

Спирантизация древнего велярного *к* оказывается свойственной не только ненецкому и обско-угорским языкам. Следы ее можно наблюдать в бурят-монгольском и халха-монгольском, а также в тувинском; ср. бурятск. *зара*, халха-монгольск. *хар*, но татарск. *кара* «черный»; тувинск. *хар*, но татарск. *кар* «снег». Бессвязочный перфект, образованный на базе причастия, встречается в марийском, пермских, самодийских, во всех тюркских и монгольских языках.

И. Шмидт предполагал, что языковое явление по мере удаления от очага его распространения должно постепенно исчезать. Это вполне подтверждается конкретными фактами. Развитие сложных глаголов наибольшей интенсивности достигает в татарском, чувашском и марийском языках. Удмуртский язык представляет своеобразную зону затухания этого явления. Слова-мимемы наиболее всего распространены в чувашском и марийском языках, в татарском их встречается значительно меньше, в коми — еще меньше. Определенные формы прилагательных наибольшего развития достигли в чувашском языке, в марийском же определенную форму имеют только некоторые прилагательные, обозначающие главным образом цвета, например: *ужар* «зеленый» (неопределенная форма), *ужарге* (определенная форма), *йошкар* «красный» (неопределенная форма), *йошкарге* «красный» (определенная форма).

Все вышеприведенные факты показывают, что основные положения теории воли И. Шмидта не противоречат действительности. Рассмотрим теперь те языковые факты, которые свидетельствуют о недочетах теории И. Шмидта.

*

Основной недостаток теории воли И. Шмидта состоит в том, что, сделав правильные выводы из наблюдаемых им фактов, он слишком обобщил и абсолютизировал эти выводы. Чрезмерно преувеличивая значение взаимовлияния языков, расположенных на смежных территориях, И. Шмидт склонен был отрицать наличие каких-либо резких границ между отдельными языками. Однако взаимовлияния языков, находящихся на смежных территориях, не исчерпывают всей сложности процессов образования и развития этих языков. Наряду с явлениями взаимовлияния имеют место процессы, совершающиеся в условиях изолированного существования языков. Как показывают наблюдения, территориальный контакт не в состоянии целиком и полностью устранить возможность появления инноваций в языках. Наличие отдельных проявлений языковой аттракции, наблюдаемое в современных финно-угорских языках, не опровергает установленного факта о происхождении всех пермских языков от пермского языка-основы, прибалтийско-финских и мордовского — от прибалтийско-финско-мордовского языка-основы и т. д.

И. Шмидт не разграничивал первичных и вторичных явлений языковой аттракции, предполагая, что все переходные черты всегда и во всех случаях являются первичными. На самом деле здесь картина гораздо сложнее. В языках, находящихся на смежных территориях, явления первичной и вторичной языковой аттракции обычно смешаны. Так, например, некоторые общие черты, связывающие марийский язык с коми, представляют собой явления вторичного порядка; они возникли в то время, когда эти языки сблизились территориально, долгое время перед этим развиваясь обособленно. Вместе с тем некоторые общие черты, связывающие марийский язык с мордовским, например наличие *с*-ового латива, несомненно являются первичными.

И. Шмидт нарисовал идеальную картину взаимопереходов от одного родственного языка к другому, предполагая, что индоевропейские языки тем больше утрачивают праязыковые особенности, чем дальше они находятся по направлению к западу. Он совершенно забывает при этом, что закон неравномерности сохранения и исчезновения праязыковых черт в родственных языках обычно нарушает эту последовательность. Приведем некоторые конкретные факты. В ненецком языке хорошо сохранился *м-овый* аккумулятив. По теории И. Шмидта, в ближайшем по территории расположения языке коми это явление должно быть менее развитым, а в еще более территориально удаленном марийском языке оно должно совсем сходиться на-нет. Но получается как раз наоборот: в коми языке нет *м-ового* аккумулятива, а в марийском он оказывается хорошо сохранившимся. Древний финно-угорский суффикс *-ast-*, означающий мгновенность, иногда маломерность действия, хорошо сохранился в языке коми, в удмуртском является непродуктивным, в марийском, мордовском языках совсем отсутствует, в эстонском мало продуктивен, но в финском вновь достигает значительной продуктивности.

И. Шмидт не объяснил механизма возникновения сходных явлений, природа которых может быть различной в языках, расположенных на смежных территориях.

Языковые волны И. Шмидт сравнивал с волнами от брошенного в воду камня. Вообразим язык, представляющий собой очаг возникновения волны, и целый ряд географически удаляющихся соседящих языков. Предположим, что языковая волна, порожденная данным языком, распространилась на весь этот ряд языков, что конкретно выразилось в возникновении в них некоторого сходного явления. Графически это можно представить таким образом: 1-2-3-4.

Называя эту изоглоссу языковой волной, мы не гарантированы от следующих ошибок: 1) в каком-либо из этих языков сходное явление, которое мы примем за результат действия одной волны, может оказаться спонтанно возникшим; 2) все эти явления могут исходить не из одного очага возникновения волны, а представлять результат действия лежащего под этими языками однородного языкового субстрата.

И. Шмидт ограничил языковую аттракцию только теми явлениями, которые имеют место в родственных языках, смежных по территории. На самом деле аттракция представляет собой более сложное явление. Она, как мы видели, распространяется как на родственные языки, так и на неродственные. В соседящих диалектах двух родственных языков, не достигших предела интеграции, может иметь место языковое смещение в буквальном смысле слова. В контактирующих родственных языках, достигших предела интеграции, а также в языках неродственных могут наблюдаться сложные переплетения в структурном плане.

Несмотря на перечисленные недостатки, теория волн И. Шмидта не лишена рационального зерна. Взаимовлияние языков, расположенных на смежных территориях, и образование постепенных переходов между языками, действительно, имеет место. Изучение этих фактов может дать многое для понимания процессов возникновения языкового родства вообще и изоглоссных явлений в частности.

Г. В. СТЕПАНОВ

**ПРОБЛЕМА ИЗУЧЕНИЯ ИСПАНСКОГО ЯЗЫКА
ЛАТИНСКОЙ АМЕРИКИ**

Вопросы об особенностях испанского языка в Латинской Америке и о закономерностях его развития имеют, кроме частного интереса для специалистов по испанскому языку, и более общее значение: они тесно связаны с проблемами общероманскими и общелингвистическими¹.

Обычно романизация (т. е. распространение римской культуры, государственности, языка и т. п.) рассматривается как явление в известном смысле неповторимое. Считается, что языковая романизация имеет своим пределом период полного вытеснения местных языков, а конечным результатом романизации признается формирование новых романских (неолатинских) языков: испанского, португальского, каталанского, французского и др. Последующее распространение неолатинских языков в научной литературе обычно не связывается с вопросом о формировании новой Романии².

Первый, кто обратил внимание на известный параллелизм в развитии неороманских языков и испано-американской речи, был Р. Ленц³. В дальнейшем к этому же вопросу обращались Р. Куэрво, М. Вагнер, Р. Менендес Пидаль⁴ и некоторые другие.

Однако, несмотря на ряд ценных замечаний общего характера и интересных частных наблюдений, мы не найдем в указанных работах последовательного сопоставления данных и фактов, которые помогли бы осветить «темные места» в романистике. Сопоставления, как правило, используются для разрешения испано-американской проблемы и только в незначительной степени общероманской. Кроме того, пристрастие к одним факторам⁵ и недостаточное внимание к другим препятствуют созданию объективной картины развития языков в старой и новой Романии.

Романизация нового и новейшего периодов и, в частности, испанизация (мы имеем в виду испанизацию языковую) при всех своих значительных отличиях от процесса формирования старой Романии имеет с ним целый

¹ В. М а l m b e r g, L'espagnol dans le Nouveau Monde — problème de linguistique générale, «Studia linguistica»: 1947, N 2; 1948, N 1.

² Например, в обстоятельном труде Э. Б у р с ь е «Основы романского языковедения» (перевод с франц., М., 1952) вопрос о новой Романии до сущности даже и не ставится.

³ R. L e n z, Beiträge zur Kenntnis des Amerikanospanischen, «Zeitschrift für rom. Philologie», Bd. XVII, 1893.

⁴ R. J. C u e r v o, Aportaciones críticas sobre el lenguaje bogotano con frecuente referencia al de los países de Hispano-América, Bogotá, 1939; M. L. W a g n e r, Amerikanisch-Spanisch und Vulgärlatein, «Zeitschrift für rom. Philologie», Bd. XL, 1920; R. M e n e n d e z P i d a l, La lengua española, в кн. «La lengua de Cristóbal Colón, el estilo de Santa Teresa y otros estudios sobre el siglo XVI», 2-a ed., Buenos-Aires—México, 1944.

⁵ Например, преувеличение роли субстрата в возникновении языковых расхождений на территории старой и новой Романии.

ряд сходств, выявление которых, несомненно, представит большой теоретический интерес. Целесообразность и необходимость сопоставления двух этапов романизации вполне очевидны. Надо полагать, что процесс испанизации, который происходил в исторически близкое нам время, может быть описан и осмыслен с большей полнотой, чем процесс формирования старой Романи. Осторожное и разумное сопоставление в ряде случаев может приоткрыть завесу, до сих пор скрывающую от нас перепетии языковых взаимоотношений латинского языка с местными языками и диалектами, натолкнуть на новые догадки о причинах языковых расхождений, о характере языковых контактов и т. п. Изучение активного распространения неолатинского языка на территории Америки дает также важный материал для романской диалектологии.

Сопоставление диалектологических данных может идти в двух планах. Во-первых, целесообразно изучить и сопоставить диалектологическую карту старой Романи с данными испано-американской диалектологии. При этом важно будет решить, почему в одном случае процесс распространения латинского языка завершается формированием резко отличающихся друг от друга неолатинских языков, а в другом, даже в условиях формирования латино-американских наций, не происходит языковой дифференциации в такой степени, что это позволило бы считать видоизменяющуюся от страны к стране испанскую речь отдельными неиспанскими языками. Во-вторых, эффективным могло бы быть сопоставительное изучение диалектологических данных собственно Испании с испано-американским диалектологическим материалом¹. В данном случае важно, помимо всего прочего, исследовать вопрос о том, почему ф е д а л ь н а я дробность собственно Испании привела к более ошутимым лингвистическим результатам, чем национальная дробность Америки.

Проводя исследования по этим двум линиям, представляется возможным и весьма интересным еще раз проверить объем и удельный вес факторов, действующих на процесс языковой и диалектной дифференциации (имеются в виду факторы времени, социально-политический и культурный аспект, субстратные взаимодействия, география, этнография и т. д.). Попутно возникает необходимость затронуть проблемы общелингвистического порядка, такие, например, как особенности взаимодействия языков, соотношение письменных языков и устной речи, национального языка и нации и др. Кроме того, данные испано-американской диалектологии в ряде случаев могут дать ценный материал для выяснения структурных особенностей испанских диалектов периода XV—XVI вв.

Совершенно очевидно, что для детального изучения особенностей испанского языка в Латинской Америке необходимо внимательно исследовать фонетические, грамматические, лексические и прочие особенности языка самой Испании периода великих географических открытий. В лингвистической литературе испанский язык этого периода (конец XV — начало XVI в.) обычно называется предклассическим (*anteclassico*)². Однако особенности предклассического языка (в отличие от испанского языка классического периода) в силу ряда объективных причин могут быть изучены только в общих чертах, некоторые детали ускользнут от исследователя, хотя именно они в большинстве случаев способны пролить свет на причины последующих языковых расхождений.

¹ См., например: Tomás Navarro, *The old aspirated h in Spain and in the Spanish of America*, «Word», vol. 5, N 2, 1949.

² См. по этому поводу соответствующие разделы в следующих работах: R. Lapesa, *Historia de la lengua española*, Madrid, 1942; W. J. E n t w i s t l e, *The Spanish language together with portuguese, catalan and basque*, London, 1936; R. M e n é n d e z P i d a l, *El lenguaje del siglo XVI*, в кн. «La lengua de Cristóbal Colón...», и др.

Наиболее трудным и кропотливым делом оказывается выяснение норм произношения в предклассическом испанском. Основным источником для выяснения этих норм является, несомненно, староиспанская орфография¹. Однако орфография, даже базирующаяся в основном на фонетическом принципе (этот принцип был ведущим в староиспанской орфографии), едва ли может дать исчерпывающее представление о прозносительных нормах: наряду с фонетическим принципом в староиспанской орфографии наблюдались элементы этимолого-морфологического и исторического порядка (для последнего случая ср. обязательное написание *b* на месте интервокального латинского *p* — *sapere* > *saber*; *opus* > *huebos*; *apicula* > *abeja*; *caput* > *sabo*)².

Важными источниками для выяснения норм произношения в предклассическом испанском могут служить труды Небрихи, Вальдеса, Вангаса, Тамара и др.³ Однако не следует забывать, что Вальдес, например, ратовал за толедскую норму произношения⁴, Небриха — за андалусийскую⁵, в то время как, помимо их воли и желания, все большее и большее распространение получала общекастильская (старокастильская) норма. Доказательством того, что элементы старокастильского произношения начинают приобретать общекастильское значение, является повсеместная унификация трех пар согласных: *z* и *ç* (> *b*); *s* и *ss* (> *s*); *j* и *x* (> *h*) — наиболее существенное изменение в области фонетики, произошедшее в период формирования испанского национального языка.

Интересный материал дает наблюдение над записями звуков индейской речи, сделанными испанцами в XVI в. средствами испанской орфографии⁶. Так, например, слово, употребляемое в современном языке Эквадора в виде *tashca*, составитель грамматики языка кечуа (Gramática Quichua, 1560) Д. де Санто-Томас транскрибировал *taxca*⁷, откуда следует, что староиспанское *x* произносилось как звук, близкий *š*.

Исследование современной испано-еврейской речи (judeo-español), проводимое с учетом старых диалектных различий⁸ и последующих адстрат-

¹ См.: R. J. C u e r v o, Disquisiciones sobre antigua ortografía y pronunciación castellanas, «Revue hispanique»: t. 2, N 4, 1895 и т. 5, N 15, 1898; A. A l o n s o, Formación del timbre ciceante en la *c*, z española; J. D. M. F o r d, The old Spanish sibilants, Boston, 1900, и др.

² См.: A. Z a u n e r, Altspanisches Elementarbuch, Heidelberg, 1908, § 58; P. d e M u g i c a, Gramática del castellano antiguo, Leipzig, 1891, § 117.

³ Мы имеем в виду следующие работы: A. d e N e b r i j a, Reglas de orthographia en la lengua castellana (1517); J. d e V a l d é s, Diálogo de la lengua (1535); A. V a n e g a s, Tractado de orthographia y accentos en las tres lenguas principales (1531); T h á m a r a, Suma y erudición de grammatica en metro castellano (1550). См. в этой связи: Conde de la V i ñ a z a, Biblioteca histórica de la filología castellana, Madrid, 1893; Т и к в о р, История испанской литературы, т. III, [перевод с англ.], М., 1886, стр. 223; В. Ф. Ш и м м а р е в, Очерки по истории языков Испании, М.—Л., 1941, стр. 172.

⁴ Вальдес отстаивал формы *trajo*, *codicia*, *cobdo* только на том основании, что он, еще будучи ребенком, слышал их в Толедо. Однако они не стали общекастильской нормой, но изменились соответственно в *trajo*, *codicia*, *codo*.

⁵ Небриха, будучи андалусийцем, настаивал на провознесении гуттурального *h*, хотя вне Андалусии и Эстремадуры оно почти повсеместно перестало произноситься в XV в.

⁶ См. J. I. D á v i l a G a r i b i, Ortografía de nombres geográficos de origen nahuatl, «Investigaciones Lingüísticas», 1933, t. 1, N 2.

⁷ См. H. T o s c a n o M a t e u s, El español en el Ecuador, Madrid, 1953, стр. 24.

⁸ В настоящее время выявляются две основные группы испано-еврейской речи, имеющие довольно существенные различия в области фонетики и лексики: восточная (Адрианополь, Константинополь, Смирна) и западная (Босния, Болгария, Македония, Румыния). В западной группе сохраняются черты северных староиспанских диалектов (леонский, арагонский), а в восточной — особенности старокастильской речи. См. F. I. á z a r o C a r r e t e r, Diccionario de términos filológicos, Madrid, 1953 (статья «Judeo-español»).

ных взаимодействий¹, может дать надежный материал для установления особенностей произношения в предклассическом испанском.

Изучение грамматического строя испанской речи предклассического периода также представляет известные трудности. Анализ текстов требует большой осмотрительности в связи с тем, что для выяснения устных грамматических моделей и формул исследованию подвергается письменный материал — единственный источник для изучения живой речи прошлых эпох². При этом не следует забывать, что письменные памятники только приблизительно воссоздают картину живой речи. Письменный язык в силу своего характера почти всегда в той или иной степени сублимирует разговорную речь. Кроме того, многое зависит от жанра памятника, умения и сноровки автора в воспроизведении живых разговорных норм, его эстетических воззрений, классовых установок, социальных предрассудков и т. д. В связи с этим самый выбор текстов для исследования представляется делом весьма сложным. В ряде случаев образцы испанского поэтического творчества точнее отражают грамматические нормы устной речи, чем испанская проза; в этом же смысле драматургическое произведение имеет преимущество перед ранней испанской новеллой или рыцарским романом, демократичный Руэда перед претенциозным и витиеватым Босканом, а вторая часть Хроники («Primeros crónicas generales», конец XIII в.) перед первой³.

Наиболее подвижная часть языка — лексика — может быть довольно обстоятельно изучена по текстам и словарям предклассической эпохи с детальным анализом последующих семантических изменений.

Источником первостепенной важности для разработки поставленной проблемы являются произведения (мемуары, трактаты, документы, отчеты, записки и т. д.) «бывалых людей», непосредственных участников экспедиций — первых завоевателей, а также колонизаторов последующих лет⁴. Среди такого рода материалов большой интерес представляют «Cartas y relaciones» (1523—1525), написанные Эрнаном Кортесом. Они предназначались для Карла V и позже были переведены на латинский, французский и итальянский языки. Анализ языка «Писем» Кортеса тем более интересен, что их автор не искушен в вопросах литературной формы изложения, хотя он и учился некоторое время в Саламанке⁵.

Участник первой экспедиции в Мексику Бернал Диас дель Кастильо (1492—1581?) написал «Historia verdadera de la conquista de la Nueva Es-

¹ См., например: K. V a g u c h, El judeo-español de Bosnia, «Revista de filología española» (RFE), t. XVII, cuad. 2, Madrid, 1930; M. L. W a g n e r, Beiträge zur Kenntnis des Judenarabischen von Konstantinopel, Wien, 1914.

² Для исследования особенностей устной речи большую ценность представляют следующие издания: «Colección de autos, farsas, y coloquios del siglo XVI», publ. par L. Rouanet, vol. I—IV («Biblioteca hispánica»), Barcelona — Madrid, 1904; «Colección de entremeses, loas, bailes, jácara y mojigangas desde fines de siglo XVI a mediados del XVIII» ordenada por E. C o t a r e l o y M o r i («Nueva biblioteca de autores españoles», 17, 18), Madrid, 1911.

³ При внимательном исследовании обеих частей «Хроники» обращает на себя внимание различие в трактовке и фиксации ряда явлений, хотя разница в написании первой и второй части измерится не более чем двадцатью годами. Если в первой части обычным является написание *cori* (< corte), *pac* (< poco) и т. д., то во второй повсеместно наблюдается восстановление ямбического ударения. Само собой разумеется, что подобный процесс не мог завершиться в течение двух десятков лет. Остается предположить, что составители первой части ориентируются на письменную традицию предшествующего периода, а составители второй фиксируют сдвиги, происшедшие в устной речи.

⁴ См. W. S e r r a n o y S a n z, Historiadores de Indias, t. 1—2, («Nueva biblioteca de autores españoles», 13, 15), Madrid, 1909, а также H. C h. W o o b r i d g e, Spanish nautical terms of the age of discovery, Urbana, University of Illinois, 1950.

⁵ B. A. N i c h o l s o n, España. Introducción a su civilización, Chapel Hill, 1948, стр. 155.

рафа», которая была опубликована только в 1632 г. Автор ее, обладающий значительным воинским опытом, пишет грубоватым, но выразительным солдатским языком, близким к разговорным нормам¹.

Из числа более образованных историков и мемуаристов отмечу Бартоломе де лас Касас (1470—1566) — автора нескольких трудов по истории Нового Света, Кабеса де Вака, описавшего свои приключения на юго-западе Северной Америки в книге «Los Naufragios» (1542), а также родственника знаменитого поэта Гарсиласо де ля Вега (1540—1615), написавшего целый ряд интересных трудов по истории Южной Америки.

Следует иметь в виду, что необходимость освоения громадных пространств, намного превышающих по размерам территорию Европы, вызвала постоянный приток колонистов². В большинстве своем колонисты являлись представителями так называемых «низших слоев», т. е. были людьми не только малообразованными и малокультурными, но и просто неграмотными. Что же касается дворян, занимавших административные посты, то пребывание их в колониях носило временный характер (от 3 до 5 лет)³. На основании изучения исторических данных исследователь-лингвист может заключить, что в связи с особенностями социального состава колонизаторов решающее значение в лингвистической испанизации имела устная форма испанской речи.

Лингвистический анализ отмеченных выше и подобных им материалов показывает, что за исключением некоторых диалектизмов (у Кортеса и у Диас дель Кастильо) все они написаны на кастильском (т. е. общепанском) диалекте. При этом главную роль в испанизации американского континента играли южные и центральные разновидности кастильского диалекта. Между тем известно, что в числе людей, отправлявшихся в Америку, были выходцы из разных провинций⁴, и весьма вероятно, что в своей устной речи они сохранили диалектные особенности произношения, словоупотребления и т. д.

Широко распространено мнение о том, что основная масса завоевателей и эмигрантов направлялась в Америку из южных областей страны: из Андалусии, Эстремадуры, а также с Канарских островов. Положение о преимущественной роли южан в колонизации Америки нуждается в некоторых уточнениях. Бесспорно, что удельный вес андалусийцев в процессе освоения заморских территорий весьма значителен. Однако, судя по некоторым данным, они не составляют абсолютного большинства⁵.

¹ К сожалению, нам пока остались недоступными документы, собранные С. Монтото (S. Montoto, Colección de documentos inéditos para la historia de Ibero-América, t. I, Madrid, 1927. См. рецензию в журн. RFE, t. XIV, 1927, стр. 192—193). По данным рецензента, в этом папани собраны различного рода документы, принадлежащие «a los personajes de segunda categoría».

² Однако, по подсчету Рошера, к середине XVI в. численность испанских колонистов в Америке едва ли превышала 15 тыс. человек (см. W. Roscher, Kolonien, Kolonialpolitik und Auswanderung, Leipzig—Heidelberg, 1856, стр. 164).

³ См. В. М. Мирославский, Освободительные движения в американских колониях Испании от их завоевания до войны за независимость (1492—1810 гг.), М.—Л., 1946, стр. 20.

⁴ По данным Лопеса де Гомара, Хуана Кастильянос и Овьедо-и-Баньос, которым удалось установить происхождение 160 первых колонизаторов, 51 человек — выходцы из Андалусии, 47 кастильцев и леонцев, 20 эстремадурцев, 20 португальцев, 10 басков, 4 галисийца, 3 валенсийца и каталанца, 3 наварро-арагонца, один мурсианец и один уроженец Канарских о-вов (см. R. J. Siego, El castellano en América, «Bull. Hispanique», t. III, 1901, стр. 41—42).

⁵ Из общего числа колонистов в Чили (XVI в.) андалусийцы составляют только 26,1% и 46,6% — испанцы из центральных и северных областей. В Мексике из 1239 иммигрантов, происхождение которых удалось установить, 30,6% составляют андалусийцы и 39,2% — уроженцы центра и севера (см. P. Henríquez Ureña, Observaciones sobre el español en América, II, RFE, t. XVII, 1930, стр. 278).

Роль и удельный вес выходцев с Канарских островов в колонизации Америки ничтожны¹. Создается также впечатление, что в число андалусийцев попадают иногда уроженцы других провинций только на том основании, что их последним местожительством (непосредственно перед отплытием) были южные порты Севилья и Кадис.

Вопрос о так называемом «андалусизме» испано-американской речи оживленно обсуждался в специальной лингвистической литературе². Защитники теории андалусийского влияния на испанский язык в Америке в качестве основных доводов приводили факты фонетических совпадений, наблюдаемых в той и другой разновидностях испанской речи. В числе этих совпадений отмечались главным образом следующие: явления так называемого «seseo» (интерпретация θ как s), yeísmo ($ll > y$), отпадение конечного s , превращение его в аспирированный звук (h) перед некоторыми согласными и др.³ По мнению сторонников этой теории, причина подобных совпадений заключается в том, что испанский язык был вывезен за океан в своей андалусийской разновидности, так как ядро колонистов составляли андалусийцы и эстремадурцы. Однако эта теория вызвала ряд возражений⁴. Одной из основных ошибок теории андалусийского влияния являются, на наш взгляд, попытки закрепить отмеченные выше фонетические особенности только за Андалусией: на лингвистической карте Испании, вне Андалусии, всегда обнаруживается район, местность, деревня, в которых можно отметить те же самые фонетические «андалусизмы».

Что касается явления так называемого «seseo», очень распространенного в Латинской Америке, то здесь по существу речь должна идти о двух вопросах, правда, тесно связанных между собой: о замене θ на s и о качественном своеобразии американского (соответственно андалусийского) s . Нам кажется, что явление «seseo» как факт андалусийской фонетики нельзя рассматривать в отрыве от обратного явления, так называемого «seseo» (произношение s как θ).

Рассматривая с этой точки зрения проблему андалусизмов в испано-американском, придется прежде всего констатировать, что на территории Латинской Америки такого параллелизма нет. Кроме того, замена θ на s охватывает не всю Андалусию (сюда не входят часть провинции Уэльва и большая часть провинции Хаэн)⁵, и, наконец, подобного же рода замену мы наблюдаем вне Андалусии (например, у басков и каталанцев)⁶.

Факт проникновения «seseo» в речь образованных латиноамериканцев сторонники теории «андалусизма» склонны рассматривать как аргумент в пользу универсальности андалусийского влияния. По этому поводу можно высказать следующее соображение. Замена θ на s («seseo») в народно-разговорном языке Латинской Америки лишена черт узкого регионализма в связи с отсутствием параллельного явления «seseo». Сохранение региональных особенностей произношения всегда противоречит задачам национального (соответственно межзонального, внутриконтинентального) общения, которые возлагаются на литературный язык в письменной форме

¹ Так, например, по данным Луиса Тайер Охеда (L. T. O j e d a, Elementos étnicos que han intervenido en la población de Chile, Santiago, 1919), в числе колонистов, прибывших в Чили, было только 0,4% уроженцев Канарских островов (см. Р. Н е н р и г у е z У р е ñ а, указ. соч., стр. 278).

² См. А. К у h n, Die romanischen Sprachen, Bern, 1951, стр. 409.

³ См. М. L. W a g n e r, El supuesto andalucismo de América y la teoría climatológica, RFE, t. XIV, cuad. I, 1927. См. также более раннюю работу Вагнера «Amerikanisch-Spanisch und Vulgärlatein», уже цитированную выше.

⁴ См.: Р. Н е н р и г у е z У р е ñ а, указ. соч.: I — RFE, t. VIII, 1921; II — RFE, t. XVII, 1930; ег о ж е, El supuesto andalucismo de América, Buenos-Aires, 1925.

⁵ См. В. Ф. Ш и ш м а р е в, указ. соч., стр. 182.

⁶ См. там же.

(а «по индукции» и на устную норму литературной речи). Отсутствие региональной окраски как раз и могло способствовать проникновению «сeseo» в речь образованных людей. Упорство в различении *θ* и *z* с некоторых пор стало казаться неоправданным подражанием испанцам, а потому неизбежно приобретало характер искусственности и претенциозности.

К числу наиболее характерных андалусизмов в испано-американском отнесит дорсальное *s* (такое же, как во французском, немецком, итальянском и других языках) в отличие от апикально-альвеолярного кастильского. В андалусийском диалекте это явление так устойчиво, что даже местные актеры, избавившиеся от всех диалектизмов, не могут переключиться на апикальное *s*. Образованные люди Латинской Америки, ориентирующиеся на литературную норму произношения, успешно избегают «уейсмо», сохраняют конечное *s*, но не воспроизводят апикального звука *s*. Этот факт, казалось бы, говорит в пользу теории «андалусизма». Однако возникает вполне закономерный вопрос: достаточно ли этого одного, правда, очень веского, факта, чтобы делать столь далеко идущие выводы в отношении андалусийского влияния? *El andaluz* — сравнительно молодой диалект. Своеобразие его, между прочим, состоит в том, что он возникает и оформляется в период победоносного шествия кастильского¹. Поэтому в нем больше кастильских новшеств, чем старых «мосарабских» особенностей (по крайней мере, в области фонетики и морфологии).

Нам кажется, что качественное своеобразие латино-американского *s* связано не столько с андалусийским влиянием, сколько с ослаблением и постепенным забвением кастильских (испанских) норм произношения. Следует также учесть, что в языке местных племен звук *s* либо отсутствовал², либо не совпадал по своей качественной характеристике с апикально-альвеолярным кастильским *s*. вполне возможно допустить, что местные жители, обучавшиеся испанскому языку по «прямому методу», не улавливали тонкостей в различии между двумя *s* так же, как и нынешние иностранцы, которые, изучая испанский язык, в 99 случаях из 100 воспроизводят дорсальное *s* вместо апикального, даже и не подозревая, что они рискуют из-за этого прослыть провинциалами (андалусийцами).

В период колонизации в Америке было несколько разговорных языков (местные и испанский) и один литературный (испанский)³, который, разумеется, ничем не отличался от письменного кастильского языка самой Испании. Мексиканец по происхождению Аларкон писал на том же языке, что и севилянец Охеда. Оба они рано покинули родину: первый стал крупнейшим писателем Испании, а второй — видным писателем Перу.

Расхождения начались тогда, когда литературный язык Латинской Америки проявил тенденцию к сближению с разговорной формой испано-американской речи, которая в силу различных причин медленно, но неутомимо «американизировалась». Столкновение испанского языка с местными индейскими не могло не привести к известным лингвистическим по-

¹ См. по этому поводу мою статью «К вопросу о формировании испанского национального языка» («Уч. зап. ЛГПИ им. А. И. Герцена», т. 93, 1954, стр. 8).

² Например, в некоторых языках Мексики: huasteco, iñame (zaklohrakar) и др. См. по этому поводу F. Pimental, Cuadro descriptivo comparativo de las lenguas indígenas de México, vol. 1—2, México, 1862—1865. Звук *s* отсутствует также в арауакском. См. R. Lepz, указ. соч., стр. 188 и сл.

³ О местной письменности и литературе на индейских языках см., например: H. E. Ludwig, The literature of American aboriginal languages, London, 1858; R. Falb, Das Land der Inca in seiner Bedeutung für die Urgeschichte der Sprache und Schrift, Leipzig, 1883; J. I. Dávila Caríbi, La escritura del idioma nahuatl a través de los siglos, «Investigaciones lingüísticas», t. III, № 1—2, 1935. О литературе и письменности майя см. библиографический обзор Ю. В. Кнорозова в книге: Диэго де Ланда, Сообщение о делах в Юкатане (перевод со староспанского), М. — Л., 1955.

следствиям. Совершенно очевидно, что индейские языки должны были сыграть роль субстрата по отношению к испанскому¹. Но вопрос заключается в том, насколько велика была эта роль.

Историк испано-американского языка имеет ряд преимуществ перед исследователем субстратных взаимодействий в Испании. В отличие от последнего он может оперировать при решении задачи двумя более или менее известными величинами, тогда как историк испанского языка вынужден гадать и по поводу разговорного латинского языка, и по поводу кельтиберского субстрата. На основании уже имеющихся материалов можно сделать вывод о том, что сторонники субстратной теории в объяснении языковых расхождений явно преувеличивали роль этого фактора (например, Р. Ленц). Тем не менее оспаривать влияние субстрата не следует: в ряде случаев оно представляется весьма возможным.

Некоторые исследователи обращали внимание на фрикативное *r* в испано-американском (Чили) и связывали его появление с влиянием арауканского. То же самое можно было бы сказать и по поводу аффрикаты *tr*, сходной с *ch*². Однако подобное явление можно найти не только на территории распространения арауканского языка, но и в других частях Америки и даже в самой Испании.

В лингвистической литературе отмечают также влияние языка кечуа (одного из наиболее культурных и распространенных языков Латинской Америки) на появление своеобразных фразеологических оборотов в районах двуязычия (Эквадор, Перу)³. Язык гварани, несомненно, оказал некоторое влияние на испанский язык в Парагвае⁴. Вообще говоря, в исследовании субстратных явлений нужно проявлять большую осторожность, чтобы не терять из вида, как сказал некогда натуралист Гексли, «действительные пределы своих исследований и крайнюю недостаточность своих действительных знаний». Исследователя субстратных взаимодействий должен настораживать тот факт, что индейские языки, часто резко отличающиеся друг от друга, не привели к значительным расхождениям в испано-американской речи. В Испании от Астурии до Кадиса наблюдается большое языковых расхождений, нежели в Америке от Мексики до Магелланова пролива. Возможно, что необычайная диалектная дробность⁵ местных языков лишила каждый из них преимущественного влияния на испанскую речь.

Более значительно и бесспорно влияние индейских языков и вообще местных условий на лексику испано-американской речи⁶. Из числа ин-

¹ См.: А. К у h n, указ. соч., стр. 412—413; G. R o j a s S a r g a s c o, *Filología chilena. Guía bibliográfica y crítica*, Santiago de Chile, 1940; ег о ж е, *Chilenismos y americanismos de la XVI ed. del Diccionario de la Academia española*, Valparaiso, 1943.

² См. A. A l o n s o, *El grupo tr en España y América*, «Homenaje a Menéndez Pidal», II, Madrid, 1925, стр. 167 и сл.

³ См. R. M e n é n d e z P i d a l, *La lengua española*, стр. 114.

⁴ См.: E. R. S e r v i c e, *Spanish-Guarani relations in early colonial Paraguay*, Ann Arbor, 1954; B. M a l m b e r g, *Notas sobre la fonética del español en el Paraguay*, Lund, 1947.

⁵ См.: «Enciclopedia universal ilustrada europeo-americana», t. 30, Barcelona, [1907] (статья «Lenguas indígenas americanas»); «Enciclopedia italiana di scienze, lettere ed arti», t. II, Milano, 1929; P. R i v e t, *Langues américaines*, в кн. «Les langues du monde par un groupe de linguistes, sous la direction de A. Meillet et M. Cohen», Paris, 1924 (см. также изд. 1952 г.); Conde de la V i ñ a z a, *Bibliografía española de lenguas indígenas de América*, Madrid, 1892.

⁶ Назову в связи с этим лишь некоторые работы: F. J. S a n t a m a r í a, *Diccionario general de americanismos*, tt. I—III, México, 1942—1943; A. M a l a r e t, *Diccionario de americanismos*, 3-a ed., Buenos-Aires, 1946; G. F r i e d e r i c i, *Hilfswörterbuch für den Amerikanisten. Lehnwörter aus Indianer Sprachen und Erklärungen altertümlicher Ausdrücke*, Halle (Saale), 1926; A. M a l a r e t, *Los americanismos*

дейских слов, получивших наибольшее распространение в странах испанской речи и заимствованных другими европейскими языками, отметим: *maiz, batata, tabaco, savana, pampa, huracán, hamacan, chocolate, chinchilla, guano, puma, condor, cacique*. Гораздо большее количество индейской лексики не выходит за пределы испано-американского словаря. Сюда относятся слова, обозначающие предметы местного обихода, явления и понятия, связанные с местными американскими условиями, например, *acolán* «набедренная повязка индейской женщины», *busk* «ежегодный праздник индейцев», *calpizque* «управляющий имением», *chinchorro* «особый вид цыновки», *dalca* «особый вид лодки», *guaca* «подземная гробница перуанцев», *hominy* «индейское кушанье из маиса» и др.¹

Кроме изучения собственно индейской лексики (заимствование), большой интерес для семасиолога представляет исследование изменений в самом испанском словаре под влиянием новых условий материальной, общественной и духовной жизни (приспосабливание уже существующих в языке обозначений к выражению новых понятий, пересосмысление, описание новых понятий путем сравнений и т. д.)². Примером своеобразной эволюции значения является испанское слово *taría* «глинобитная или каменная стена», которое в испано-американском (через язык кечуа) приобретает значение «дурное предзнаменование» (стены, которыми огораживались селения конкистадоров, всегда таили для индейцев нечто зловещее, дурное, опасное). Испанское слово *china* «китаянка» в языке конкистадоров, а также гаучо стало обозначать девушку в услужении у дочери богатых родителей и постепенно приобретало значение «сожительница, наложница»³. Исследование фонетики, грамматики и фразеологии позволяет установить общеамериканские, зональные⁴, а также национальные особенности испанской речи в Латинской Америке.

Изучение разновидностей испано-американской речи по странам неизбежно поставит перед исследователем важный теоретический вопрос о национальных языках американских наций⁵, а также целый ряд практиче-

en la copia popular y en el lenguaje culto, New York, 1947; F. J. Santamaría, Estudio acerca de la XV edición del Diccionario de la Academia, «Investigaciones lingüísticas», t. II, № 5, 1934; M. E. Veserra, Observaciones sobre los otros 469 errores del Diccionario de Madrid, там же; Fr. J. de Córdoba, Vocabulario Castellano-Zapoteco, México, 1942; ег о ж е, Vocabulario agrícola nacional, «Investigaciones lingüísticas», t. III, № 3—4, 1935; C. A. Bregú Virreira, Idiomas aborígenes de la república Argentina, Buenos-Aires—México, 1942; G. Rojas Carrasco, Chilenismos y americanismos...; J. de Arona, Diccionario de peruanismos, Paris, 1938; P. H. Ureña, Palabras antillanas en el diccionario de la Academia, RFE, XXII, 1935, стр. 175—186; L. Sandoval, Semántica guatemalense o diccionario de guatemaltequismos, t. I—II, Guatemala, 1941—1942.

¹ См. G. Federici, указ. соч.

² См. классификацию типов заимствованной лексики из языков североамериканских индейцев в работе: E. H. Criswell, Lewis and Clark: linguistic pioneers. («A quarterly of research [The University of Missouri studies], vol. XV, № 2, 1940). Об эволюции ряда испанских слов в испано-американском см., например, P. P. Ramírez, Los Huarpis. Etimología de las palabras usadas por el pueblo, Buenos-Aires, 1938.

³ См. P. P. Ramírez, указ. соч., стр. 184—185.

⁴ См. M. L. Wagner, Lingua e dialetti, dell' America spagnola, Firenze, 1949, гл. III.

⁵ Особенно оживленно обсуждается вопрос о так называемом национальном испанском языке Аргентины. См. по этому поводу: J. M. Gutiérrez, Cartas de un porteño, Buenos-Aires, 1942; A. Alonso, El problema de la lengua en América, Madrid, 1935; ег о ж е, La Argentina y la nivelación del idioma, Buenos-Aires, 1943; A. Castro, La peculiaridad lingüística rioplatense y su sentido histórico, Buenos-Aires, 1941; A. Alonso, Estudios lingüísticos. Temas hispano-americanos, Madrid, 1953; R. Monner Sans, Notas al castellano en la Argentina, Buenos-Aires, [1944]; L. Abeille Idioma nacional de los argentinos, Paris, 1900. Об испанском языке в Мексике см.: P. Henríquez Ureña, El español en México, los Estados Unidos

ских вопросов¹. Значительный интерес представляет также вопрос о периодизации развития испано-американской речи², выяснение характера влияния испанского языка на местные языки³ и результаты взаимодействия испанского языка с другими европейскими языками⁴. Таков, примерно, круг проблем, возникающих при изучении испанского языка Латинской Америки.

у la América Central, Buenos-Aires, 1938; J. I. Dávila Garibí, *Del natuati al español*, Tacubaya, 1939; F. J. Santamaría, R. Domínguez, *Ensayos críticos de lenguaje en México*, Porrua, 1940; F. Semeleder, *El español de los mejicanos*, México, 1910; см. также «Investigaciones lingüísticas» (México) за 1933, 1934, 1935 гг. Об испанском языке в других странах см.: в Чили—G. Rojas Carrasco *Filología chilena*..; в Перу—J. Arona, *Diccionario de peruanismos*..; в Парагвае—B. Malmberg, *Notas sobre la fonética*..; в Колумбии—L. de Obando, *Corrección del lenguaje*, [Bogotá], 1938; R. J. Cuervo, *Apuntaciones críticas sobre el lenguaje bogotano*..; L. A. Acuña, *Refranero colombiano*, Bogotá, 1948; в Центр. Америке—P. H. Ureña, *El español en Santo Domingo*, Buenos-Aires, 1940; H. Toscano Mateus, указ. соч. (приводится новейшая библиография).

¹ См., например: Tomás Navarro, *El idioma español en el cine parlante. ¿Español o hispanoamericano?* «Hispania», vol. XIV, N 1, California, 1931, стр. 9—31.

² Такой вопрос обязательно возникает в частных исторических грамматиках типа: J. González Moreno, *Manual elemental de gramática histórica hispanomexicana* (México, 1926).

³ Ср. E. D. Preston, *The language of Hawaii*, Washington, 1900, стр. 43—44. О смешанных языках см. А. Долговольский, Против ошибочной концепции «гибридных» языков (о креольских наречиях), «Уч. зап. 1-го Моск. гос. пед. ин-та иностр. языков», т. VII, 1955, а также H. Schuchardt, *Kreolische Studien*, I—IX, Wien, 1882—1891.

⁴ См., например, работы Г. Мео Дзилло о влиянии испанского языка на итальянский: G. Meo Zilio, *Influenze dello spagnolo sull'italiano parlato nel Rio de la Plata*, «Lingua nostra», vol. XVI, fasc. 1, 1955, стр. 16—22; е го же, *Interferenze sintattiche nel cocoliche rioplatense*, «Lingua nostra», vol. VII, fasc. 2, стр. 54—59.

ДИСКУССИИ И ОБСУЖДЕНИЯ

Р. Г. ПИОТРОВСКИЙ

СТРУКТУРАЛИЗМ И ЯЗЫКОВЕДЧЕСКАЯ ПРАКТИКА

(Возможна ли структуральная диалектология?)

Нельзя не согласиться с теми участниками дискуссии о сущности структурализма, которые считают необходимым отделять чисто лингвистическую сторону структурального направления в языкознании от философских или псевдофилософских высказываний отдельных его представителей¹. Эти высказывания, так часто цитируемые критиками структурализма, по существу очень мало дают не только для оценки лингвистических приемов, но и для понимания самих философских основ структурализма. Причины этого различны.

Отдельные философско-лингвистические высказывания структуралистов и их предшественников нередко находятся в прямом противоречии с другими положениями, выдвигаемыми этими же учеными или их соратниками. В качестве примера можно привести оценку, даваемую Ф. де Соссюром материальной стороне языка. В своем «Курсе общей лингвистики» Соссюр неоднократно подчеркивал, что «...звук, элемент материальный, не может сам по себе принадлежать к языку. Он для языка нечто вторичное, лишь используемый им материал»². Это высказывание Ф. де Соссюра часто расценивается как неоспоримое доказательство его идеалистических воззрений. Но по этому же вопросу у Соссюра имеется немало высказываний, которые позволяют считать его и материалистом. Ср.: «не бывает языковых фактов вне звукового материала, расчлененного на значимые элементы»³.

Представители Пражского лингвистического кружка, опираясь на последнее положение, постоянно указывали на необходимость учитывать материальную сторону языка. Ср., например, в «Проекте стандартной фонологической терминологии»: «В тех случаях, когда в языке два звука выступают в одних и тех же фонологических условиях и ни один из этих звуков не может быть заменен другим звуком так, чтобы смысл слова не изменился, эти два звука способны дифференцировать значения слов и реализуют две различных фонемы»⁴.

¹ См.: С. К. Шаумян, О сущности структурной лингвистики, ВЯ, 1956, № 5, стр. 39; М. И. Стеблин-Каменский, Несколько замечаний о структурализме, ВЯ, 1957, № 1, стр. 35.

² Ф. де Соссюр, Курс общей лингвистики [перевод с франц.], М., 1933, стр. 117.

³ Там же, стр. 111.

⁴ «Projet de terminologie phonologique standardisée», «Travaux du Cercle linguistique de Prague» (TCLP), 4, 1934, стр. 311; ср. также В. Тгнка, Určování fonému, «Acta Universitatis Carolinae», 7: Philologica et Historica, Praha, 1954, стр. 19—21. Правда, следует иметь в виду, что такие признаки, как «глухость», «заднеязычность» и т. п., используемые пражскими структуралистами, являются по существу не акустико-физиологическими, но семиологическими признаками.

Представители копенгагенской глоссематической ветви структурализма, напротив, пропагандируют и развивают те высказывания Ф. де Соссюра, в которых он отрицательно относится к изучению материальной стороны языка. Ср. хотя бы такое определение фонемы (или с е н е м ы, как называют ее глоссематики), приводимое Л. Ельмслевым: «единство, которое н е я в л я е т с я з в у к о м, но которое может быть представлено или передано звуком»¹.

Нередко случается, что теоретические (философско-лингвистические) декларации структуралистов вступают в противоречие с их лингвистической практикой. Действительно, если судить о философских установках Л. Ельмслева по его собственным заявлениям, то он, несомненно, должен быть отнесен к последователям «логического» идеализма (Р. Карнап, Б. Рассел, А. Айер и др.). Для этого достаточно сравнить «структурный подход к языку» Л. Ельмслева, представляющий собой, по его словам, «изучение чистых отношений в языковой схеме независимо от проявления или реализации ее...»,² с такими, например, агностицистическими декларациями позитивистов: «...физические события известны нам только в отношении их пространственно-временной структуры. Качества, которые составляют эти события, — непознаваемы, они совершенно нам неизвестны...»³. Больше того, сам Л. Ельмслев глубоко уверен, что «структурный метод в языковедении имеет тесную связь... с логистической теорией языка... разработанной Уайтхэдом и ...Расселом, а также венской логистической школой, в особенности Карнапом...»⁴.

Однако не следует слишком доверять декларативным заявлениям глоссематиков, а также текстуальным совпадениям между их «теоретическими» высказываниями и догмами позитивистов⁵. Если обратиться к частным вопросам глоссематического анализа, то окажется, что Л. Ельмслев и его ученики постоянно отходят от провозглашенных ими философско-лингвистических принципов. Так, Л. Ельмслев подчеркивает, что изучение материальной стороны языка не входит в задачи языкознания, поскольку и звуки и концепты, отражающие в нашем сознании предметы внешнего мира, лежат за пределами языка⁶. Вместе с тем, разбирая частные случаи глоссематического анализа, Л. Ельмслев постоянно обращается к языковой субстанции⁷. Что касается других структуралистов, примыкаю-

¹ L. Hjelmslev, Structural analysis of language, «Studia linguistica» (SL), 1947, № 2, стр. 72; ср. также Л. Ельмслев, Метод структурного анализа в лингвистике, «Acta linguistica» (AL), vol. VI, fasc. 2—3, Copenhagen, 1950—1951, стр. 60. В этом плане характерен глоссематический принцип классификации фонем в датском языке (см. Л. Hjelmslev, Grundtraek af det Danske Udtrykssystem med 211 lejes Henblik på Stædet. Selskab for nordisk Filologi, Årsberetning for 1948—1949—1950, стр. 18. Подробное о различиях между пражскими и копенгагенскими структуралистами см. С. К. Шаумян, указ. соч., стр. 51—53.

² Л. Ельмслев, Метод структурного анализа в лингвистике, стр. 62.

³ B. Russell, Human knowledge its scope and limits, London [1949], стр. 47; ср. также Р. Сагнар, Der logische Aufbau der Welt, Berlin, 1928, стр. 14—15.

⁴ Л. Ельмслев, Метод структурного анализа в лингвистике, стр. 63.

⁵ Что касается Пражского и Женевского кружков, а также американских дескриптивистов, то говорить об их непосредственной зависимости от логистического идеализма вообще трудно.

⁶ Ср.: L. Hjelmslev, Omkring Sprogteoriens Grundlæggelse (OSG), København, 1943, стр. 90—91; е г о ж е. La stratification du langage, «Words», vol. 10, № 2—3, 1954.

⁷ Так, говоря об устранении противопоставлений (oppositions), связанном со слиянием противопоставленных единиц (fusion), Ельмслев указывает, что они являются фактами субстанции (fait de substance). См. Л. Hjelmslev, Note sur les oppositions supprimables, TCLP, 8, 1939, стр. 57. Языковая субстанция учитывается Ельмслевом при анализе катмугаций (см. «La stratification...», стр. 171—172). О противоречиях между общетеоретическими положениями Л. Ельмслева и практикой глоссематического анализа см. B. Sierstema, A study of Glossematics. Critical survey of its fundamental concepts, The Hague, 1955.

щих по своим взглядам к глоссематическим концепциям Л. Ельмслева, то они вообще выступают против исключения языковой субстанции из сферы лингвистического анализа¹.

Короче говоря, о структурализме, как и о любом другом научном направлении, следует судить не по словам, т. е. теоретическим декларациям отдельных его представителей, а по делам, т. е. по тем приемам, посредством которых обрабатывается конкретный материал; по тем путям, по которым идет обобщение и интерпретация добытых результатов; по тому применению, которое находят эти последние в практике; и, наконец, по тем перспективам, которые открываются в науке благодаря достижениям данного направления.

*

Перед языкознанием, как и перед любой другой общественной наукой, всегда стояли такие трудные проблемы, как соотношение статики и динамики (современное состояние языка и его историческое развитие), отношение общего и частного (языковая система и частное ее проявление, т. е. индивидуальное высказывание), взаимоотношение изучаемого предмета с другими формами деятельности человека (проблема языка и мышления).

Родоначальник всех направлений современного структурализма Ф. де Соссюр не смог разрешить эти вопросы и вынужден был ограничиться в своем «Курсе» формальным расчленением и противопоставлением категорий, составляющих указанные проблемные «узлы»². Отсюда родились известные постулаты соссюровского учения о языке: «Противопоставление двух точек зрения — синхронической и диахронической — совершенно абсолютно и не терпит компромисса»³; «язык, обособленный от речи, составляет предмет, доступный обособленному же изучению»⁴; «единственным и истинным объектом лингвистики является язык, рассматриваемый в самом себе и для себя»⁵.

Однако было бы ошибкой считать, что последователи Ф. де Соссюра — структуралисты слепо восприняли эти догмы. Хотя в структуралистских работах часто встречаются ссылки на приведенные положения Соссюра, в течение последних 25 лет структуралисты вели интенсивные научные поиски, стремясь преодолеть догматизм Соссюра и научно решить указанные проблемы. Первая из них — противопоставление синхронии и диахронии — фактически уже не представляет затруднений. Сейчас не только разработана методика структурально-диахронического анализа⁶,

¹ Ср.: F. Hintze, Zum Verhältnis der sprachlichen «Form» zur «Substanz», SL, 1949, № 2, стр. 91—92; A. Martinet, Au sujet des *Fondements de la théorie linguistique* de Louis Hjelmslev, «Bull. de la Société de linguistique de Paris» (ESLP), t. 42, fasc. 1, 1946, стр. 37 и сл.

² Для начала XX в. такое разделение было прогрессивным, поскольку оно предохраняло исследователя от характерного для младограмматиков подавления синхронии преувеличенным историзмом, а также предохраняло от смешения языковых и психологических категорий.

³ Ф. де Соссюр, указ. соч., стр. 90.

⁴ Там же, стр. 39.

⁵ Там же, стр. 207.

⁶ См.: R. Jakobson, Prinzipien der historischen Phonologie, TCLP, 4, 1931; Ch. Vallu, Synchronie et diachronie, «Vox romanica», vol. II, 1937, стр. 345—352; W. Doroszewski, Le critère fonctionnel dans l'évolution du langage, «Proceedings of the 3 Phon. congress», 1939, стр. 299—307; A. G. Haudricourt, Quelques principes de phonologie historique, TCLP, 8, 1939; A. Martinet, Rôle de la corrélation dans la phonologie diachronique, TCLP, 8; N. van Wijk, Umfang und Aufgabe der diachronischen Phonologie «Mélanges de linguistique et de philologie offerts à J. van Ginneken», Paris, 1937; B. Malinberg, Systeme et méthode, Lund, 1945, стр. 22—32 (Synchronie et diachronie); H. Yvonne, Linguistique diachronique, linguistique synchronique et psychologie sublinguistique, «Le français moderne», 1952, № 2; A. Martinet, Function, structure, and sound change, «Word», vol. 8, № 1, 1952, стр. 1—32, и др.

но созданы оригинальные структурально-диахронические исследования по конкретным языкам¹.

Современный структурализм пытается также разрешить и вопросы о соотношении языка и мышления² и языка и речи³, правда, с оговорками о том, что рассмотрение этих соотношений относится к металингвистике (т. е. к науке о разных семантических системах) и выходит за рамки микролингвистики (т. е. собственно языкознания)⁴. Однако факт остается фактом — языковедческая практика заставляет структуралистов, хотя бы они этого или не хотят, обращаться к указанным проблемам.

Структуральное исследование соотношения язык-речь предусматривает применение структуральной методики в диалектологии и стилистике. Это понятно: общезыковая схема реализуется в первую очередь в территориальных диалектах и речевых стилях. Впервые вопрос о применении фонологических критериев в диалектологии был поставлен в 1931 г. Н. С. Трубецким в статье «Фонология и лингвистическая география»⁵. В этой статье Трубецкой выступает против смещения фонологических и простых (вариантных) диалектных различий⁶. Дальше этих общих соображений Трубецкой не пошел. Он оставил совершенно незатронутой основную проблему структуральной диалектологии, касающуюся обычного противоречия между необходимостью структурного описания диалекта и отсутствием у последнего не только ясных территориальных границ⁷, но и четких языковых признаков⁸. Действительно, как, например, определить фонологическую систему диалекта, если изоглоссы отдельных элементов, входящих в ее корреляции, не совпадают⁹.

¹ См.: W. P. Lehmann, Proto-Indo-European phonology, Austin, 1952; F. V. Mareš, Vznik slovanského fonologického systému a jeho vývoj., «Slavia», ročn. XXV, seš. 4, 1956; П. ван Вейк, К истории фонологической системы в общеславянском языке позднего периода, «Slavia», ročn. XIX, seš. 3—4, 1950; B. Trnka, From Germanic to English. A chapter from the historical English phonology, «Recueil linguistique de Bratislava», vol. I, 1948; A. G. Haudricourt et A. Juillard, Essai pour une histoire structurale du phonétisme français, Paris, 1949. В работе В. Брандштейна находим комбинацию структурально-диахронической и статистической методики (см. W. Brandenstein, Zur historischen Phonologie an Hand von altgriechischen Beispielen, «Recueil linguistique de Bratislava», vol. I).

² См.: L. Hjelmslev, La stratification, стр. 170, 175—177; е го же, OSG, стр. 46—49, 99; B. Siertsema, укаа. соч., стр. 146 и сл. Ср. также J. M. A. R. O. u. z. e. a. u., Analyse syntaxique et analyse psychologique, «Journ. de psychologie normale et pathologique», 1950, № 1, и др. работы.

³ Попытка разрешить этот вопрос в плане структуральной методологии (микролингвистика — металингвистика) сделана Л. Ельмслевом (см. OSG, гл. XXII); по-этому этот вопрос ставится в работах: J. von L. a. z. i. e. z. i. u. s., Die Scheidung langue-parole in der Lautforschung, «Proceedings of the 3 Phon. Congress»; H. F. r. e. i., Langue, parole et différenciation, «Journ. de psychologie normale et pathologique», 1952, № 2.

⁴ Ср. L. Hjelmslev, OSG, гл. XXII.

⁵ Н. С. Трубетцкой, Phonologie und Sprachgeographie, TGLP, 4, 1931.

⁶ Фонологическим различием между говорами является, например, противопоставление восьмичленной системы гласных в андалусийских говорах испанского языка (i — e — ε — a — a: — o — u) и пятичленной системы в кастильском диалекте (i — e — a — o — u). Пример вариантных (фонетических) различий между говорами: валахскому z соответствует молдавское dz (ср. zi: dzf).

⁷ См. L. G. a. u. c. h. a. t., Gibt es Mundartgrenzen?, «Archivum romanicum», vol. 3, 1919, стр. 365—403.

⁸ Ср. в этом плане отказ некоторых диалектологов от самого понятия «диалект» и введение нового научного понятия — «языковой ландшафт» (ср. K. W. a. g. n. e. r., Deutsche Sprachlandschaften, Marburg, 1927).

⁹ «Антагонизм» между структуральными исследованиями и диалектологией объясняется также и различиями в методах работы. Для структурализма характерен дедуктивный, для лингвистической географии — индуктивный методы.

В большинстве новых работ по структуральной диалектологии этот вопрос обходится. Одни авторы ограничиваются рассмотрением отдельных фонем, описывая функционирование их вариантов в различных говорах и лишь отчасти указывая на соотношение рассматриваемой фонемы с другими членами архифонемного ряда¹. В других работах описывается фонологическая и морфологическая структуры диалектов в целом. Однако каждый раз речь идет о таких диалектах, которые имеют четко очерченные территориальные и лингвистические границы. В этом случае большинство изоглосс диалекта совпадает между собой, и структурное исследование диалекта ничем не отличается от структурного описания языка². Наконец, существуют попытки искусственного очерчивания диалекта путем выведения его средней изоглоссы. Эта последняя получается в результате статистической обработки всей суммы изоглосс данного диалекта³. Однако выведение средней изоглоссы неизбежно связано с искажением языковой действительности, поскольку из поля зрения исследователя искусственно устраниваются переходные говоры, представляющие собой неотъемлемую черту диалектного ландшафта. Таким образом, во всех указанных случаях основное противоречие структуральной диалектологии не разрешается.

Значит ли это, что структуральный метод вообще не может быть применен в диалектологии? ⁴ Нет, не значит. Правда, в настоящий момент для большинства языков невозможно дать исчерпывающего описания фонологических и грамматических структур диалектов, входящих в эти языки. На первых порах, по нашему мнению, следует ограничиться в выявлении микроструктур — частных противопоставлений, архифонем и вообще простых систем с небольшим количеством коррелированных единиц. Приведу два примера из опыта работы над «Пробным диалектологическим атласом молдавских говоров» (ПМДА), составление которого начато летом 1956 г.

1. **Фонетика.** В молдавских говорах конечное [r] у существительных, имеющих агентивный суффикс *-ar* (<лат. *-arius*), а также у некоторых других имен обычно палагализовано (*cer'*, *magar'*, *morar'*). Твердое [r] в указанной позиции наблюдается только в говорах района Измаил-Рени. Об этом можно судить на основании карты № 1; однако эта карта отражает лишь внешнюю сторону указанного явления. Дело в том, что замена твердого конечного [r] мягким может в ряде случаев нарушать кор-

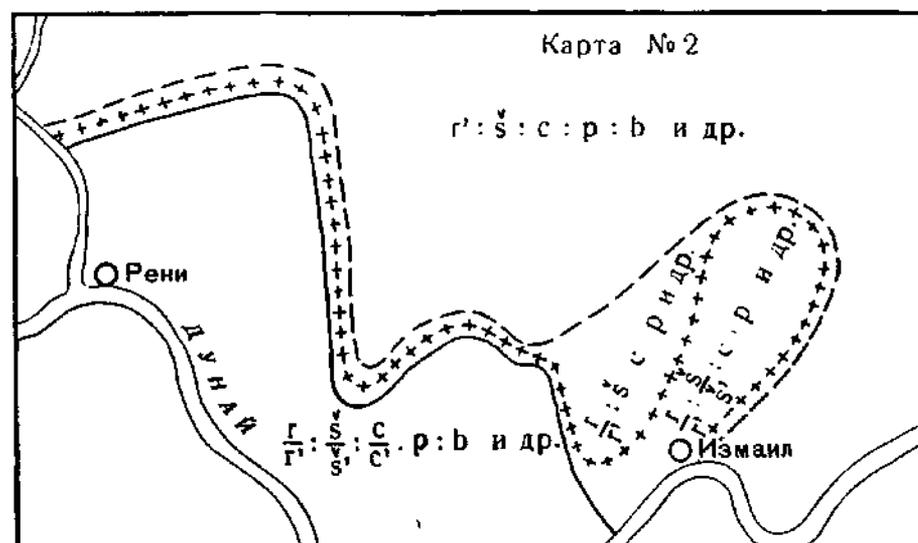
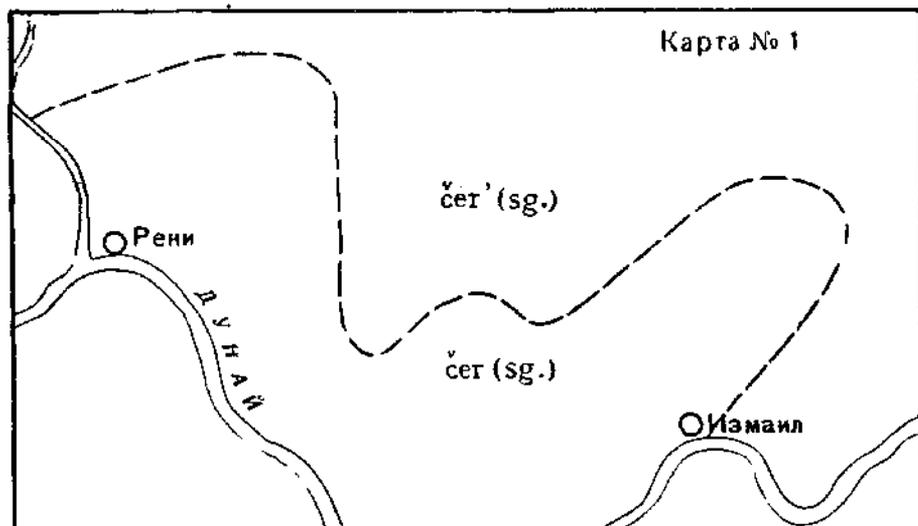
¹ Ср.: W. V á s q u e z, *El fonema [s] en el Español del Uruguay*, Montevideo, 1953; D. T a y l o r, *A note on the phoneme [r] in Dominican Creole*, «Words», vol. 8, № 3, 1952.

² Ср.: A. P f a l z, *Zur Phonologie der bairischösterreichischen Mundart*, «Festschrift aus dem Kreise der Mitarbeiter an der Monumentalsammlung „Deutsche Literatur“ zum 60. Geburtstag ihres Verlegers Dr. E. Reclam», Leipzig, 1936; I. F. B r o u s s a r d, *Louisiana Creole dialect, Louisiana, 1942*; H. S c h m e c k, *Probleme der korsischen Konsonantismus. Phonologische Darstellung*, «Zeitschrift für rom. Philologie», Bd. 68, Heft 1/2, 1952; B. W. B e n d e r, G. F r a n c e s c a t o and Z. S a l z m a n n, *Friulian phonology*, «Words», vol. 8, № 3, 1952; A. H u l l, *The Franco-Canadian dialect of Windsor, Ontario: A preliminary study*, «Orbis. Bull. international de documentation linguistique», t. V, № 1, 1956, стр. 35—60.

³ См. E. B a g b y A i w o o d, *The phonological divisions of Belgc-France*, «Orbis», t. IV, № 2, 1955, стр. 380—381. Аналогичный прием, но уже в плане нелингвистической методики, применен в Г. Рольфом (см. G. R o h l f s, *An den Quellen der romanischen Sprachen*, Halle (Saale), 1952, стр. 77 и 93; ср. также W. D o r o s z e w s k i, *Pour une représentation statistique des isoglosses*, BSLP, t. 36, fasc. 1, 1935).

⁴ Неслучайно одна из проблем международного конгресса языковедов в Осло (1957) формулируется так: «Возможна ли структуральная диалектология?» Структуральная диалектология защищается в следующих работах: U. W e i n r e i c h, *Is a structural dialectology possible?*, «Words», vol. 10, № 2—3, 1954; J. F o u r q u e t, *Linguistique structurale et dialectologie*, «Forschungen im Bereich und Umkreis der germanischen Philologie», Berlin, 1956.

реляцию [r : r'], которая у некоторых существительных имеет морфологический характер, являясь средством различения единственного и множественного числа. Поэтому приходится специально картографировать такие существительные (например, *morar*), нанося на карту не отдельные их



1 — изоглосса, отделяющая нейтрализацию: *morar'* (sg.-pl.) от корреляции: *morar* (sg.): *morar'* (pl.); 2 — изоглосса, отделяющая нейтрализацию: *kukoš* (sg.-p.) от корреляции: *kukoš* (sg.): *kukoš'* (pl.); 3 — изоглосса, отделяющая нейтрализацию: *kîrnac* (sg.-pl.) от корреляции *kîrnac* (sg.): *kîrnac'* (pl.).

формы, но корреляцию форм единственного и множественного числа *morar*: *morar'*¹ (см. карту № 2). При этом оказывается, что морфологическая кор-

¹ Слово [cer] «небо» для этой цели не пригодно, поскольку у него приметой множественного числа служит суффикс [ur']; омоним [čer— čer'] «декоративный дуб» в Бессарабии не употребляется.

реляция [r : r'] имеет место только в районе Измаил-Рени, а в остальных молдавских говорах она нейтрализуется в виде мягкого [r'] (различение единственного и множественного числа достигается в этом случае синтаксическим путем: *un morar' — doi morar'*).

Возможности структурального анализа этим не исчерпываются. Сравнение судьбы корреляции [r : r'] с аналогичными корреляциями других согласных показывает, что потеря корреляции «палатальность: непалатальность» имеет место и у других согласных, например, у [š] и [c]¹. При картографировании пар существительных, соответственно оканчивающихся на эти согласные и дающих в литературном языке морфологическую корреляцию [š : š'] и [c : c'], оказывается, что ареалы корреляции и нейтрализации этих согласных и пары [r : r'] примерно совпадают. Таким образом, большая часть молдавских говоров фонологически не различает твердые и мягкие согласные, в то время как говоры района Измаил-Рени до сих пор еще сохраняют эту корреляцию. Среди них имеются и переходные говоры: в одном из них есть корреляции [r : r'] и [š : š'], в то время как в отношении [c] эта корреляция нейтрализована; в другом сохраняется только корреляция [r : r'] а [š] и [c], не дают фонологического различия твердости и мягкости. Учитывая все это, можно утверждать, что карта, составленная в результате использования структурной методики (картографирование отношений), более глубоко и полно отражает отношения отдельных молдавских говоров, чем карта № 1, основанная на традиционной методике (картографирование одного языкового элемента)².

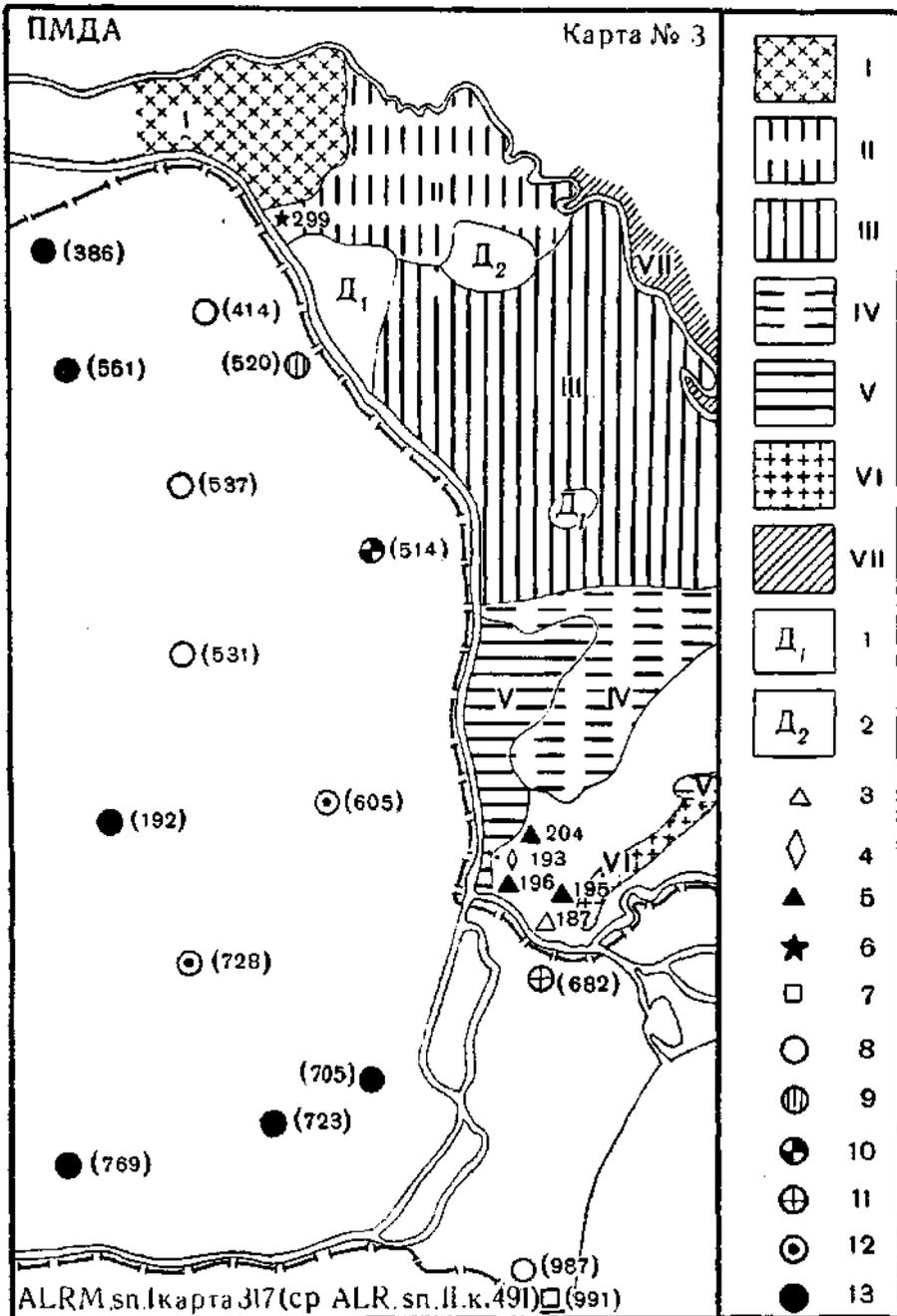
2. Л е к с и к а. В Малом и Большом атласах румынского языка имеются параллельные карты, регистрирующие распространение слов со значением «полотенце» (см. ALR, sn, II, карта 491; ALRM, sn, I, карта 317). Для обозначения указанной реалии во многих пунктах отмечается по несколько терминов (см. карту № 3), которые, по-видимому, не являются абсолютными синонимами, а скорее обозначают различные, хотя и близкие реалии или имеют стилистическую дифференциацию³. Вопрос об обозначениях реалии «полотенце» имеется и в анкете Молдавского атласа. Опираясь на принцип коммутации и учитывая результаты картографирования обозначений этой реалии в Румынском атласе, мы стремились выяснить при опросе в каждом отдельном пункте семантико-стилистические соотношения между терминами, обозначающими понятие «полотенце». В результате опроса выяснилось, что в большинстве пунктов молдавского ареала употребление указанных терминов отражает двучленную систему реалий — «личное (бытовое) полотенце» и «декоративное полотенце».

Но как картографировать полученные данные? Составление карт на отдельные слова не позволяло отразить сущность явления. Ареалы употребления вариантов частично совпали. Картографирование каждой реалии порознь снова не дало ясных результатов: один и тот же термин в разных районах обозначает то один, то другой вид полотенца. Кроме того, пункт 299 дает иные реалии, чем те, которые мы встречаем в других районах.

¹ Другие молдавские согласные (кроме сонантов) уже давно утратили фонологическое противопоставление мягкости и твердости.

² Усложнение карты № 1 за счет введения изоглос на твердость и мягкость [š] и [c] в формах множественного числа (*kukoš' — kukoš, kîrnac' — kîrnac*) ничего не дало бы, поскольку без учета форм единственного числа эти явления нельзя соотносить с палатализацией [r] в словах *morar, ferar* и т. п.

³ Это подтверждается, между прочим, и свидетельствами самого Румынского атласа. — Ср. в пункте 991: *cel numit piskir e mai mare decât cel numit cărpă* или в пункте 886: *prozop ră boierește* (т. е. по-квипному. — Р. II.); *ștergari, pă gomînește* — см. «Atlasul lingvistic român», Serie novă (ALR, sn), vol. II, [Cluj], 1956, карта 491.



I — штергар: шервет¹, II — шервет: шервет (фрулос, ку флорь), III — шервет: просоп, IV — штергар: просоп, V — штергар: штергар, VI — пейкир: пейкир, VII — мынештергура ^{мынештергура} (просоп); районы с двойными системами: 1 — ^{просоп} штергар, 2 — шервет: ^{шервет} просоп; пункты, дающие особые системы: 3 — пейкир: штергар, 4 — штергар: пейкир, 5 — штергар: ^{штергар} пейкир, 6 — штергар: шервет: просоп (последнее слово обозначает декоративное полотно, на котором подносят подарок); данные ALRM, sn. I, карта 317 (ср. ALR, sn. II, карта 491): 7 — см. в тексте стр. 32, прил. 4, 8 — şervet, 9 — prosop, 10 — ştergar, şervet, 11 — peschir, ştergar, prosop, 12 — prosop, şervet, ştergar, 13 — ştergar.

¹ Первое слово соотношений обозначает полотно бытовое, второе — полотно декоративное.

Четкая картина получилась лишь тогда, когда было произведено картографирование не отдельных слов и реалий, но их соотношений. Оказалось, что говоры Бессарабии различаются между собой не столько употреблением различных слов для обозначения указанных видов полотенца (здесь используется четыре слова: *штергар* — *шервет* — *просоп* — *пешкир*¹), сколько разницей в их комбинациях (см. карту № 3)².

Преимущество «структурального метода» обнаруживается и при анализе некоторых частных явлений. Рассмотрение частных противопоставлений, включающих недавно заимствованный турцизм *пешкир* (см. карту № 3), позволяет предположить, что его заимствование в пунктах 187, 193, 195, 196 диктовалось не появлением новой реалии (характерно, что слово *пешкир* обозначает в одних пунктах бытовое, в других — декоративное полотенце), но стремлением сохранить в языковой форме противопоставление реалий (ср. принцип коммутации), которое постепенно начинало ослабевать в южнорумынских говорах (ср. зоны V и VI). Таким образом, вопреки рецептам копенгагенской школы, структуральный анализ оказывается полезным при изучении механизма заимствований и межъязыкового контакта³.

Рассмотрение соотношения элементов в «переходных» зонах (Д 1, Д 2 и пункты 195 и 196) представляет материал для историко-диалектологических наблюдений. Каждая из этих зон дает сосуществование двух частных корреляций, т. е. «двухсистему»⁴. Ср.: в зоне Д 1 — *шервет* : *просоп*, как в зоне III, и *штергар* : *просоп*, как в зоне IV; в зоне Д 2 — *шервет* : *просоп*, как в зоне III, и *шервет* : *шервет*, как в зоне II; в пунктах 195 и 196 — *штергар* : *пешкир*, как в пункте 193, и *штергар* : *штергар*, как в зоне V. В зоне Д 2 оба частных противопоставления вступают между собой в коррелятивное соотношение, причем соотношение это носит не семантический, но стилистический характер. Корреляция *шервет* : *просоп* более употребительна и поэтому в стилистическом отношении нейтральна, нейтрализованная корреляция *шервет* : *штергар* употребляется редко и воспринимается как архаическая⁵. Корреляция сохраняется лишь в правой части нижесприведенного соотношения, а в левой она нейтрализуется:

$$\frac{\text{штергар} : \text{просоп}}{\text{шервет} : \text{шервет}} = \frac{\text{шервет} : \text{просоп}}{\text{шервет} : \text{шервет}} = \text{шервет} : \frac{\text{просоп}}{\text{шервет}}$$

Если полностью исключить стилистику из структуральной микролингвистики, как это предлагают представители копенгагенской школы, то в случаях синонимического употребления нескольких слов, различающихся лишь стилистической характеристикой, их пришлось бы квалифицировать как варианты одного и того же слова. Структуральная стилистика предохраняет от подобного «насилия» над материалом⁶.

¹ В левобережных районах Молд. ССР используется еще один вариант — *мынештергарь*.

² Нельзя не отметить, что «структуральный метод» был подсказан нам и самими носителями говоров, которые не только отдавали себе отчет в системном расположении (как в плане лексики, так и в плане стилистики) отмечаемых нами слов, но и подмечали внутренние различия между лексическими системами в говорах родного села и соседних пунктов.

³ Подробнее см.: U. Weinreich, *Languages in contact, findings and problems*, New York, 1953.

⁴ Ср. его же, *Is a structural dialectology possible?*, стр. 390.

⁵ В области стилистики, как будто, также действует закон изоморфизма в соотношении употребления и содержания знака (ср. J. K u r y l o w i c z, *Linguistique et théorie de signe*, «*Journal de psychologie normale et pathologique*», 1949, № 2, стр. 172). Применительно к стилистике этот закон можно сформулировать так: чем уже сфера употребления знака или системы знаков, тем ярче их стилистическая характеристика.

⁶ Ср. в этом плане W. V á s q u e z, указ. соч., стр. 9—10.

Характер стилистической корреляции обеих систем показывает, что корреляция *шервет* : *просоп* имеет тенденцию к постепенному расширению своей зоны употребления за счет сокращения ареала нейтрализованной корреляции *шервет* : *шервет*. Если учесть при этом, что в зоне II при обозначении декоративного полотенца слово *шервет* снабжается обычно каким-либо определением (*фрумос, ку флорь*), то станет ясным, что мы имеем дело с различными формами проявления в молдавских говорах закона коммутации, согласно которому «всякое различие в идее, усмотренное мыслью, стремится выразиться различными означающими»¹.

Итак, метод структурного анализа вполне может быть применен в диалектологическом исследовании. Это поможет глубже осмыслить конкретный материал и в то же время смягчить догматизм и увлечение крайностями, так часто свойственные новым научным течениям.

¹ Ф. де Соссюр, указ. соч., стр. 119.

А. М. ДЕБОРИН

ЗАМЕТКИ О ПРОИСХОЖДЕНИИ И ЭВОЛЮЦИИ
НАУЧНЫХ ПОНЯТИЙ И ТЕРМИНОВ

Всякая наука оперирует определенными понятиями, которые составляют самое существенное орудие познания. Без понятий, притом отвлеченных понятий, нет науки. Научные абстракции должны выражать существенную природу данного явления. Отбросив все случайное и несущественное, мы получаем то, что составляет сущность явления, то, что составляет его понятие. Способность человека создавать такие абстрактные понятия дала ему возможность завоевать природу, стать ее господином. Приобретение этой способности знаменовало подлинно революционный переворот в сознании и жизни человека.

Переход к отвлеченному мышлению, к мышлению понятиями представляет собою эпоху в истории человечества. Развитие способности человека к образованию абстрактных понятий связано с развитием орудий труда. Уже Л. Нуаре выдвинул ту мысль, что орудие труда отличается характером «общей идеи», характером универсальности¹.

Процесс развития отвлеченных понятий представляет одну из важнейших глав в истории человеческой мысли. Чем больше развиваются материальная культура, производство и техника, а вместе с ними и производственные отношения и отношения классов, чем больше развивается духовная культура, тем более духовный мир противопоставляется миру материальному как мир совершенно самостоятельный.

На этой же основе происходит отделение умственного труда от труда физического. Этот переворот становится возможным благодаря новой форме мышления, прежде всего благодаря развившейся в высокой степени способности человека к образованию отвлеченных понятий.

Идеалистическая философия исходит из признания готового, застывшего состояния сознания с какими-то вечными застывшими категориями и формами. В основу учения о языке и мышлении мы, вслед за классиками марксизма-ленинизма, кладем принцип развития, изменения, движения.

На примитивной ступени развития мышления всякое понимание предмета сводится к его непосредственному чувственному схватыванию. Желая подчеркнуть способности человека, мы говорим: он быстро схватывает, т. е. понимает, постигает. Таким образом, познание вещей означает схватывание их руками. Лат. *comprehensio* означает «схватывание» и «понимание» и даже просто «понятие». О том же самом говорит и франц. *comprendre* «обнимать» и «понимать». Здесь в основе познания лежит чувственно-осознательное восприятие, главным органом которого является рука. Мышление носит конкретный, чувственный и образный характер. Отвле-

¹ См. L. Noiré, *Das Werkzeug und seine Bedeutung für die Entwicklungsgeschichte der Menschheit*, Mainz, 1880, стр. 153.

ченное мышление еще не существует, ибо отвлеченное мышление теснейшим образом связано с словесным выражением, т. е. с звуковой речью, с понятиями.

Развитие мышления совершается путем перехода от схватывания к пониманию, от указания к доказыванию, как говорит Э. Кассирер¹. На ступени логического мышления познание теряет свой непосредственный характер и приобретает характер опосредствованный через понятия, суждения и умозаключения. В этом именно и состоит эволюция человеческого разума.

Человек в труде формирует не только внешнюю природу, но и свое мышление. Наши познавательные категории, отвлеченные понятия, которые могут быть поставлены по своему значению и роли наряду с искусственными орудиями труда, возникают первоначально из непосредственного процесса производства. «Производство идей, представлений, сознания,—писали Маркс и Энгельс в „Немецкой идеологии“,—первоначально непосредственно вплетено в материальную деятельность и в материальное общение людей, в язык реальной жизни. Образование представлений, мышление, духовное общение людей являются здесь еще непосредственным порождением материального отношения людей»².

На основе практической деятельности возникают и развиваются одновременно язык и мышление. Мыслить (*cogitare*) первоначально означало «совместно работать» (*cogito—co-agito*)³. В основе деятельности первобытного человека лежат две основные противоположные функции: разложения и соединения, раздирання (рытье) и связывания (плетение). Человеческий разум поступает точно таким же образом. Отсюда анализ и синтез. «...Уже разбивание ореха,—говорит Энгельс,— есть начало анализа...»⁴. Мышление, согласно Энгельсу, состоит в разложении объектов на их элементы и в соединении родственных между собою элементов в единство⁵.

Наставшая на особом подходе к выяснению, анализу и объяснению категорий мышления, Энгельс считает основой человеческого мышления деятельность, изменение природы человеком. Разум человека, говорит Энгельс, развивался соответственно тому, как человек научался изменять природу. Маркс и Энгельс отвергли ту точку зрения, согласно которой только природа действует на человека, и противопоставили ей новую, в соответствии с которой человек воздействует обратно на природу, изменяет ее и создает себе новые условия существования. Это воззрение имело решающее значение как для понимания исторического развития человека, так и для понимания того, что изменение человеческого природы влияет на его мышление.

Ленин дальше развил учение о связи теории с практикой. «...Практика человека,— говорит он,— миллиарды раз повторяется, закрепляется в сознании человека фигурами логики»⁶. Это относится и ко всем категориям диалектики. «Деятельность человека, составившего себе объективную картину мира,— пишет Ленин,— *изменяет* внешнюю действительность, уничтожает ее определенность (= меняет те или иные ее стороны, качества), и таким образом отнимает у нее черты кажимости, внешности и ничтожности, делает ее само-в-себе и само-для-себя сущей (= объективно истинной)»⁷.

¹ E. Cassirer, Philosophie der symbolischen Formen, Teil 1, Berlin, 1923, с. 127.

² К. Маркс и Ф. Энгельс, Соч., 2-е изд., т. 3, с. 24.

³ См. М. Мюллер, Наука о мысли [перевод с англ.], СПб., 1891, стр. 1.

⁴ Ф. Энгельс, Диалектика природы, Госполитиздат, 1952, стр. 176.

⁵ Ф. Энгельс, Анти-Дюринг, Госполитиздат, 1951, стр. 40.

⁶ В. И. Ленин, Философские тетради, Госполитиздат, 1947, стр. 188.

⁷ Там же, стр. 189—190.

В этой связи большой научный интерес представляет исследование происхождения категорий времени и пространства. Данные категории, являющиеся с точки зрения Канта и его последователей априорными формами созерцания, с марксистской точки зрения исходят по своему происхождению к человеческой практике и в конечном образе не представляют собою априорных форм. Первоначально время и место в человеческом представлении слиты воедино: время как длительность жизни человека или человеческого рода связывается с общим местом селения, со «стоянкой».

Л. Гейгер указывает, что древнееврейское существительное *dar* «поколение, род» имеет глагольную форму *dar* «иметь пребывание в определенном месте». Арабское *amḡin, imḡin* означает «жизнь», «долгое время», «долгий век», а *imḡân* — «поселенное место»¹. Нем. *Welt* от *Weralt* и англосаксонск. *weorold (world)* составилось из гот. *waîr* «человек» и *alds* «поколение, возраст», латинские слова *templum* «храм», «дом божества» и *tempus* «время» также указывают на первоначальную связь и единство времени — места².

Вся деятельность людей связана теснейшим образом с определенным, конкретным местом, имеющим к тому же свою качественную характеристику. Из конкретных, локальных различий постепенно развивается отвлеченное понятие пространства. Необходимо в этой связи отметить, что все интеллектуальные, духовные процессы и отношения выражаются словами пространственно-материальных значений. Слова, обозначающие пространственные понятия, служат для обозначения самого субъекта и ограничения его от других субъектов³.

Наречия места «здесь», «тут» и «там» послужили основой для трехчленной дифференциации лица «я», «ты», «он». Почти во всех языках, говорит Кассирер, наречия места послужили исходным пунктом для личных местоимений⁴. Из представления пространства выделилось представление времени с его также трехчленным разделением «теперь», «раньше» и «позже», соответствующее трем пространственным определениям. Сначала одни и те же слова употреблялись для обозначения пространства и времени, например, наречия места одинаково употреблялись и для обозначения времени: «здесь» и «теперь» выражались одним и тем же словом. Только впоследствии из пространственных определений возникают временные определения. Подобно тому, как в отношении пространства дифференциация между «здесь» и «там» происходит в результате осознания дистанции между двумя различными точками пространства, так и дифференциация различных моментов времени является результатом осознания различия между далеким и близким во времени⁵.

Мы видим, таким образом, существование глубокой связи между категориями времени и пространства. В основе обоих представлений лежит движение, выражающееся прежде всего, поскольку речь идет о человеческом познании, в деятельности человека в процессе производства.

¹ См. L. Geiger, *Ursprung und Entwicklung der menschlichen Sprache und Vernunft*, Bd. II, Stuttgart, 1872, стр. 149—150.

² См. H. Usener, *Götternamen*, Bonn, 1896, стр. 191—192.

³ См. E. Cassirer, указ. соч., стр. 164.

⁴ См. там же, стр. 164 и сл.

⁵ См. там же, стр. 166—168 и сл. Интересно отметить, что в словаре Я. и В. Гриммов (J. Grimm und W. Grimm, *Deutsches Wörterbuch*, Bd. VIII, Leipzig, 1893, стб. 276 и 281) указывается на первоначальное значение слова *Raum* «пространство» — *das freie Feld* «открытое поле, подлежащее возделыванию». В дальнейшем понятие «*Raum*» было перенесено на любую стоянку или местопребывание, где производилась какая-либо деятельность. Впоследствии тем же словом *Raum* обозначали и время.

В тесной генетической связи с развитием понятий времени и пространства стоит и категория каузальности, причинности. Восприятие каузальности, причины и следствия также возникло в процессе производства, в результате которого в сознании выделились орудия труда как причина. Здесь мы имеем трехчленный ряд: субъект, объект и опосредствующее орудие труда. «Труд есть, — говорит Маркс, — прежде всего процесс, совершающийся между человеком и природой, процесс, в котором человек своей собственной деятельностью о п о с р е д с т в у е т (разрядка моя. — А. Д.), регулирует и контролирует обмен веществ между собой и природой... Воздействуя... на внешнюю природу и изменяя ее, он в то же время изменяет свою собственную природу. Он развивает дремлющие в последней способности и поднимает игру этих сил своей собственной властью»¹. В этих строках Маркса заключена большая глубина и в сущности основа всей его философии. Человеческое мышление, его способности пробуждаются в процессе производства, в процессе его воздействия на природу.

Моменты процесса труда суть: целесообразная деятельность, или самый труд, предмет труда и средства труда. Это трехчленное единство представляет собою диалектический закон, раскрывающий условия возможности господства человека над природой, над миром. Когда первобытный человек раскалывает найденный им орех камнем или рукой, то он получает наглядное представление о причине и действии, о взаимной связи этих трех членов — субъекта деятельности, орудия и объекта деятельности, а вместе с тем и о последовательности этих событий, изменений во времени: причина предшествует действию. Повторяемость этих актов деятельности впоследствии приводит человека к представлению о закономерной связи причины с действием, вообще к той мысли, что всякое изменение имеет свою причину, что в природе существует закономерность, т. е. определенные законы связи вещей и явлений. Таким образом, применение самых примитивных орудий труда порождает в человеческом сознании мысль о единстве трех членов связи; благодаря этому применению возникает категория причинности, являющаяся выражением деятельности человека, направленной на изменение природы.

История мышления дает богатый материал для установления того положения, что понятия, как общее правило, рождаются парами. «Никогда еще, — говорит Нуаре, — не возникало понятие в языке, которое одновременно не носило бы в себе свою противоположность и которое не породило бы ее уже одним своим возникновением»². В самом деле, понятие внутреннего одновременно рождается с понятием внешнего, понятие правого с понятием левого, понятие света с понятием тьмы, понятие покоя с понятием движения и т. д. Мало того, во всех языках многие слова первоначально имели два противоположных значения; два различных противоположных понятия мыслились вначале как единство. «Из всех энецентричностей египетского лексикона, — пишет К. Абель, — самая поразительная та, что помимо слов, которые объединяют в себе противоположные значения, в этом лексиконе существуют другие составные или сложные слова, в которых два слова противоположных значений соединяются в одно сложное слово, которое имеет значение только одного из конституирующих его двух членов»³.

Абель приводит в доказательство выставленного им тезиса множество иллюстраций из различных языков — не только египетского, но и сан-

¹ К. Маркс, Капитал, т. I, Госполитиздат, 1952, стр. 184—185.

² L. Noiré, Logos, Leipzig, 1885, стр. 301.

³ C. Abel, Ueber den Gegensinn der Urworte, 1884, стр. 11.

скритского, латинского, греческого, немецкого, арабского и др.¹ Он прямо характеризует египетский язык как «контрадикторный язык». Антитезы логических понятий, говорит Абель, не должны нас удивлять, так как понятия возникают из сравнения. Если бы всегда было светло, то мы бы не различали света и тьмы. Все на этой планете, подчеркивает он, относительно и имеет независимое существование лишь постольку, поскольку данная вещь отличается от других вещей и поскольку они рассматриваются во взаимной связи. Каждое понятие есть один из близнецов своей противоположности, и поэтому оно не может быть мыслимо иначе, как через сопоставление со своей противоположностью. Слова с противоположными значениями выясняют процесс становления понятий и языка в первобытные времена.

Человек не мог добыть свои простейшие понятия иначе, как путем выяснения данной стороны противоположности в ее отношении к другой своей противоположности. Только постепенно человек научился мыслить обе антитезы раздельно, и слова приобрели однозначный смысл. Абель приводит по этому вопросу мнение Тойблера из его работы «Опыт системы этимологии», которое интересно здесь воспроизвести: «Противоположности не возникают одна из другой, а одновременно и вместе из одного в самом себе полярного, основного значения, которое подобно электромагнитической сущности, только в этом раздвоении и имеет свое подлинное существование»².

Большой интерес представляет эволюция понятий, изменение их содержания, что находится в прямой связи с изменением и развитием общественных отношений и мировоззрения. Понятие «идеи», например, пережило на протяжении истории ряд метаморфоз. У Анаксагора, Демокрита и др. слово *idea* означает «образ, вид». У Платона оно приобретает значение предвечной формы или совершенного прообраза класса вещей, несовершенными копиями которого (прообраза) являются отдельные вещи этого же класса. У Плотина и Филона в эпоху падения античного мира «идея» становится первичной духовной сущностью, имеющей своим источником божественный дух.

Это значение термин «идея» сохранил в течение всех средних веков, т. е. вплоть до нового времени³.

У Локка «идея» означает простое представление. У Канта она уже является необходимым понятием разума, которому в реальном мире ничто не соответствует. У Гегеля «идея» есть абсолютная истина, единство понятия и его реальности. Разум, пишет Кант, сам создает себе объекты; поэтому каждое мыслящее существо имеет бога — идеальное существо, которое разум сам себе создает. Бог есть лишь чисто мысленная сущность, продукт человеческого разума, иначе говоря, чистейший вымысел, фикция. И если Кант все же утверждает, что такого рода идеи не являются пустыми, то только потому, что они имеют практическую (прибавим от себя, этическую — для господствующих классов) ценность. Но по суще-

¹ Например, в египетском языке *kh* означает «свет» и «тьма»; в лат. *altus* — «высокий» и «глубокий», *herus* — «господин» и «раб, подчиненный»; в англ. *down* — «низко» и «гора»; в арабском *azim* — «сила» и «слабость»; *kullum* — «часть» и «целое»; *magtavinum* — «господин» и «раб».

² С. А б е л, указ. соч., стр. 33.

³ См. R. E u s k e n, *Geschichte der philosophischen Terminologie*, Leipzig, 1879, стр. 199 и сл.

ству, чисто теоретически, как выявляет сам Кант, «идеи» суть не что иное как «*Dichtungen der Vernunft*», т. е. вымысел, фикция¹.

Г. Файгингер, философ «фикционализма», идя от Канта, считает в себе идеи, все отвлеченные и общие понятия фикциями, т. е. выдуманными, вымышленными, но имеющими практическую ценность². Атом, например, по мнению Файгингера, не реален, но в качестве фикции он имеет практическую ценность в области физики. То же самое относится и ко всем категориям мышления, являющимися, якобы, чистыми фикциями.

В тесной связи с эволюцией, сменой содержания понятий находится и происхождение терминов, их изменение, наполнение их другим содержанием в зависимости от изменения общественных отношений и логического состава научного мышления.

Первоначально слово *λέγω*, *λέγεῖν* означало «собирать вместе», «сосчитывать». Лат. *ratio* также имело значение счета, а потом уже разума. Постепенно термин *λόγος* приобретает значение речи. Это развитие понятия «логос» из более древнего значения «собирать», «сосчитывать» особенно заметно у Гомера, для которого *λέγεῖν* значит «сосчитывать слова»³. Слово *διалέγεσθαι*, от которого происходит слово *диалектика*, у Гомера означает сортировку, разборку некоего целого по противоположным признакам, на противоположные «пиды».

В отношении эволюции термина *λόγος* от *λέγεῖν* «сосчитывать» до значения речи надо еще подчеркнуть, что *λόγος* на какой-то промежуточной ступени означало не только «сказание», но и «мыслимая речь», а затем и «рассуждение». Отсюда уже не далек переход к употреблению термина в смысле логики. После Сократа, который считается мыслителем, открывшим отвлеченное логическое понятие, *λόγος* употребляется в значении «понятия». В результате ряда переворотов в общественных отношениях (на которых здесь останавливаться невозможно) *λόγος* (слово) в дальнейшем возводится в божество, как и само божество — в слово.

*

Многие упрочившиеся философские и научные термины весьма недавнего происхождения. Достаточно сказать, что термины, обозначающие логические противоположности — субъект и объект, введены в философию (после античности) только Дунс Скотом, причем в смысле, противоположном нынешнему пониманию: «объект» у него означал «субъект» (в нашем понимании), а под «субъектом» он понимал «объект». Так обстояло дело еще у Декарта и Спинозы. Существовать в представлении они обозначали словами *esse objectivum*; «существовать в действительности объективно» передавалось словами *esse subjectivum*, и только с первой половины XVIII в. термины «субъект» и «объект» поменялись местами и содержанием значения.

Историк логики Прантль указывает, что до XVIII века под субъективным понимали то, что относится к конкретным предметам мышления, т. е. к объектам, под объектами же понимали то, что относится к сфере представлений. Начиная с Лейбница, под субъектом стали понимать мыслящий дух (*Subjectum ou l'âme pensée*), и только Кант четко разграничил

¹ См. I. Kant, *Kritik der reinen Vernunft*, Bd. I, 9-e Aufl., Leipzig, 1906, стр. 512—540; см. также H. Vaihinger, *Die Philosophie des Als-ob*, 7—8 Aufl., Leipzig, 1922, стр. 709—710.

² H. Vaihinger, указ. соч. См. особенно главы: «Die abstrakten Begriffe als Fiktionen», «Die Allgemeinbegriffe als Fiktionen», стр. 383—412.

³ См. «Pauly's Real-Encyclopädie der classischen Altertumswissenschaft», Bd XIII, 1 (Halbbd., XXV). Stuttgart, 1926, стр. 1035.

смысле образцовости, совершенства, высшего качества. Так, у Геллия, Арнобия, отчасти у Плавта *classicus* противопоставлялся *proletarius*; у Геллия «классический» писатель противопоставлялся «пролетарскому» как малоценному уже в силу принадлежности писателя к низшему классу. Следовательно, *первоклассный писатель* означает «писатель, принадлежащий к аристократическому классу». Правда, уже в древности *classicus* употреблялся иногда в смысле «паразита», что очень характерно. Это определение естественно исходило от врагов господствующего класса. Только со времени Меланхтона (с 1519 г.) понятие «классический» приобрело современное значение «образцового, совершенного»¹. Меланхтон впервые употребил это выражение в новом понимании в задании Плу-тарха.

*

Особый интерес представляет история терминов «социализм» и «коммунизм». Слова *socialismo*, *socialista*, *socializzare* впервые встречаются у итальянского духовного лица Джиакомо Дживлиани в его произведении «L'antisocialismo confutato» (изданном в 1803 г. в Виченце)². Однако слово *socialismo* имеет здесь не тот смысл, какой мы ему придаем ныне. Слово — то же, но понятие другое. В 1831 г. швейцарский пастор А. Вине напечатал статью под названием: «Catholicisme et socialisme» и выпустил в 1846 г. в Женеве книгу «Du socialisme considéré dans son principe»³. У этого автора *socialisme* означает собственно католицизм в смысле нераздельно универсальной церкви.

Прежде чем могла сложиться подлинная наука социализма, необходимо было сделать ряд опытов — «эскизов», если позволено так выразиться. К этим «эскизам», или первоначальным опытам остростия социальной науки, относится система Фурье. Он ввел в употребление множество терминов, которые должны были выражать сущность его учения. Понятие, передаваемое словом, призвано выражать сущность явления. Слово непосредственно сливается, сращивается с понятием, отражая, таким образом, объективную истину. Целый мир идей заключается иногда в одном слове-понятии. Термины «социализм», «коммунизм» содержат в себе все богатство выражаемых ими идей. Для того чтобы слово отражало реальные события и отношения, чтобы оно приобрело подлинно научный характер, чтобы, скажем, слово *коммунизм* соответствовало научному определению содержания понятия «коммунизм», необходимо, чтобы само явление — в нашем случае социальная наука достигло определенной ступени развития. В ходе развития науки одни термины отпадают, другие закрепляются и становятся прочным достоянием науки. Так, введенный Фурье термин «цивилизация» (от лат. *civilis*) привился и стал прочным достоянием как науки, так и нашей культуры вообще. Но такие термины,

¹ См.: «Pauly's Real-Encyclopädie der classischen Altertumswissenschaft», Bd. III, 2 (Halbbd. VI), Stuttgart, 1899, стб. 2629—2649; K. E. George's, Ausführliches lateinisch-deutsches Handwörterbuch, Bd. I, Leipzig, 1879, стб. 1117; «Avli Gellii Noctium Atticarum Libri XX», Vierlingo, 1741: lib. XIX; VIII, 15; J. A. H. Murray. A new English dictionary on historical principles, vol. II, Oxford, 1893, стб. 466. Он пишет: «...but he who was in the highest was said emphatically to be of the class, «classicus»; см. также словарь Я. и В. Гриммов (J. Grimm and W. Grimm, Deutsches Wörterbuch, Bd. V, Leipzig, 1873, стб. 1005—1006), где само слово *klasse* выводится филологически из понятия трещины (*Spalt*) («расколоть пополам», «общество раскололось на классы»).

² См. C. Grünberg, Der Ursprung der Worte «Sozialismus» und «Sozialist», «Archiv für die Geschichte des Sozialismus und der Arbeiterbewegung», Bd. II, Leipzig, 1912, стр. 373.

³ Там же, стр. 374.

как «гарантизм», «социантизм», «гармонизм», «сериизм», «унитизм» и т. п., не привелись. Это объясняется тем, что объективные явления, которые должны были выражать, согласно учению Фурье, эти термины, не получили права гражданства, т. е. не удовлетворили развившуюся научную мысль.

Для того чтобы выразить содержание того явления, которое носит название «социализм» (выяснение содержания явления обычно предшествует точному научному наименованию), употреблялись разные слова, как, например, *association* (индивидуализму противопоставлялась «ассоциация» в духе Сен-Симона).

Термин «социалист» (от лат. *socialis, societas*) в современном значении впервые был введен оуэнистами в 1827 г. в статье, напечатанной в «Co-operative Magazine» в Лондоне. Отсюда соответствующее слово перекочевало во Францию. Первый, кто употребил его во Франции, был П. Леру. Это произошло только через шесть лет. В 1833 г. он поместил в своем «Энциклопедическом обозрении» статью под названием «De l'individualisme et du socialisme». В этой же статье была сделана первая попытка определения «социализма». Правда, слова *socialisme* и *socialisation* во французских периодических изданиях встречались уже в 1831 г., но они прошли незамеченными и никакого влияния на науку не оказали.

Таким образом, термин «социализм» введен французами (в указанной статье П. Леру). В английской печати этот термин впервые появился в 1837 г. в оуэновском «New Moral World». С этого времени термины «социализм», «социалист» и производные «социализация», «социалистический» и пр. стали общеупотребительными. В Германии термин «социалист» впервые был употреблен в 1840 г. публицистом Хуроа, а «социализм» — в 1842 г.

Термины «коммунист» и «коммунизм» (из лат. *communis, communitas*) также имеют свою историю. В той же статье английского журнала, в которой впервые было употреблено слово *socialist*, встречается слово *communist*. Раньше для выражения понятия «общественная собственность», «общность» и т. д. существовало множество слов, как, например: *community, commonolity, communouté*, а также производное от них *communautaire* и т. п.

Во Франции в 1840 г. Т. Дезами основал периодический орган под названием «Le Communautaire». Однако в первом же номере журнала напечатана была статья Э. Кабе под названием «Le démocrate devenu communiste, malgré lui». Надо сказать, что введен был термин «коммунист» участниками тайных революционных коммунистических организаций в 1840 г., а не теми или иными учеными. Это обстоятельство доказывает, что научная терминология развивается и подвергается тем или иным изменениям в связи с развитием соответствующего явления.

В том же 1840 г. Дезами со своими товарищами опубликовали памфлет под названием «Premier banquet communist le 1^{er} juillet 1840». Однако термин *communautaire* продолжал еще фигурировать наряду с термином *communiste* в течение двух или трех лет, после чего окончательно исчез¹.

Любопытно, что в Англию новую коммунистическую терминологию привез из Франции Дж. Бармби (Barmbi), командированный в июне 1840 г. Робертом Оуэном в Париж. Как раз к тому времени там были введены новые термины. В своих письмах для публикации в «New Moral World» Бармби употребляет вместо принятых ранее в Англии терминов *communitarianism* и *communitary—communism* и *communist*². После воз-

¹ См. А. Е. Вестор, The evolution of the socialist vocabulary, «Journal of the history of ideas», vol. IX, № 3, 1948, стр. 279—280.

² Там же, стр. 280.

вращения в Англию он разошелся с оуэнистами и стал работать с другими группами «коммунитарпанского» направления, что повлекло за собой введение им новых терминов, вроде *communitive*, *communiforium*, *communitization*. Однако новые термины *communism* и *communist*, как говорит Бестор, стали употребляться даже степенной «*Times*».

Что касается Германии, то с 1842 г. в употреблении находятся только слова, производные от слова *communist* (*communismus*, *communistisch*, *communisten*). В Америке были в употреблении слова *communistist* (вместо *communist*) и *communitism* вместо *communism*, но эти термины скоро исчезли из употребления. Слово *communism* впервые в Америке было употреблено в 1843 г. в журнале «*Perfectionist*» (в номере от 15 июля).

Термин «пролетариат» не нов; наоборот, он известен с древних времен. Но специфическое современное значение этого термина восходит только к тридцатым-сороковым годам XIX в. Оно идет из Франции, где слово *prolétarisme* впервые появилось в «*Journal des Débats*» в 1831 г., а слово *prolétariat* — в 1836 г.

Мы видим, что научная терминология тесно связана с теми явлениями (и их развитием), которые должны получить свое выражение в слове и понятии. Такие термины, как «социализм», «социалист» или «коммунизм» и «коммунист», не возникли сразу, а потребовали предварительно длительного развития общественных отношений и логического состава научного мышления. Окончательную научную формулировку получили эти понятия («социализм», «коммунизм», «пролетарий» и др.) в научном социализме Маркса — Энгельса, и с тех пор они настолько прочно вошли в научный обиход и даже в современный быт, что о каких-либо изменениях в этой области и речи не может быть. Объясняется это тем, что понятия научного социализма строго соответствуют объективному содержанию отражаемых и выражаемых ими явлений. Следует твердо помнить, что научный термин — не просто слово, а выражение сущности данного явления. Поэтому необходимо заботиться о кристальной ясности и определенности терминологии, поскольку она представляет собою сущность самих объективных явлений, сущность самой науки.

ИЗ ИСТОРИИ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

Н. С. ПОСПЕЛОВ

О ЛИНГВИСТИЧЕСКОМ НАСЛЕДСТВЕ С. КАРЦЕВСКОГО

7 ноября 1955 г. скончался в Женеве один из выдающихся представителей Женевского общества лингвистов С. Карцевский. 14-й выпуск «*Cahiers Ferdinand de Saussure*» (Genève, 1956) посвящен его памяти. В биографической заметке С. Стеллинг-Мишо сообщаются основные даты жизни Карцевского. Русский по происхождению и воспитанию, Сергей Осипович Карцевский родился в Тобольске 28 августа 1884 г. В молодости он преподавал в школе, сотрудничал в различных изданиях; за свою политическую деятельность Карцевский был арестован в Москве в 1906 г. и, отбыв тюремное заключение, поселился в Швейцарии. В Женевском университете он становится ревностным учеником Ф. де Соссюра и получает основательную лингвистическую подготовку под руководством Ш. Балли и А. Сэшеэ. В марте 1917 г. С. Карцевский возвратился в Москву. Здесь на заседаниях Диалектологической комиссии Академии наук он выступал горячим сторонником лингвистических идей Соссюра. С 1920 г. Карцевский эмигрирует за границу. Он работает в качестве университетского преподавателя сначала в Страсбурге, а затем в Праге, где ведет большую педагогическую работу и редактирует журнал «Русская школа за рубежом». Еще в Москве Карцевский начал работу над книгой «Система русского глагола», впоследствии представленной им в Женевский университет в качестве докторской диссертации. Во вводной главе этой книги Карцевский дает обобщенное изложение своей точки зрения на язык как семиологическую систему и с позиций женевской школы раскрывает основные приемы лингвистического анализа, применяемые им к изучению словообразовательной и грамматической структуры русского глагола¹. В заключительном разделе вводной главы намечен план исследования внутренней (главы II—VI) и внешней (главы VII—IX) синтагматики глагола. Общее понимание внутреннего соотношения в структуре языка лексикологического, синтаксического, морфологического и фонологического планов отчетливо сформулировано Карцевским в его выступлении на 2-м Международном конгрессе лингвистов по вопросу об отношениях фонологических систем к общей структуре языка². В опубликованной впервые в 14-м выпуске «*Cahiers Ferdinand de Saussure*» статье «Понятие процесса в русском языке» (1937 г.) Карцевский спустя десять лет после напечатания своей книги возвращается с более общей точки зрения и к анализу семантической струк-

¹ S. K a r c e v s k i, *Système du verbe russe. Essai de linguistique synchronique*, Prague, 1927, стр. 13—39.

² «Actes du Deuxième Congrès international de linguistes, Genève. 25—29 août 1931», Paris, 1933, стр. 114—116.

туры глагола, выясняя, как русскими глаголами выражается действие, перемещение или положение в пространстве, становление и состояние, какие существуют типы устранения субъекта процесса при безличном употреблении глаголов¹.

В 1925 г. Карцевский сделал опыт кратко изложения основ грамматики русского языка², положенный им позже в основу «Повторительного курса русского языка», представляющего, по словам автора, «элементарное введение в науку о языке, построенное исключительно на явлениях родного языка»³. В своем учебном курсе Карцевский ставит себе задачей на материале русского языка дать в наиболее простой и лаконичной форме синхронное описание «логико-психологического механизма языка»⁴. Эту задачу Карцевский блестяще разрешил, сочетав в едином учебнике освещение основ общего языкознания (с точки зрения определенной лингвистической школы) и предельно сжатое изложение системы русского языка. В дальнейшем перед Карцевским встала более широкая и сложная задача — «изложить функционирование языковой системы более или менее исчерпывающим образом»⁵ в задуманной им «Структуральной грамматике русского языка»⁶.

Отдельными фрагментами этого незавершенного исследования являются работы по общим вопросам морфологии, структуре отдельных частей речи, синтаксису простого и сложного предложения.

Примечательно, что в своих набросках отдельных глав «Структуральной грамматики русского языка» Карцевский выходит за границы статического описания фактов и выдвигает вопрос о продуктивности грамматических категорий, динамике их внутреннего развития. Так, раскрывая соотношения между продуктивными классами глаголов и непродуктивными их группами, Карцевский не видит между ними непереходимой пропасти и, противопоставляя статической морфеме активный формант, утверждает, что «живой морфологический „класс“ является сферой действия очага излучения (*foyer de rayonnement*) энергии „продуктивности“, не одинаковой у всех формантов этого класса, и что язык в целом «представляет собой систему центров семиологического излучения»⁷. Изучая словообразовательную систему имен существительных, он стремится «выделить ж и в ы е морфологические элементы существительного, то, что сводится к изучению именного словообразования, как оно функционирует в настоящее время»⁸. В анализе категории наречия пристальное внимание Карцевского направлено на самый процесс образования наречий: он отмечает разные формы и этапы адвербиализации, указывает на адвербиальное перерождение имен существительных при сочетании их с предлогами, вскрывает значение полунаречия в случаях *звост трубы*, *думал всю дорогу*⁹ и т. п.

В анализе структуры сложной фразы Карцевский выдвигает гипотезу о генетической связи сочинительных союзов с восклицательными между-

¹ S. K a r c e v s k i, L'idée du procès dans la langue russe, «Cahiers Ferdinand de Saussure» (CFS), 14, Genève, 1956.

² С. О. К а р ц е в с к и й, Русский язык, ч. 1 — Грамматика, Прага, [1925].

³ Ег о ж е, Повторительный курс русского языка, М., 1928, стр. 5.

⁴ Там же, стр. 7.

⁵ Там же, примеч. 1.

⁶ С. Карцевский упоминает об этом в статье «Sur la structure du substantif russe» (сб. «Charisteria Gvilclimo Mathesio quinquagenario», Pragae, 1932, стр. 65).

⁷ S. K a r c e v s k i, Autor d'un problème de morphologie, «Annales Academiae scientiarum Fennicae», Ser. B, t. XXVII, Helsinki, 1932, стр. 85, 91.

⁸ Ег о ж е, Sur la structure du substantif russe, стр. 65.

⁹ Ег о ж е, Sur la nature de l'adverbe, «Travaux du Cercle linguistique de Prague» (TCLP), 6, Prague, 1936; ср. J. K u r y ł o w i c z, Le problème du classement des cas, «Biul. Polsk. t-wa językoznawczego», zes. IX, Kraków, 1949, стр. 24.

мстиями¹, а подчинительных союзов с вопросительными местоимениями². Не свидетельствует ли это о том, что структурализм Карцевского явно не укладывался в тесные рамки синхронного анализа лингвистических явлений?

Несмотря на дух внутренней борьбы против статической лингвистики, пронизывающий отдельные грамматические этюды Карцевского, его общая концепция частей речи устанавливается им в рамках синхронного анализа в строгом соответствии с проводимым им разграничением четырех семиологических планов языка. В своем сообщении на эту тему на заседании Женевского общества лингвистов (1941 г.) Карцевский в основу такого разграничения поставил четыре возможных положения говорящего субъекта по отношению к «вещам»: 1) он их называет, 2) он их исчисляет, 3) он указывает на них, 4) он предоставляет им самим сигнализировать свое наличие³. В структуру первого семиологического плана входят существительное, прилагательное, глагол, наречие и предлог с его границей (*cas-limite*) — префиксом; во втором семиологическом плане располагаются числительные, в третьем — местоимения, в четвертом — междометия. При этом третий план выступает поставщиком (*fourgnit*) подчинительных союзов, а четвертый — союзов сочинительных. Нет ничего удивительного в том, что эта схема при обсуждении сообщения Карцевского в Женеве не встретила принципиальных возражений ни со стороны Балли, ни со стороны Сэшеэ, принявших участие в ее обсуждении.

В более отдаленной перспективе Карцевский думал о создании большого синтетического труда — цельного изложения лингвистической концепции, опирающейся на асимметрическое скрещение омонимии и синонимии в семантической структуре любого лингвистического знака. Этот замысел остался неосуществленным.

Как свидетельствует в своей статье-некрологе Р. Якобсон, «каждая из опубликованных Карцевским работ рассматривалась им только как подготовительный этап» для большого обобщающего труда, который так и не был создан. Но, как правильно замечает Якобсон, «Карцевский оставил прекрасные заготовки для этой *summa linguistica*». И в составе этих «вполне зрелых фрагментов фундаментальной книги о синтезе, которая вынашивалась в голове Карцевского, но никогда не была им закончена»⁴, первое место занимает его замечательная статья «Об асимметрическом дуализме лингвистического знака». В этой статье Карцевский, творчески развивая идеи Ф. де Соссюра, исходит из общего положения о языке как «семиологическом механизме», «колеблющемся между двумя полюсами, которые можно охарактеризовать как общее и индивидуальное, абстрактное и конкретное»⁵. При этом, по мысли Карцевского, каждый лингвистический знак в конкретной ситуации, в которой соприсутствуют и старое, уже известное, и еще неизвестное новое, необходимо оказывается одновременно и устойчивым, стабильным, и подвижным, изменчивым. «Общее и индивидуальное во всякой семиологической системе даны не как сущности (*entités*) но, поскольку речь идет о двух координатах или о двух сериях семиологических значимостей (*valeurs*), одна из этих координат служит для различения дру-

¹ S. Karcevski, Introduction à l'étude de l'interjection, CFS, 1, 1941, стр. 72—75; е го ж е, Deux propositions dans une seule phrase, CFS, стр. 37 и сл.

² Е го ж е, Sur la parataxe et la syntaxe en russe, CFS, 7, 1948, стр. 37—38.

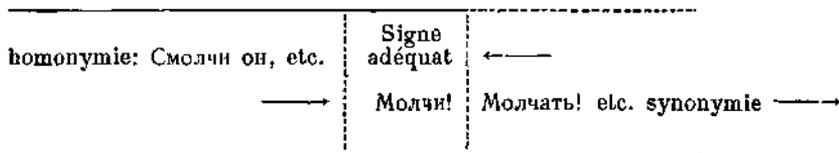
³ Е го ж е, Les quatre plans sémiologiques du langage [communication], CFS, 1, стр. 14.

⁴ См. R. Jakobson, Serge Karcevski, CFS, 14, стр. 9, 11.

⁵ S. Karcevski, Du dualisme asymétrique du signe linguistique, там же, стр. 18.

гой»¹. Ссылаясь на свое «Введение» к «Системе русского глагола», Карцевский подчеркивает, что различительный характер лингвистического знака не может быть обусловлен простым противопоставлением, а требует одновременного установления и сходства, и различия. На простых примерах Карцевский иллюстрирует, как один и тот же знак, например морфема *a* в разных сериях (*стол, столы, столу...*, *паруса, парусов...*, *жена, жены...* и т. д.), может выражать разные значения, и, наоборот, одно и то же значение может быть представлено разными знаками (например, значение множественного числа: *столы, паруса, крестьяне*). В понятийном аспекте языка в первом случае мы имеем дело с омонимией, во втором — с синонимией. Но так как каждый лингвистический знак принадлежит одновременно и к синонимическому, и к омонимическому ряду (ср., например, с одной стороны, *столы, паруса*, а с другой — *столы, жены*), то значит, что «каждый лингвистический знак потенциально является и омонимом и синонимом одновременно»². Таким образом, омонимия (в понимании Карцевского, т. е. самая возможность омонимизации) и синонимия (т. е. наличие в языке случаев полного совпадения по значению у разных знаков) образуют две «соотнесенные координаты»³. В двойственной семантической структуре лингвистического знака означающее, т. е. звуковая форма (*phonique*), и означаемое, т. е. функция, по образному выражению Карцевского, непрерывно скользят «по склону реальности» (*sur la «pente de la réalité»*). «Каждое из них выходит за границы («*débordé*»), определенные ему его партнером: означающее стремится иметь другие функции, чем его собственная, а означаемое ищет способов быть выраженным другими средствами, чем его знак. Они асимметричны; спаренные друг с другом (*accouplés*), они находятся в состоянии неустойчивого равновесия»⁴.

В статье «Об асимметричном дуализме лингвистического знака» Карцевский, в сущности, изнутри взрывает концепцию статической лингвистики женевакской школы. Но он сделал только первый шаг в этом направлении, вскрыв в самом единстве означающего и означаемого глубокий внутренний конфликт. Наличие такого конфликта хорошо иллюстрируется им самим следующей графической схемой, демонстрирующей разрыв между омонимией и синонимией в структуре лингвистического знака:



Раскрыть, как именно осуществляется принцип асимметрии в структуре лингвистических знаков различных семиологических планов, Кар-

¹ Там же, стр. 20. Более просто и отчетливо эта мысль сформулирована Карцевским в одной из последующих работ: «всякий живой лингвистический знак характеризуется... асимметричным дуализмом своей структуры, так как он не что иное как скрещенные отношения общего и частного» (S. K a r c e v s k i j, *Sur la phonologie de la phrase*, TCLP, 4, 1931, стр. 225).

² S. K a r c e v s k i j, *Du dualisme asymétrique...*, стр. 21. Ср. формулировку этого основного тезиса Карцевского во вводной главе его книги о системе русского глагола: «Транспозиция и синонимия — две стороны одного и того же явления». «Каждое значение (*signification*)... потенциально является и синонимом и „омонимом“ одновременно» («*Système du verbe russe*», стр. 31).

³ Ср. утверждение Е. Куриловича о существовании внутренней связи «между многозначностью (полисемией) слова и его синонимами» (Е. Р. К у р и л о в и ч, *Заметки о значении слова*, ВЯ, 1955, № 3, стр. 79).

⁴ S. K a r c e v s k i j, *Du dualisme asymétrique...*, стр. 24.

цевскому в этой статье не удалось. Но выставленное им положение стало для него, если употребить термин Станиславского, той «сверхзадачей», которая «предносилась» ему во всех его дальнейших опытах проникновения во внутреннюю структуру синтагмы, фразы, сложного предложения.

В учении о синтагме Карцевский исходил из того ее понимания, которое давалось этому термину в университетском курсе Балли. Синтагма для него — «всякое парное сочетание, члены которого соотносятся как определяющее (T') и определяемое (T)»¹. Синтагмы становятся предикативными, «когда отношения между словами устанавливаются в них вмешательством говорящего лица»; «становясь функцией говорящего лица, T приобретает значение лица, а T' — значения наклонения и времени»². Однако в дальнейшем в понимании Карцевским предикативной синтагмы звучат новые ноты — ноты философского волюнтаризма, глубоко чуждые идеям статической лингвистики. Возражая Шахматову и ссылаясь на Риккерта и Ерузалема, Карцевский утверждает, что «предикативная „расчлененность“ есть результат некоего ослабленного волевого вмешательства лица говорящего в установление отношений между представленными. Отражением этого волевого вмешательства, этого присутствия лица говорящего в предикативной конструкции, является то, что в речи сказуемое всегда выражает отношение к лицу». Это особенно резко выявляется в «побудительной» коммуникации, когда, например, в предложении вроде *Уходи!* «лицо говорящее так сильно „вливается“ в речь, что трудно говорить о наличии в *Уходи!* подлежащего»³. Возражая против признания Пешковским предиката и глагола синонимами, Карцевский отрицает «предикативность» как метафизическое понятие (он сравнивает такую предикативность с мольеровской «*vis dormitiva*»); но, настаивая на том, что «любая синтагма может стать функцией лица говорящего», он сводит значение наклонения в определяемом члене, предикативной синтагмы к выражению «отношения к волевому акту» а значение времени — к выражению отношения «к моменту этого акта»⁴.

Эти критические высказывания Карцевского свидетельствуют о его отходе от позиций Женевской школы, так как при волюнтаристическом понимании существа «предикативности» предикативные отношения явно выходят за границы синтагматических отношений⁵, как это прекрасно демонстрируется Карцевским в его анализе императивного *Уходи!* «Предикативность» становится брешью, посредством которой взламывается цельность традиционного «женевского» учения о синтагматике⁶. Примечательно, однако, что самое соотношение между атрибутивной и предикативной синтагмой, складывавшееся у Карцевского под воздействием субъективно-идеалистической немецкой философии, легко может быть истол-

¹ Общая теория синтагматики, разработанная Карцевским во введении к книге «*Système du verbe russe*», была систематически применена им к фактам русского языка в «Повторительном курсе русского языка».

² С. К а р ц е в с к и й, *Système du verbe russe*, стр. 14. Ср. «Повторительный курс русского языка», стр. 29—30.

³ С. Карцевский [реп. на кн.:] «А. А. Шахматов. Синтаксис русского языка. Вып. первый. Учение о предложениях и о словосочетаниях, Л., 1925», «*Slavia*», год. VI, 1, 1927, стр. 149—150.

⁴ С. Карцевский, «Еще к вопросу об учебниках А. М. Пешковского, «Родной язык и лит-ра в трудовой школе», 1928, № 1, стр. 36.

⁵ Ср. примирительную формулировку пражцев в «Тезисах пражского лингвистического кружка»: «Основное синтагматическое действие, создающее вместе с тем и предложение, есть предикация» («*Thèses*», TCLP, 1, 1929, стр. 13).

⁶ Общая оценка «субъективно-идеалистического» понимания предикативности у Карцевского на фоне общего учения о синтагме дана в статье В. В. Виноградова «Понятие синтагмы в синтаксисе русского языка» (сб. «Вопросы синтаксиса современного русского языка», М., 1950, стр. 191—192).

ковано в духе схемы асимметрического дуализма лингвистического знака. Глубокий разрыв между синтагмой обычного типа и предикативной синтагмой может быть сведен к некоторому единству «драматического конфликта», если мы интерпретируем предикативную синтагму (т. е. предложение) как синтаксический «омоним» (в смысле Карцевского) по отношению к атрибутивной синтагме; с другой стороны, предикативная связь как определенное синтаксическое значение может быть выражена различными структурными средствами (например: *Книга интересна, Книга интересная, Книга интересуется меня, Книга представляет интерес* и т. п.), т. е. разными синонимами.

Предикативная синтагма, в понимании Карцевского, выпадает из синтагматической цепи, так как ее опорный компонент (T), приобретая значение лица, становится абсолютным определяемым, которое «начинает и поддерживает синтаксическую цепь»¹. Таким образом, предикативная синтагма в самой своей внутренней структуре перестает быть синтагмой и становится предложением. И когда Карцевский утверждает, что «предикативным синтагмам принадлежит главная роль в языке, потому что подобные синтагмы выражают законченную мысль и готовы в любой момент служить фразой»², он, следуя принципу асимметрии лингвистического знака, транспонирует синтагму в ранг предложения, т. е. вкладывает в понятие синтагмы новое синтаксическое значение. Только в силу такой транспозиции возникает новый ряд синонимов предикативной синтагмы в форме предложений (например, безличных предложений), не расчленимых на определяющее и определяемое: ведь, по формулировке самого Карцевского, безличное предложение — это предикативная структура, из которой T исключено, а член, соответствующий T' , ясно указывает на невозможность отнести его к T абсолютному»³.

Между предложением и фразой, как их разграничивает Карцевский, также вскрывается соотношение асимметрии. Фраза — антипод предложения, и в то же время нет ничего более близкого к предложению, чем фраза. Приведем некоторые формулировки самого Карцевского. С одной стороны, «фраза — актуализированная единица сообщения. Она не имеет собственно грамматической структуры. Но она имеет свою звуковую структуру, которая заключается в ее интонации. Именно интонация образует фразу»⁴. В отличие от фразы, «предложение — это определенная грамматическая структура, и нельзя предвидеть, в каком типе фразы воплотится данное предложение. И если фраза чаще всего имеет структуру предложения, она может равным образом и не иметь этой структуры: *Вот, Да, Вон!* и т. д.»⁵. И все же «в определенном смысле предложение сближается с фразой. Его образование требует вмешательства говорящего лица, что предполагает диалог. Предложение, чтобы быть реализованным, должно получить интонацию фразы»⁶.

Наиболее отчетливо понятия предложения и фразы разграничиваются в последней теоретической работе Карцевского — в его статье «Sur la parataxe et la syntaxe en russe». Вот его формулировка: «Предложение — определенная грамматическая структура, которая характеризуется присутствием предиката. Этот последний оказывается результатом вмешательства говорящего лица в синтагмати-

¹ S. K a r c e v s k i, Phrase et proposition, «Mélanges de linguistique et de philologie offerts à Jacq. van Ginneken à l'occasion du soixantième anniversaire de sa naissance», Paris, 1937, стр. 62.

² С. О. Карцевский, Повторительный курс русского языка, стр. 29.

³ S. K a r c e v s k i j, Sur la phonologie., стр. 189.

⁴ Там же, стр. 190.

⁵ S. K a r c e v s k i, Phrase et proposition, стр. 62.

⁶ Там же, стр. 62—63.

ческое сцепление, отчего происходит коренное изменение отношений определяемого и определяющего. Это изменение состоит в появлении значений лица, наклонения и времени¹. «Фраза — это функция диалога. Это единица обмена (l'unité d'échange) между собеседниками. Как и всякий лингвистический факт, она имеет два аспекта. В понятийном плане это единица коммуникации; в плане звуковом это единица, часто очень сложная, и нтонации». Однако и здесь сопоставление предложения и фразы Карцевский заканчивает указанием на то, что «благодаря своей предикативной природе, иначе говоря, благодаря намеку на присутствие говорящего лица, предложение особенно способно служить фразой в очень разных ситуациях»².

Из формулировок Карцевского совершенно очевидно, что фразу нельзя смешивать, отождествлять с предложением, потому что она — явление иного порядка³. И действительно, фраза асимметрична предложению, хотя и скрещена с предложением в единство одного лингвистического знака, который одновременно выступает и как фраза, и как предложение. Ведь, с одной стороны, различные по своему грамматическому оформлению предложения могут быть выражением одной и той же фразы, иметь одну и ту же интонацию (например, *Молчи!*, *Молчать!*, *Молчание!* и т. п.). С другой стороны, одно и то же по своему грамматическому оформлению, по своей структуре предложение может конструировать разные фразы, различающиеся модальностью и экспрессией (например: *Он — здесь. О! — здесь! Он — здесь?*). В первом случае перед нами синонимическая серия различным образом оформленных предложений, объединяемых императивной интонацией; во втором случае — серия фраз-омонимов, возникающих на базе единой грамматической формы. Члены первой серии взаимозамещают друг друга, члены второй — резко отталкиваются друг от друга.

В работе Карцевского «О фонологии фразы» сделан опыт систематического описания структурного многообразия интонаций русской фразы. Критическая оценка этого опыта в целом выходит за рамки настоящей статьи и требует специального анализа. Мы остановимся только на некоторых положениях этой работы, имеющих принципиальное значение для понимания тех различий, которые возникают в структуре фразы как лингвистического знака. Фраза, по Карцевскому, относится к лексико-логическому плану языка, который «известным образом „накладывается“ на все другие планы языка и все их „вмещает“ в себя» („emboîte“)⁴. Фраза рождается в процессе интеграции элементов, возникающих в результате предшествующих морфологических и синтаксических дифференциаций. По характеру отношения между членами фразы различаются четыре структурных типа интонации: 1) интонация симметрии — при раздвоении фразы, когда вторая ее часть является отражением первой в плане противопоставления⁵, например: *Пройдет дождь || пойдем гулять*; 2) интонация тождественности — при перечислении, когда «все члены серии в точности воспроизводят интонацию первого члена»⁶, например: *Мелькают мимо | б́удки | ба́бы | ма́льчишки | ла́вки | фона́ри | дво́рь | сади́ | монасты́ри. . .*; 3) интонация градации, когда в части восходящей смысловые

¹ S. Karcevskij, Sur la parataxe., стр. 33.

² Там же, стр. 34.

³ О несправочности механического противопоставления фразы и предложения см. В. В. Виноградов, Основные вопросы синтаксиса предложения, сб. «Вопросы грамматического строя», М., 1955, стр. 408—412.

⁴ S. Karcevskij, Sur la phonologie., стр. 189—190. Карцевский пользуется здесь термином, предложенным Сепез (A. Sechehaye, Programme et méthode de la linguistique théorique, Paris—Leipzig—Genève, 1908).

⁵ Там же, стр. 209—210.

⁶ Там же, стр. 215.

единицы «не являются ни контрастирующими, ни тождественными, но аналогичными»¹, например: *Я не понимаю | как вы | с вашей добротой | можете так поступать || и еще хвалить ся этим*; 4) интонация асимметрии, когда «две смысловые единицы оказываются смежными, причем первая может быть выделена за счет другой, отнесенной на второй план»². Это — интонация вставки, вводности, например: *Стоило только захотеть || казлось мне тогда || чтобы все пошло по-иному*. Такая интонация «нападает на нас, что то, что ей предшествует, более важно, чем та смысловая единица, которую она сама передает». Вот почему, по мнению Карцевского, «та пара, вторым членом которой она является, заставляет думать о чем-то асимметричном»³. Таким образом, и в области фразовых интонаций Карцевский обнаруживает наличие асимметрии. И для него это не случайно, потому что в сфере синтагматики «аналогичным вводности оказывается примыкание»⁴. Следовательно, единицы интонации также включаются в состав живых лингвистических знаков, образующихся путем «скрещивания линии синонимической с линией омонимической»⁵. Однако совершенно очевидно, что интонация вводности вовсе не является центральной или основной единицей интонации, поэтому остается неясным, каким образом в качестве «живого лингвистического знака» выступает явление побочное и, по существу, вторичное.

Вопрос о соотношении между предложением и фразой привел Карцевского к проблеме структуры «сложной фразы», выяснению типов сложной фразы на основе разграничения сочинения, подчинения и бессоюзных паратактических конструкций. Во втором разделе статьи «Понятие процесса в русском языке»⁶ мы находим опыт разграничения двух типов сложной фразы. В одних случаях, по мнению Карцевского, соединение двух частей фразы опирается на их последовательность. В этом типе *A* интересует нас только как условие появления *B*, и акцентом подчеркивается вторая часть фразы: *Конь бежит — земля дрожит*. Но так как вторая часть выводится из первой, отношения между ними оказываются двусторонними — по формуле $A \rightleftharpoons B$. В других случаях связи двух высказываний в одной фразе *A* и *B* сосуществуют, сопологаются, причем *B* выступает только как спутник («соплагно») *A*, его характеризующий, и внимание сосредоточивается на первой части, на которую и падает акцент: *Стоит избушка — плетнем огорожена*. В таких случаях отношение между обеими частями фразы одностороннее и *B* только присоединяется к *A* по формуле $A \leftarrow B$. Впоследствии эти соображения о разных типах построения сложной фразы находят более полное и широкое развитие.

Вопрос о структуре сложной фразы очень интересовал Карцевского с начала 40-х годов; выступая в Копенгагенском кружке лингвистов в мае 1940 г. с докладом на тему «Два предложения в одной фразе», он сообщил о своем намерении посвятить этому вопросу отдельную монографию⁷. Напечатанный в CFS текст с тем же заглавием является наиболее обстоятельным изложением названного доклада⁸. Сопоставление этого текста с более поздней статьей «Sur la parataxe et la syntaxe en russe»⁹ дает воз-

¹ Там же, стр. 213.

² Там же, стр. 217.

³ Там же, стр. 218.

⁴ Там же, стр. 222.

⁵ Там же, стр. 226.

⁶ См. CFS, 14, стр. 33—35. Этот раздел не имеет органической связи с основной частью статьи, посвященной анализу различных аспектов процесса, выражаемого русским глаголом.

⁷ См. CFS, 1, стр. 9.

⁸ S. K a r c e v s k i, Deux propositions..., стр. 36—52.

⁹ CFS, 7, стр. 33—38.

возможность более цельно представить, как дифференцировал Карцевский сложное предложение по его структурным признакам. Прежде всего он выделяет в особую группу паратактические структуры сложной фразы, основанные на факте простого следования частей. Карцевский различает три разновидности паратактических оборотов: 1) *Я вижу: конь бежит*. Отношения между двумя предложениями в составе этой сложной фразы можно представить в виде двух концентрических кругов, из которых внутренний соответствует второй части; 2) обороты с двусторонним соотношением частей, сопоставленных друг с другом как посылка и вывод из нее: *Конь бежит, земля дрожит* и обратно: *Земля дрожит — (это потому, что) конь бежит*; 3) случаи, когда вторая часть дополняет первую, присоединяясь к ней, например: *Я вхожу, мой брат меня ждет (уже)*. Здесь связь между частями односторонняя и заметно более слабая. Эта разновидность, очевидно, соответствует тому типу бессоюзной связи частей в сложной фразе, который был представлен в более ранней статье примером *Стоит избушка — плетнем огорожена* (см. выше). Таким образом, в основу разграничения бессоюзной сложной фразы Карцевский кладет тот или иной структурный признак соотношения ее частей. Вторая часть может или включаться в объем первой части, или обе части могут быть взаимосвязаны двусторонним соотношением, или вторая часть только примыкает, присоединяется к первой.

В отличие от бессоюзных, паратактических структур, в которых «отношение, соединяющее предложения, только мыслится, не будучи выраженным», в других типах сложных фраз это отношение тем или другим образом выражено. Среди сложных фраз, возводимых по установившейся традиции к подчинению, в которых отношение между частями выражено местоимениями указательными («серия *к*») или вопросительно-неопределенными («серия *л*»), Карцевский также разграничивает три разновидности, соответствующие трем формулам подчинения¹: 1) фразы, в которых за посылкой следует вывод и которыми выражается двусторонняя обратимая связь коррелятивных предложений: *Каков пол, таков и приход, Чем дальше в лес, тем больше дров* (формула k/t); 2) фразы с относительной второй частью, выражающие одностороннюю необратимую связь входящих в их состав предложений: *Я прочел (ту) книгу, которую (или что) вы мне принесли, Я не знал (о том), что он болен* (формула $(t)/k$); 3) фразы, тоже выражающие одностороннюю и необратимую связь предложений, причем вторая часть фразы, представляющая собою анафорическое предложение, аппозитивно примыкает к первой: *Я провел вечер в гостях, чего давно уже со мной не случалось* (формула $-/k$)².

В разграничении типов подчинительной связи, которое проводит здесь Карцевский, существенны указания: 1) на двустороннюю направленность более тесного соотношения частей в сложных фразах первой разновидности, 2) на факультативность указательного соответствия в сложных фразах второй разновидности и 3) на аппозитивный характер присоединения второй части в сложных фразах третьей разновидности при совершенной невозможности указательного соответствия (t) в первой части. Еще более примечательно то, что Карцевский не включает в свою схему сложных фраз, в которых соотношение частей выражено подчинительными союзами.

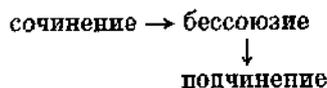
¹ S. K a r c e v s k i, Deux propositions..., стр. 37; ср. е г о же, Sur la parataxe..., стр. 36—38.

² Пользуюсь случаем, чтобы признать недостаточной ту оценку, которая дана мной схеме Карцевского в статье «О грамматической природе сложного предложения» (сб. «Вопросы синтаксиса современного русского языка», стр. 335—336) на основании материала статьи «Sur la parataxe et la syntaxe en russe», где схема вариаций подчинения изложена конспективно, без авторских комментариев.

Оговаривается только гибридный характер уступительных соотношений: они приближаются к сочинению, когда подчеркивается не взаимозависимость частей, а их противопоставление: «*Хотя он всюду обращался, однако (но, а) толку из этого не вышло*»¹. Что касается сочинительного соотношения внутри сложной фразы, то, основываясь на характеристике сочинительных союзов как средств связи, входящих к восклицаниям (в связи с чем они могут функционировать как внутри фразы, так и между двумя отдельными фразами, а также соединять акты предикации и отдельные слова), Карцевский приходит к выводу, что сочинительные отношения «не образуют системы, как это имеет место в подчинении, а составляют скорее открытую серию различений» (*série ouverte de discriminations*)².

Чрезвычайно интересны и требуют специального рассмотрения соображения Карцевского о внутренней связи структуры сложной фразы с формами диалога. Карцевский различает две формы диалога: 1) вопрос — ответ и 2) смена реплик — и возводит сочинительную связь ко второй форме диалога. Вот небольшой диалог, которым Карцевский иллюстрирует исконную функцию сочинительных союзов как «вводящих знаков» (*signes introducteurs*) при реплицировании: А. *Я пойду прогуляюсь.* — В. *И я с тобой.* — С. *А я останусь.* — Д. *Но к нам будут гости.* — А. *Да я ненадолго.* — Д. *Ну, ступай*³. Что касается подчинения, то Карцевский ставил вопрос о его родстве с вопросо-ответной формой диалога — диалогом «информации»⁴. Эта же вопросо-ответная форма диалога, по Карцевскому, является наряду с монологом той языковой почвой, на которой возникла синтаксическая связь подчинения посредством вопросительно-неопределенных и указательных местоимений.

Примечательны соображения Карцевского о соотношении между сочинением, подчинением и бессоюзной связью. Карцевский отрицает непосредственную соотносительность сочинения и подчинения, но настаивает на соотносительности подчинения и бессоюзия (*asyndète*), «поскольку первое может рассматриваться как выражение (*explication*) подразумеваемых (*implicites*) отношений, заложенных в бессоюзных структурах»⁵. По мысли Карцевского, *Вижу: собака бежит* и *Вижу, что собака бежит* — два разных способа выражения одного и того же содержания, которые поэтому должны рассматриваться как синтаксические синонимы. «Что же касается сочинения, то оно относится к тому же плану, что и бессоюзие, и с *и м у л ь т а н н о* по отношению к нему»⁶. Иными словами, между сочинением и бессоюзием устанавливается омонимическое соотношение. Поэтому, по мысли Карцевского, можно сказать, что «сочинение и бессоюзие соплагаются (*se juxtaposent*) на горизонтальной линии, тогда как бессоюзие и подчинение расположены по вертикали»⁷. Это соотношение можно было бы передать графически следующим образом:



Если довести мысль Карцевского до конца, то мы должны будем прийти к выводу, что между сочинением и подчинением имеет место соотношение асимметрии. Как показывает эта схема, сочинение и подчинение непосредственно «встречаются», но по принципу асимметрии восходят к бессою-

¹ S. K a r c e v s k i, Deux propositions..., стр. 39.

² Там же, стр. 38.

³ Там же, стр. 40.

⁴ S. K a r c e v s k i, Sur la parataxe..., стр. 37—38.

⁵ Е г о ж е. Deux propositions..., стр. 38.

⁶ Там же.

⁷ Там же, стр. 39.

зию как своему источнику, от которого они расходятся в перпендикулярно-различных направлениях. Таким образом, бессоюзие оказывается ареной столкновения асимметрически расходящихся синтаксических связей подчинения и сочинения. При этом подчинение и бессоюзие выступают как синонимически различные формы выражения одного и того же синтаксического значения, а сочинение и бессоюзие в рамках единого формального выражения оказываются носителями различных значений, в реализации которых определяющую роль имеет транспозиция в сочинительные союзы восклицаний как вводящих знаков реплицирования¹.

Лингвистическое наследство Карцевского не поражает ни обилием написанного им, ни разнообразием тематики. В списке трудов Карцевского (составленном для 14-го выпуска CFS Р. Якобсоном) значится всего 30 названий его отдельных напечатанных работ и 19 рецензий. Среди этих трудов — только одна вполне законченная монография. Во всех работах Карцевского общие идеи о языке раскрываются на материале современного русского языка, и все написанное им одушевлено великой любовью к русскому языку. Основной творческой идеей Карцевского была идея асимметрического дуализма лингвистического знака как скрещения омонимии и синонимии. Эта идея делала для него тесными рамки канонического сосюрианства и постоянно звала его к построению такой структуральной теории, которая, не ограничиваясь синхронным анализом, дала бы возможность вскрыть факторы развития в языке живых и продуктивных его категорий.

¹ См. S. Karcevski, Introduction à l'étude de l'interjection., стр. 57—75

А. М. СЕЛИЩЕВ

О ЯЗЫКЕ «РУССКОЙ ПРАВДЫ» В СВЯЗИ С ВОПРОСОМ
О ДРЕВНЕЙШЕМ ТИПЕ РУССКОГО ЛИТЕРАТУРНОГО
ЯЗЫКА¹

В основу языка древнерусской письменности был положен язык старославянских (древнеболгарских) рукописей. Язык древнерусской письменности не был вполне тождественным с языком старославянским: элементы русского языка проникали в той или иной мере в язык рукописей, выполнявшихся русскими писцами. Элементы русского языка не в одинаковой степени отражались в древнерусских произведениях; их проникновение в язык рукописей зависело от степени грамотности и начитанности писца, а также от того, была ли рукопись копией со старославянского оригинала или она представляла собою оригинальное произведение русского книжного человека: в списках со старославянских оригиналов элементы древнерусского языка отражались слабее, чем в оригинальных русских произведениях. Степень проникновения черт русского языка зависела и от содержания произведения, было ли оно оригинальным или представляло список со старославянской рукописи: в церковно-богослужебных текстах, в торжественных словах-проповедах элементы книжного, старославянского языка соблюдались строго русскими книжными людьми; в произведениях же, ближе стоявших к общественно-бытовой жизни, в летописях и в особенности в деловых документах более значительными были элементы бытовой, русской речи. Таковы общие положения об основных элементах языка древнерусской письменности.

Было высказано и иное мнение о давней основе языка древнерусской письменности. Так, А. А. Шахматов в письме к проф. Гетцу, автору обширного исследования о «Русской Правде», отмечая в языке памятника² «почти полное отсутствие церковно-славянизмов», поставил вопрос: «не служит ли это доказательством весьма ранней записи, когда школы еще не функционировали, когда только еще начиналась письменность... письменная передача закрепила готовый, обработанный устный текст: кодификация произошла в живой речи, а не на письме»³. Определенно высказались по этому вопросу Е. Ф. Карский и С. П. Обнорский — высказались в направлении, намеревном А. А. Шахматовым. «Писцы этого времени (времени фиксирования установленных «Русской Правды», при Ярославе I, в начале XI в. — А. С.) еще не успели выработать строго стилизованного на п.-славянский лад литературного языка... вследствие чего в нашем светском памятнике так много чисто русских особенностей»⁴.

С. П. Обнорский пришел к следующим выводам на основании произведенного им анализа языка «Русской Правды»: ранее формирования древнерусского литературного языка на основе старославянского языка на Руси существовал более древний

¹ Публикуемая впервые статья покойного проф. А. М. Селищева «О языке „Русской Правды“ в связи с вопросом о древнейшем типе русского литературного языка» написана в 1941 г. В ней содержится критика положений акад. С. П. Обнорского по вопросу о происхождении древнерусского литературного языка, высказанных им в статье «Русская Правда» как памятник русского литературного языка» (ИАН СССР, Серия VII, 1934, № 10). Следует отметить, что фундаментальное исследование С. П. Обнорского по данному вопросу — «Очерки по истории русского литературного языка старшего периода» (М. — Л., 1946) — появилось уже после смерти А. М. Селищева. Рукопись предлагаемой статьи А. М. Селищева, содержащая 37 листов в четверку, хранится в Кабинете русского языка Московского гос. ун-та В. И. Ленина. Рукопись подготовлена к печати по инициативе и при участии доц. Е. А. Васильевской; публикуется она без каких-либо изменений; все отступления от текста, за исключением необходимых исправлений технического характера, оговорены в примечаниях. — *Ред.*

² Слово «памятник» в рукописи отсутствует.

³ L. K. G o e t z, Das russische Recht, Bd. IV, Stuttgart, 1913, стр. 63—64.

⁴ Е. Ф. К а р с к и й, Русская Правда по древнейшему списку, Л., 1930, стр. 20.

⁵ В рукописи предлог «на» отсутствует.

тии литературного языка, отличавшийся простотой своей структуры и представлявший собою цельный элемент живой русской (севернорусской) речи; в этом языке не было заимствований южнославянских, но были заимствования более ранние, шедшие в севернорусскую среду с запада, из мира северо-германского (скандинавского). «Анализ языка „Русской Правды“ позволил облечь в плоть и кровь понятие этого литературного русского языка старшего периода. Его существенные черты — известная безыскусственность структуры, т. е. близость к разговорной стихии речи, понятная для языка, начинающего [! — А. С.] свое собственно литературное развитие, и полное отсутствие следов взаимодействия с болгарской, общее — болгарско-византийской культурой... Анализ языка „Русской Правды“ поражает многими особо целостно [— А. С.] выраженными явлениями, среди них замечательны факты с заимствованной лексикой... в тексте «Русской Правды» полнейшим образом отсутствует лексика византийского происхождения. Отсюда также следует сделать вывод, что эпоха сложения и место составления „Русской Правды“ принадлежали той поре и той территории культуривирования русского литературного языка, в которую и на которой не существовало базы для питания реальных связей русского и византийского миров. Это была, действительно, пора X в., это была территория северной, кривичской Руси, с старым культурным центром в ней — Новгородом. ...Здесь на века жили традициями иных культурных влияний — с севера и с запада, со стороны германского, по-видимому, и западнославянского мира. Недаром полному отсутствию в „Русской Правде“ византийских заимствований отвечает как раз относительно густой слой в числе заимствованных элементов именно слов германского происхождения»¹.

Мы не можем принять таких утверждений. Все данные, на которых основываются они, представляют иное значение.

Невозможно утверждать, что в языке «Русской Правды» нет книжных, южнославянских (старославянских) элементов. Они, хотя и в небольшом количестве, и имеют в языке этого памятника. Произвольно было бы приписывать эти южнославянские позднейшим переписчикам. К таким элементам относятся образования с префиксом *раз-*, в соответствии восточнославянскому *раз-*: *разков, разковник, разналчати, разграбление*. Заметим, что и в других русских актах, например в новгородских грамотах, написанных на обиходном русском языке того времени, писцы пользовались префиксом *раз-*. Так, в грамоте 1234 или 1235 г., представляющей почти во всех словах элементы русского языка, находится *раздати, раздала*.

Южнославянизмом является слово, типичное для названия штрафа — *вредд*, — термин, издавна употреблявшийся в таком значении у южных славян. Иным обусловлено появление в тексте «Русской Правды» слова *чрък*, в южнославянском звуковом виде, с *рѣ*, которое русские писцы передавали посредством *р*. Следует дать корни двум косям, что ина *чрък* называе. Здесь ясна тенденция избирать русское слово *чрък*: последнее было неподходящим по своему бытовому грубоватому значению (*брюхо, плу*). Такой специфический оттенок грубоватости отражается, например, в словах Ярослава всеволоды Буди: он начал укорять Болеслава *глагола: до те ти про б о д е н ѣ т р ѣ с к о ю ч р ѣ т к о ю т о л с т о ю* («Повесть временных лет», под 6526—1018 г.). Несомненно, в южнославянском звуковом виде назван день недели *срѣда: к ѣ с р ѣ д ѣ = к ѣ с р е д о у*. Итак, слова с южнославянскими *рѣ, р* (вместо *рѣ*) применялись у восточных славян в сфере юридических дел XI в.

Много примеров представляет «Русская Правда» в отношении формы род. падежа ед. числа прилагательных со старославянским окончанием *-го, -его-* и даже *-аго* в соответствии русским формам на *-ого, -его: до третѣяго създа, до третѣяго рѣка, кельчаго моста ктудого, кельчаго тноуа, перѣкаднаго, сколеднаго* и др. И в этом пункте параллель можно отметить в деловых новгородских актах на обиходном русском языке: в них изредка (реже, чем в «Русской Правде») употреблялись формы на *-аго: Ш тысяцкаго коудрата* (в грамоте 1234 [1235] г.). Южнославянизм отражается в окончании род. падежа ед. числа жен. рода на *-а (-я): съзъ всакоа създа*, в соответствии русской форме на *-ѣ*. Того же происхождения звуковой вид местоимения 1-го лица ед. числа *азъ (азъ кѣлю тѣ)* в соответствии русскому *я*.

В «Русской Правде» формы аориста употреблены в немногих случаях. С. П. Обнорский видит в них позднейшую вставку: в первоначальном тексте памятника формы аориста отсутствовали; их уже тогда не было в живой русской речи, а для передачи прошедшего действия употреблялся только перфект. Нельзя согласиться с таким объяснением, так как не принято во внимание зна ч е н и е форм аориста и перфекта. А значение их ясно указывает, что в тексте юридического кодекса и должны быть формы перфекта, а не аориста. Формы аориста указывают на определенный мишущий момент действия, обычно совершенного вида. Это момент действия в прошлом, мишущий ранее или во время или после другого действия. Поэтому в сообщении и, в рассказе о прошедшем определенном моменте действия применяются формы

¹ С. П. Обнорский, Русская Правда как памятник русского литературного языка, ИАН СССР, Серия VII — Отд-ние обществ. наук, 1934, № 10, стр. 774—775.

аориста. Они и применены в своем месте в «Русской Правде»: но прослакъ же . . . сыноу е него . . . Фладини суданини да голоуе; а ино вси ино че прослакъ соудати такоже и сыноу е него еустакни. Ясно видно, что тут сообщается о действиях, происшедших после смерти Ярослава, — о действиях, сопоставляемых с действиями, относимыми ко времени Ярослава и представляемыми как акты того времени, с значением перфекта. Значение перфекта — констатирующее. Оно не подчеркивает минувшего момента, не определяет процесса действия; но оно представляет в настоящем связь прошедшего действия с субъектом, указывает на результат действия, произведенного субъектом: то рикал жеи «ты являешься сказавшим это»; приишла жеи «ты — пришедший». Эти формы¹ представляют в настоящем результат произведенного действия: ино прослакъ [иста] соудати — представляется Ярослав, установивший суд по данному делу, а не сообщается о процессе установления «правды». В связи с таким значением перфекта он применяется обычно в разговоре, в особенности при 1-м и 2-м лице: «я являюсь таким-то», «ты являешься таким-то». Так и в «Русской Правде»: ни едѣкъ («не знаю») оу кого жеиъ кориналъ; ни едѣдалъ жеиъ ежъ («что») иста холога; проищялакъ жеи. Не процессе, а констатирование результата действия, констатирование связи в настоящем с действием, произведенным субъектом, представляют и судебные установления. Вот почему в «Русской Правде», в ее установлениях, употребляется перфект, а не аорист — ажи кто много рза ичла (если кто много процентов брал), то тепоу ни ичати и др.

Выразительную параллель представляет такой сербский памятник судебного содержания — Законник Стефана Душана (XIV в.). Там в определенных случаях представлены формы аориста, а² не перфекта. Именно в предисловии к Законнику — в предисловии, в котором с о б щ а е т с я о событиях, происходивших в правление Стефана и предшествовавших созыву собора для составления свода судебных установлений, применены последовательно формы аориста. Завистник-дьявол³ въздиже на искъ. з. царь ва вѣтъ е яман (1330) . . . ; ва индоше ва вѣдѣю . . . и др. В тексте же установлений Законника при констатировании явлений употреблены формы перфекта: и кто етъ чина човѣка приа не тоужде ичине, а ежъ не постѣлѣ етъ слѣга гелелара, етъ соуда ако да кангоу инастоу царюу да си не постѣри ва кто приаил чьего-либо человека из чужой области, а он убежал от своего господина, пусть не наказываться, если он представит царскую льготную грамоту». В сербском же языке до сих пор имеются формы аориста и перфекта с указанными выше значениями этих форм. Таким образом, думать о «привитии форм аориста» книжным путем в тексте Законника совсем невозможно. Излишне это предположению и для древнерусских памятников. Многие из них до XIV в. представляли определенное различие в применении форм аориста и перфекта.

С. П. Обнорский отмечает «поражающую цельность», «изумительное единство» в отношении элементов русского языка, отражающихся в «Русской Правде». Эту цельность он объясняет тем, что «Русская Правда» представляла тип древнерусского литературного языка раннего периода, предшествовавшего периоду усвоения языка старославянской (южнославянской) письменности в качестве литературного в среде восточных славян. Нет, «Русская Правда» не представляет указания на существование особо о типа древнерусского литературного языка, предшествовавшего литературному языку, формировавшемуся на основе старославянского. Близость к живой народной речи обусловлена была не тем, что то был начальный момент его письменного применения, а содержанием речи, сферой применения ее. Не только в XI в., но и позднее, не только у русских, но и у сербов, у которых язык старославянской письменности имел то же применение, что и у восточных славян, произведения делового содержания писались не «высоким» языком церковных книг и торжественных слов-проповедей, а простым деловым языком. Когда говорили о воровстве, о драке, о вырванной бороде, о разбитом в кровь лице, применялась и соответствующая речь — речь обыденной жизни. Например: ажи («если») кто кого оудати катого на. люду чиню. людо рогеиъ. людо тыкъсно («обухом»). то. аі. гратѣ («12 гривен»); ни лихуи люжи люжи. людо к ескѣ. людо Ѡ еси. людо по лицу оудати ни жидю оудати . . . ; кто коум давати ва рѣкъ («на проценты»). ни наставѣ («придачу, лихву») на люда. ни жито ва просовѣ («в лихву, на придачу при займе зерном») . . . Испещрять речь в таких случаях книжными элементами было бесцельно.

Не только стиль, но и точность содержания я деловой речи, документальная точность требовала применения соответствующих слов — слов русских определенного значения. Например:

головак в значении «убитый», головакниа — «убийца», головакниство — «убийство», «пена за убийство» нельзя было заменить словами в южнославянском звуковом

¹ В рукописи слово «формы» отсутствует.

² Запятая и «а» зачеркнуты в рукописи при исправлении стоящих рядом слов.

³ В рукописи: дьявол.

виде — глаголы и производными от этого слова: при такой замене утратилось бы специфическое значение русского термина;

хороша — «дом», «постройка при доме»: *ажь хоронъ оудеритъ своюды мужа, а оукъжить въ хоронъ, а гнъ иже не выдастъ, те. . .* И тут невозможно было употребить южнославянское соответствующее по звукам слово: *храмъ* относился к церкви, а не к жилищу; *прикладъны* — специальный термин в значении «бор при отъезде княжеского чиновника, вирника». И в данном случае неудобно было применить префикс¹ в южнославянском виде, *пр-*: книжным людям хорошо был известен южнославянский термин *прикладати* — «переводить с какого-нибудь языка на другой язык»;

солода, *сѣдѣръ солодоу*. Это бытовое слово уже не было связано с южнославянскими именами, представлявшими корень *слад-*: *сладъкъ, сладость*.

Во многих случаях содержание кодекса требовало применения таких русских слов, соответствий² которым в южнославянском виде писец не мог знать. Например: законница «прошлогоднее животное» (от наречия *лани, ланись*, южнослав. *лани* «в прошлом году»): за *корокоу*, *м. коучъ*, а за *третьскоу*, *а. коучъ*, а за *ланицкоу* *полъ грымъ*; *ролинны* — «относящийся к пашне, пашенный»: *межу селѣнкоу*, *Ѡ ролинны земан*; южнослав. *ралинъ (ралин)*.

Личные имена (*Володимиръ, Всеслодъ* и др.), как и имена городов (*Новгородъ*), также по их бытовому и конкретному применению обычно передавались в русской письменности XI—XII вв. в восточнославянском звуковом виде. Ср. языковые элементы в записи такого опытного книжного человека, каким был писец Остромирова евангелия дьякон Григорий. При церковнославянских формах *арѣарѣжашоу* «къ власти, съдрѣвѣсчашо» употреблены бытовые слова в русском звуковом виде по отношению к имени лица и города: *володимѣра, новгородѣ*. Ср. звуковой вид такого бытового слова — *переса* в Сборнике Святослава 1073 г. Как видно, даже в рукописях церковного и поучительного содержания бытовые слова передавались с элементами обиходной речи. Чем ближе содержание рукописи к обыденной жизни, чем деловитее и конкретнее оно, тем больше черт обиходной речи отражается в ней. Так было в языке грамот и судебных установлений. Параллельное явление представляет сербский Законник Стефана Душана. Он написан на языке с элементами обиходной сербской речи того времени (XIV в.) — написан в то время, как проповеди и другие произведения литературного значения писались «высоким» церковнославянским языком с некоторыми сербскими элементами. Подобно тому как нельзя на основании языка Законника Стефана Душана утверждать существование особого древнесербского литературного языка, предшествовавшего древнесербскому литературному языку, сформировавшемуся на основе старославянской (болгарской), так же неосознательна теория о существовании особого древнерусского литературного языка, который будто бы предшествовал появлению у восточных славян письменности на старославянской основе. Как у сербов, так и у русских старославянские элементы отражались в той или иной мере и в рукописях делового содержания. «Поразительной цельности» сербских или русских элементов эти рукописи никогда не представляли. Как в Законнике Стефана Душана, так и в «Русской Правде» книжные элементы отразились. В отношении «Русской Правды» некоторые из них отмечены были выше. Еще одна параллель в отношении языка деловых, в частности судебных документов, — параллель Запада. У поляков официальным языком судебных актов был язык латинский. Но в записях словопрепий³ тяжущихся и их конкретно-бытовых показаний применялась польская обиходная речь с местными диалектными чертами (судебные записки XIV—XVI вв.).

С. П. Обнорский считает язык «Русской Правды» примитивным, языком начальной стадии в его выполнении функций литературного назначения⁴. На этой ступени язык будто бы обращается за помощью к другому языку — к языку смежного языкового мира». В этой помощи нуждался будто бы и древнерусский литературный язык, отразившийся в «Русской Правде». На это указывают заимствованные слова — заимствованные не с юга, не из византийско-болгарского мира, не из его книжности и общественной жизни, а с северо-запада, из мира северогерманского. «...Вряд ли вообще может отправлять свои развивающиеся функции литературного назначения язык любой нации без того, чтобы в известной мере не связаться нитями взаимодействия с каким-либо иным смежным языковым миром. Таким был и русский литературный язык старшего периода, и у него были свои взаимодействия на языковой почве, только что — не с болгарско-византийским миром. Анализ языка «Русской Правды» поражает [! — А. С.] многими особо целостно выраженными явлениями; среди них замечательны факты с заимствованной лексикой». Это лексика не болгарская: та русская область, где культивировался русский литературный язык древнейшего типа, в то время,

¹ В рукописи: суффикс.

² В рукописи: соответствия.

³ В рукописи: словопрепния.

⁴ В рукописи: значения.

в X в., не имела связей ни с Византией, ни с Болгарией. Это была область Севера, с ее центром — с Новгородом. Так полагает С. П. Обнорский. Здесь, по его мнению, «...из века жили традициями иных культурных веший — с севера и с запада, со стороны германского, по-видимому, и западнославянского мира». «Густой слой» слов германского происхождения, находящихся в «Русской Правде», будто бы свидетельствует о связях с германским миром и о его воздействии на русский литературный язык древнейшего типа. В качестве показательных в этом отношении германских заимствований отмечены *вира*, *воллажия*, *гридь*, *мытникъ*, *мательникъ*, *тигунъ*, *тынь*; с некоторой оговоркой отнесено сюда и *орудие* в значении «дело», «занятие».

Нет: все эти слова совсем не относятся к выставленному выше тезису о неизбежности для литературного языка в начале его формирования заимствовать иноязычные слова. Сообщенные примеры из «Русской Правды» не выполняли «функции литературного назначения», а являлись совсем иначе. Они уже давно применились в житейской практике восточных славян.

мытникъ — «сборщик торговой пошлины»; слово русское, как *мытар* в старославянском языке, производное от *мыто* «пошлина», а это заимствовано было разными славянскими группами в торговые века сношений с германцами — с готами;

тынь — слово скандинавского происхождения, тоже давнее заимствование, сделанное разными славянскими группами.

Германское происхождение слова *орудие* «дело», «занятие» недостоверно: давний звуковой вид корня того слова имел носовой гласный \bar{e} : *rod-*; этот корень мог быть представлен в чередовании с носовым \bar{e} : *red-*. Кроме того, это слово находится тоже в разных славянских языках.

Как видно, появление указанных слов в связи¹ с потребностями литературной функции древнерусского языка не произошло. Вне этой функции появились и другие слова, отмеченные выше:

воллажия — «мера для соли»; слово из германской среды, появившееся у восточных славян при торговых сношениях их с германцами (ср. germ. *Calwet-*). Той же функции — функции торгового обмена, а не литературного применения — обязаны и заимствованные слова меры веса *скала*, *пуд*, *берковец* — слова, бывшие в восточнославянском обиходе в XII—XIII вв. и в более раннее время. Они не имели отношения к процессам формировавшегося литературного языка, как и наши *грамм. кило*, *тонна* и т. п.

вира — как специфический термин в практике кровавой мести являло от германской среды, от среды торговой и военно-разбойнической дружины, которая действовала на торговом пути «из варяг в греки» и в которой особенное значение принадлежало практике кровавой мести;

гридь — «княжий воин», *тигунъ* — «княжий чиновник», «казначей» — имена должностных лиц, имена северогерманского происхождения. Появление их в русской среде, и в Новгородской, и в Киевской областях, связано было с общественным значением скандинавских дружин в VIII—IX вв. на славянском востоке;

мательникъ — «судный пристав», как и *вириникъ* — «чиновник, собирающий виру» — слова, образованные русскими от имен *вира* и *матель*. Последнее слово не ясно по своему происхождению. Может быть, оно через фонетическую стадию с носовым гласным \bar{A} (*мАтель*: представляло собою передачу западноевропейского слова *mantel* «плащ», «одежда».

Тезис о неизбежности для древнерусского языка в начальной его стадии литературного формирования заимствовать иноязычную, северогерманскую лексику совершенно не обоснован в отношении «Русской Правды». Не соответствует историческим данным и утверждение, что Новгородской области в X в. были чужды интересы Юга, Византии. И в X в. существовали «реальные связи русского и византийского миров». Новгород не был изолирован от Киева в делах торговых и государственных. А по этим делам Русское государство X в. поддерживало оживленные связи с Византией. С другой стороны, не только Новгород, но и Киев в X—XI вв. был втянут в торговую деятельность с Западной Европой. В западноевропейских источниках этот город, считавшийся весьма богатым, соперничавшим с Константинополем, упоминается чаще, чем польские города, более близкие к Западной Европе. И в отношении государственных дел Киев был в связи с Западной Европой. Сношения с Германией происходили уже при князине Ольге. Ярослав I был в союзе с германскими императорами Генрихом II и Генрихом III. Он породнился с царствующими домами Англии, Франции, Германии, Польши, Скандинавии, Венгрии и Византии.

С. П. Обнорский принимает в расчет такое соображение в отношении языка «Русской Правды»: наличие в ней элементов, общих с западнославянскими языками, наличие «общих тенденций... от еще более старших эпох». Такой чертой указано окончание *k* в форме род. падежа ед. числа и им.-впн. падежа мн. числа имен на *-ja* (з.м.к) и впн. падежа мн. числа муж. рода с прежней основой на *-jo* (к.м.к).

¹ В рукописи слово «в связи» отсутствует.

С. П. Обнорский полагает, что выдержанное применение форм с таким окончанием характерно было для давнего типа древнерусского литературного языка. Позднее часто применялись формы с южнославянским окончанием *-а*, произносившимся по-русски, как *-а* ('а): *земля, князь*. Последовательность же применения окончаний *-ѣ* указывает будто бы на восточнославянский север, на Новгородский край, «где жили традиции былых связей с западнославянским миром».

И это несомненно. Окончание *-ѣ* не отражает ¹ живучесть давних традиций, поддержанных связью с западнославянским миром, а представляет факт давнего, доисторического языкового фонда. Ничего специфически севернорусского, новгородского формы на *-ѣ* не представляли. Такие формы были в языке и других восточнославянских групп — и в Киевской области, и в бассейне Оки. В «Русской Правде» формы с окончанием *-ѣ*, а не с *-а* (хотя имеется там и *кѣзѣ* *всѣмъ* *сѣдѣ*) обусловлены были деловым, бытовым содержанием текста. Дьякон Григорий, писец Остромира-Василья, писал в своей торжественной книге: *пастыръ своя оубоца галышеть и оубоца по намъ мѣтъ; блудный сын хотел утолить голодъ отъ рожица мѣже ѣдѣхъ скнннѣ* и т. д. Григорий и в устной речи в соответствующем тексте по-видимому пользовался такими формами с южнославянским окончанием (*а* произносил он как 'а). Но в домашнем обиходе в разговоре с дьяковицей речь бывала о необходимости стричь *оубоца*, кормить *скнннѣ*.

В отношении языкового состояния доисторической эпохи мы не можем с достоверностью утверждать, что *-ѣ* в указанных формах появилось в результате процесса, общего для предков восточных и западных славян; такое образование могло появиться и независимо в тех и других группах. Того же давнего происхождения у предков восточных и западных славян было и новообразование в форме твор. падежа ед. числа имен мужского и среднего ² рода — гласный *ѣ* перед окончанием *-тъ*: *возѣтъ, мѣстѣтъ*. Одновременно изменилось в доисторическую эпоху в речи предков западных и восточных славян сочетание *ort-, olt-* в начале слова при нисходящей интонации под акцентом или вне акцента (вне ударения) — изменилось в *rot-, lot-: rosti, roz-* (префикс), *rovьль, rovi* «в прошлом году», *tokьль* (у предков южных славян — *rat-, lat-*). Об этих одинаковых чертах в языках восточных и западных славян С. П. Обнорский, утверждающий гипотезу давнего формирования древнерусского литературного языка на Севере, не говорит, — по-видимому, потому, что те же черты отражались и в давних памятниках украинских. Если севернорусские связи с западнославянским миром благоприятствовали удержанию форм на *-ѣ*, то почему же эти связи не приписывать и устойчивости форм на *-ьль* (*возьль*), слов с *ro-, lo-* (*рости, ровьль, лони, ложьль*), находившихся во всех восточнославянских группах? Испо, что формы на *-ѣ* и другие указанные выше черты, одинаковые с западнославянскими языками, идут от эпохи доисторической, употреблялись в разных восточнославянских краях и в поддержке их связью с западнославянскими группами не нуждались.

С. П. Обнорский указывает еще сочетания с союзом *а* соединительного значения «и» — сочетания, служившие будто бы «ярким свидетелем» связей севернорусской и западнославянской групп: *и. гвѣнѣ а ѣ. коуна* и др.

Нет, это утверждение является вследствие того, что не принята во внимание история сочетания с союзом *а* в значении «и» по славянским языкам; русские факты XI в. поставлены в связь с фактами западнославянскими XIX в. Все славянские языковые группы, не только западные, но и южные и восточные, имели сочетания с союзом *а* такого значения. Памятники южнославянской и восточнославянской письменности свидетельствуют об этом. В истории южных и восточных славянских языков с течением времени это сочетание с союзом *а* было вытеснено сочетанием с союзом *и*. Но и в позднее время применялись сочетания с союзом *а* в значении «и». Следовательно, в XI в., когда записана была «Русская Правда», повсюду у славян были сочетания с *а* соединительного значения, и ничего специфически западнославянского в этом сочетании не было.

Ссылка на живучесть в Новгородской области давних традиций связи с западными славянами — ссылка фиктивная: нет никаких указаний на эту связь. Попытка С. А. Гедеонова³, Н. М. Петровского⁴, А. А. Шахматова⁵ указать западнославянзмы

¹ В рукописи: в окончании *-ѣ* не отражается.

² В рукописи: мужского и женского.

³ См. С. Гедеонов, *Варяги и Русь*, СПб., 1876. Критические замечания см.: И. Перлов, *Варяги-Русь и балтийские славяне*, ЖМНП, ч. СХСП, 1877, июль; И. И. Срезневский, *Замечания о книге С. А. Гедеонова «Варяги и Русь»*, СПб., 1878.

⁴ См. Н. Петровский, *О новгородских «Словесах»*, «ИОФЯСРос. Акад. наук», т. XXV (1920), Пг., 1922.

⁵ См. А. А. Шахматов, *К вопросу о польском влиянии на древнерусские говоры*, РФВ, т. LXIX, Варшава, 1913, стр. 1—11; а также, *Очерк древнейшего периода истории русского языка*, Пг., 1915, стр. 101—102, 318, 325, 329.

в языке новгородских словен не удовлетворительны. Немногие словарные и морфологические элементы в русских говорах Новгородского края, одинаковые с соответствующими словами и морфологическими элементами польско-поморской языковой области, как они представлены в книге Геденова и в статье Н. М. Петровского, совершенно неприемлемы в методологическом отношении: все то весьма немногое, случайное, фрагментарное, указанное этими лицами, не связывает русско-новгородских отмеченных фактов с соответствующими данными польско-поморскими. То же приходится заявить определенно и о тезисе А. А. Шахматова, относящемся к «ляшским» чертам в русских говорах. В севернорусской области такой чертой он считает цоканье; оно появилось в результате воздействия польского населения — воздействия, которому подверглись предки севернорусов, продвигавшиеся из среднего Поднепровья в верхнее, а оттуда в озерную область, к Ильменьскому озеру, в верховья Волги и Оки. В верхнем Поднепровье они «должны были встретить на своем пути лишские племена, радимичей и другие племена, населявшие современную Белоруссию. Пробиваясь через ляхов, севернорусы могли смешаться с ними, увлекая их в дальнейшие движения, ассимилируя их себе, но и восприняв некоторые черты и от них» («Очерк», стр. 318). Польские группы, с которыми столкнулись севернорусы, представляли, по мнению А. А. Шахматова, мазуренье, т. е. не имели шипящих согласных, а имели вместо них свистящие согласные: *carny, zylo, syja*. Под влиянием таких говоров появилось в русских говорах цоканье в одних говорах, в других шепелявое произношение мягких *š, ž* (как в польском языке), в третьих (в Псковском крае) замена шипящих согласных свистящими и смешение этих согласных. Тому же влиянию обязано и *кл, гл* (вместо *т, дл*), мягкие *ц, дз* вместо мягких *т', д'* (пеканье и дзеканье) в псковских говорах. Польские группы пропекли и в области верхнего Поволжья и Оки. Пеканье и ¹ дзеканье в некоторых говорах Тверского, Московского и Рязанского краев свидетельствует будто об этом (см. «Очерк», стр. 329—330).

Все эти утверждения А. А. Шахматова лишены исторического и лингвистического основания. Невозможно утверждать, что верхнее Поднепровье было занято в IX—X вв. польскими племенами. Легендарное сообщение «Повести временных лет» о том, что Радим от рода ляхов, нельзя класть в основу этого утверждения; легенда о Радиме появилась при определенных² обстоятельствах общественно-политической жизни Киевского государства, при политических связях его с Польшей в XI в. В действительности нет зоны таких говоров, которые представляли бы систематически переплетенные данные элементы восточнославянские и польские, подобно, например, зоне, существующей издавна между болгарской и сербской областями (бассейн Тлмока, Поморавье, район Призрена). Такой зоны между восточными славянами и поляками не было: разные литовско-прусские группы (пруссы, литвыги³, голядь и др.) разделяли области этих славянских народов. Несостоятельна и ссылка на мазуренье: севернорусское цоканье — явление более раннее, чем польское мазуренье. О других чертах, в которых А. А. Шахматов видел результат польского воздействия, замечания сделаны мною в других статьях⁴. Подробнее о них я говорю в отдельной работе. Нет никаких определенных данных, которые свидетельствовали бы о реальных связях новгородцев с поляками или о традиции этих связей, существовавшей там.

Итак, гипотезу о древнейшем типе русского литературного языка X—XI вв., формировавшемся на Севере и предшествовавшем появлению русских рукописей на старославянской языковой основе, следует считать не обоснованной⁵.

¹ В рукописи «и» отсутствует.

² В рукописи: каих-то.

³ Так в рукописи.

⁴ См.: А. Селищев, Критические замечания о реконструкции древнейшей судьбы русских диалектов, «Slavia», гошп. VII, seš. 1, 1928; его же, Соканье и цоканье в славянских языках, там же, гошп. X, seš. 1.

⁵ Не можем считать доказанным и утверждение С. П. Обворского, что списку «Русской Правды» по Новгородской кормчей 1282 г. предшествовал посредствующий список, сделанный в области украинских говоров. Некоторые явления, отмеченные С. П. Обворским как украинизмы, в действительности не показательны. Так, случаи смешения *ѣ* и *ѣ* настолько (в рукописи: так) многочисленны, что относить несколько примеров с *ѣ* вместо *ѣ* перед слогом с утраченным *ѣ, ѣ* (какъѣ) к украинскому оригиналу невозможно. Также невозможно считать форму *сынѣи* (на -ѣи) формой, перешедшей из украинского оригинала: в XI—XIII вв. и в Новгородской области были живыми такие формы дат. падежа. Ср. в Новгородской грамоте 1264 (1265) г. с чертами обыденной речи того времени форму на -ѣи в таком имени: *наѣиѣи*. Как видно, самая форма имени, бытовая форма (*Иванко*), свидетельствует, что она взята из обыденной речи.

СООБЩЕНИЯ И ЗАМЕТКИ

Н. И. ФЕЛЬДМАН

ОККАЗИОНАЛЬНЫЕ СЛОВА И ЛЕКСИКОГРАФИЯ

Общезвестно, что понятия «архаизм» и «неологизм» — относительны: они нимало не связаны с истинным возрастом слов. За исключением историков языка, которым «по чину положено» знать время возникновения слов, и художников слова, ощущающих, старо или молодо слово, поскольку это определяет его стилистическую окраску, говорящие равнодушны к реальному возрасту слов. Например, ощутима ли разница в возрасте между словами *нейтрон* и *атом*? Нет, оба слова стилистически одинаковы, это — термины, получившие широкое распространение особенно в послевоенное время. Однако первому слову немногим более тридцати лет, тогда как второе существует в русском языке не менее двухсот пятидесяти (слово *атом* дает уже Э. Вейсман в «Немецко-латинском и русском лексиконе» (СПб., 1731, стр. 600)], а за пределами русского языка оно уходит в глубину тысячелетий. В словарном составе в каждый определенный момент слова различаются говорящими не по реальному возрасту, а по их устарелости или ощутимой новизне. При этом общезвестно, что устаревают слова медленно, однако неологизмы, если они получают широкое распространение, усваиваются языком удивительно быстро. Например, еще десять лет назад не было слов *бесконфликтность* и *украшательство*, а уж они ли не навязали в зубах? Во «Введении в языковедение» Р. О. Шор и Н. С. Чемоданова к примерам неологизмов: *красноармеец*, *большевик*, *ленинец*, *сталиновец*, *колхоз* и др. сделано примечание: «...Восприятие слова как неологизма может быть чрезвычайно ограничено во времени. Такое слово, как *красноармеец*, так прочно вошло в лексику современного русского языка, что, конечно, уже много лет не осознается как новое слово. Термин *неологизм* мы употребляем в данном случае в более широком смысле и называем так новое слово для определенной эпохи в развитии языка» (разрядка моя. — Н. Ф.)¹. Совершенно очевидно, что у авторов знание возраста этих слов, имевших тогда от роду немногим более двадцати пяти лет, вошло в конфликт с живым их восприятием. Но редко удается зафиксировать обратное: даже зная, когда появилось то или другое слово, трудно найти объективные свидетельства о том периоде его существования, когда современники слышали, как оно хрустело новизной, точно несмятый бумажный рубль.

¹ Р. О. Шор и Н. С. Чемоданов, Введение в языковедение, М., 1945, стр. 85. Не могу не заметить, что как раз *красноармеец* сейчас может служить примером слова, уже почти пятнадцать лет как выпавшего из активного употребления, но тем не менее ни в коем случае не ощущающегося как архаизм. Впрочем это, вероятно, в значительной мере зависит и от возраста «ощущающего».

Однако мы находим у Маяковского:

Небось не напишут мой портрет,—
ведь трут понапрасну кисти.
Ведь тоже лицо как будто,— ах нет,
рисуют кто поцекистей.

(Маяковский, «Верлея и Сезав»)

У Щедрина читаем: «Они не только не стыдятся этого, но даже высказывают публично, что подобное поведение вовсе не постыдно, что над ними ничто не тяготеет, что они душедряняют и умонелепствуют по собственному своему усмотрению...» («Журнальный ад») или: «А средний человек, которым кишит вселенная, судорожно цепляется за свою неповрежденность. Он-то своими боками и демонстрирует властность белиберды. Он охотно сторонится перед белибердой, поддакивает ей, лишь бы она прошла, не заметив его. И нередко, действительно, проскальзывает... Ибо и белибердоносцы враждуют и препираются между собою» («Пестрые письма»).

Хотя со времени написания этих строк прошли десятки лет, слова *поцекистей*, *душедрянять*, *умонелепствовать*, *белибердоносцы* сразу выделяются из общего контекста своей новизной. И вот этим-то они резко отличаются от подлинных неологизмов, о которых шла речь выше: для последних, как уже упомянуто, характерно как раз обратное — а именно то, что трудно уловить тот недолгий момент, когда они еще ощущались как неологизмы.

Есть у этих слов как будто и еще одна характерная особенность: они имеют автора. *Поцекистей* — слово, составленное Маяковским, *душедрянять* — щедринское словечко, а *громокипящий* — собственность Тютчева¹. Однако общезвестно, что и некоторые отнюдь не окказиональные слова тоже в свое время были сочинены отдельными лицами (например, слово *миллипут* сочинено Свифтом, *газ* — Ван-Гельмонтом); а авторство многих слов-самоделок, не вошедших в язык, может остаться незамеченным и, во всяком случае, трудно запоминаемым — «авторов» их слишком много.

Таким образом, подобные слова-самоделки отличаются от неологизмов, имеющих в каждый момент в словарном составе языка, тем, что они не получили распространения, не вошли в язык и в силу этого сохраняют свою новизну независимо от момента. Формальные (словообразовательные) отличия встречаются у них редко, поэтому при иллюстрации разных типов словообразования их можно ставить в ряд с существующими словами². Интересно было бы проследить, что именно мешает таким словам войти в язык. В этом отношении особенно интересны новообразования Щедрина, потому что с точки зрения их дальнейшей судьбы они разнородны. Вполне естественно, что А. И. Ефимов в своей книге о языке Щедрина, где целая глава уделена словотворчеству сатирика, не оценивал их с этой стороны: в стиле Щедрина как таковом *мордобитие* и *рылобитие*³ играли во всех отношениях одинаковую роль.

¹ Известно, что Игорь Северянин употребил это слово в названии одного своего сборника цитатно: «Громокипящий кубок».

² См., например: М. Д. Степанова, Словообразование современного немецкого языка, М., 1953, стр. 109, 135, 143, 163, 227, 249, 257 и др.; В. П. Григорьев, О границах между словосложением и аффиксацией, ВЯ, 1956, № 4, стр. 40, 41, 44, 45, 46, 48 и 49.

³ См. А. И. Ефимов, Язык сатиры Салтыкова-Щедрина, [М.], 1953, стр. 356 и 340. Ниже при новообразованиях Щедрина в скобках дается ссылка на страницу этой книги.

С точки же зрения дальнейшей их судьбы эти новообразования входят в две разные группы. *Мордобитие* входит в ту, куда относятся и *породистость* (330), *ехидство* (336), *нерадение* (339), *истолкователь* (342), *гадательный* (344), *паразитизм* (346) и т. п., т. е. слова в настоящее время общераспространенные. Рядом с *рылобитием* становятся *обураемость* (331), *каплунство* (333), *взбутование* (337), *подмигиватель* (341), *подмигивательный* (344) и т. п. — слова, не вошедшие в язык и иногда сами по себе не вполне понятные. Ко многим из слов последней группы приложимо то, что А. И. Ефимов пишет о сложных словах Щедрина: «... Это продукт индивидуального словоупотребления. Дело в том, что своеобразие словосложений Щедрина нельзя понять без учета специфического наполнения их содержания... щедринское сложение «стрижи-литераторы» (III, 419) получает правильное толкование лишь в том случае, если будут установлены подробности самой метафоризации значения слова „стриж“...»¹. Не только словосложения, но и такие аффиксальные новообразования Щедрина, как *галдоватость* (329), *ташкентство* и *афинство* (334), *лудителный* (343) и множество других, вне контекста совсем не могут быть поняты. Часть из тех новообразований Щедрина, которые в дальнейшем не вошли в общее употребление, обязана своей судьбой именно этому их свойству. То же относится к новообразованиям Маяковского. Г. Агасов пишет: «... Маяковский, создавая новые слова, не имел претензии делать их универсально-годными... Он прежде всего имел в виду служебную пригодность найденного нового слова для данного частного случая»².

Тесная связь слов-самоделок с контекстом, из которого они как бы вырастают, делает их уместными и особо выразительными на своем месте, однако вместе с тем, как правило, препятствует им оторваться от контекста и обрести жизнь вне его. Вот это основное их свойство позволяет назвать их, в отличие от неологизмов, т. е. новообразований, вошедших в язык, **о к к а з и о н а л ь н ы м и с л о в а м и**.

Хотя само наличие окказиональных слов замечено уже давно, общепринятого наименования им пока не дано. Исследователи стиля Маяковского называют их неологизмами; А. И. Ефимов, как уже упомянуто, говорит просто «образования (Щедрина)». М. Д. Степанова называет их «словами-метеорами»³; Л. В. Щерба и А. И. Смирницкий пользуются термином «потенциальные слова». А. И. Смирницкий раскрывает этот термин так: «... Всякое созданное в речи на данный случай слово... может войти в обращение... Но до тех пор, пока такое слово... не стало воспроизводиться в общественном масштабе в процессе общения, оно, собственно, может быть признано лишь „потенциальным“ словом..., не вошедшим в словарный состав языка, не существующим в качестве его составной единицы...»⁴. Что окказиональные слова не входят в словарный состав языка — это, несомненно правильно, но сам термин «потенциальный» кажется нам неудачным вот почему. С одной стороны, окказиональные слова прежних лет, которые не вошли в язык в течение десятилетий, не имеют, как правило, «потенций» войти в него и впредь, а значит, в этом смысле термин «потенциальный»

¹ А. И. Ефимов, указ. соч., стр. 351.

² Г. Агасов, Языковое новаторство Вл. Маяковского, «Лит. учеба», 1939, № 2, стр. 18. На это же указывает и Э. Паперный: «... ясно, что поэтический [неологизм] создается не для обихода, но для данного случая. Закономерно, что новые слова у Маяковского почти никогда не повторяются, рождаются заново, неразрывно связаны с совершенно определенным образно-смысловым контекстом». (Э. Паперный, Маяковский сегодня, «Новый мир», 1957, № 4, стр. 232).

³ М. Д. Степанова, указ. соч., стр. 39.

⁴ А. И. Смирницкий, К вопросу о слове, «Труды Ин-та языковедения [АН СССР]», т. IV, М., 1954, стр. 5.

к ним неприложим. С другой стороны, сам по себе, вне контекста, этот термин создает впечатление, что слова собственно нет, оно только возможно; между тем окказиональные слова на своем месте существуют вполне реально, что было показано выше на цитатах из Маяковского и Щедрина. Нам кажется, что термин «окказиональные» точнее раскрывает их природу.

Должны ли окказиональные слова входить в словари? Вопрос этот законен, потому что такие слова попадают в словари, но попадают несистематично, вернее сказать, единично, без соответствующих помет, без подачи их в качестве слов особой категории (см., например, *громокипящий* в «Словаре русского языка» Академии наук 1895 г., *дамоподобный* там же, *лимонничать* в «Словаре русского языка» под ред. Д. Н. Ушакова и др.).

О составе словника Л. В. Щерба писал: «... „Thesaurus“ характеризуется именно тем, что в его словник включаются все слова, какие только кем-либо были употреблены, хотя бы это и имело место всего один раз... в последовательном полном нормативном словаре... должны быть даны все слова, имеющие безусловное хождение в данном языке»¹.

Это положение представляется нам бесспорным. Охватить все слова, являющиеся продуктом индивидуального слоготворчества, просто не под силу словарю с заранее ограниченным размером. Кроме того, и это главное, если нельзя не согласиться с тем, что «составители напрасно отказываются от включения в словарь слов малораспространенных: читатель именно их ищет в Словаре»², то во всяком случае слова малоупотребительные (например, *дрызгун*, *вышибка*) должны сопровождаться пометой, указывающей на их ущербность в отношении свойства «безусловного хождения», а слова, недолго существовавшие (например, *междудумье*, *херенка*, *соден*), должны быть снабжены указанием на кратковременность употребления. Помета же, которой должны были бы сопровождаться окказиональные слова: «только у Тютчева», «только у Щедрина» и т. д., сама по себе говорит о том, насколько неуместны подобные слова даже в полном нормативном словаре, задача которого — отразить словарный состав литературного языка на протяжении определенного периода; ведь «только у такого-то» как раз и значит, что слово не вошло в словарный состав.

Сказанное вызывает следующие вопросы.

Где и как учитывать окказиональные слова, если они не подлежат включению в обычные словари; как поможет словарь пониманию окказиональных слов, если они не включены в его словник; как отличить окказиональные слова от неологизмов, чтобы не включить их в словник по ошибке. Последний вопрос может показаться неожиданным, поэтому мы с него и начнем.

Дело в том, что если встретить окказиональное слово у писателя прошлого века, его легко признать за таковое просто потому, что прошло достаточное время. Читая у Пушкина: «... Мы и в литературе, и в общественном быту слишком чопорны, слишком *дамоподобны*» («Разговор о критике»)³ и зная, что слова *дамоподобны* в русском языке нет, только и остается заключить, что слово это составлено Пушкиным и его достоянием и осталось. Но не так просто обстоит дело, когда окказиональное слово

¹ Л. В. Щ е р б а, Опыт общей теории лексикографии, ИАН ОЛЯ, 1940, № 3, стр. 106.

² См. ВЯ, 1956, № 5, стр. 100.

³ Заметим, что слово *дамоподобный* дано в «Словаре русского языка [АН СССР]» (7-е изд., т. V, вып. 1, М.—Л., 1937) с пометой «устар.», с объяснением: «то же, что женоподобный» и иллюстрацией в виде той же цитаты из Пушкина, которая приведена здесь (второй цитаты и не может быть). Объяснение неверно, и это должно быть понятно каждому, кто вдумается в мысль Пушкина. Неверна и помета «устарело», так как не может устареть слово, никогда не бывшее в употреблении, не имеющее возраста.

встречается у писателя современного или в современной прессе; не так легко определить в данном случае, окказиональное это слово или **незнакомый** читающему неологизм. Данный вопрос особенно актуален при составлении двуязычных словарей тех языков, где окказиональные слова имеют широкое распространение (немецкий, японский), что делает их стилистически однородными со словами «постоянного» словарного состава и потому трудно отличимыми от вошедших во всеобщее употребление неологизмов.

В русской литературе окказиональные слова, несомненно, не имеют такого широкого распространения, как, например, в немецкой или японской: Щедрин и Маяковский в этом отношении составляют исключение и резко отличаются от таких классиков, как Пушкин, Тургенев, Чехов, Толстой и многие другие. По-видимому, это обстоятельство способствовало тому, что само явление окказионального словообразования не привлекло достаточного внимания исследователей, а сами такие новообразования вызвали несколько пренебрежительное к себе отношение. Например, К. И. Чуковский, приводя такие примеры, как *ручьиться* (Державин), *обезмышить* (Жуковский), *апельсинничать*, *лимонничать* (Достоевский) и ряд других, пишет: «Все это слова-экспромты, слова-однодневки, которые и не притязали на то, чтобы внедряться в язык. Созданные специально для данного случая, они чаще всего культивировались в домашних разговорах, в частных письмах, в шуточных стихах и умирали тотчас же после своего появления на свет»¹.

Спору нет, при непринужденном выражении, в письмах и т. п. окказиональные слова появляются и у таких авторов, в чьих произведениях они всерьез не употребляются. Ограничимся одним примером — окказиональным словом Ленина в письме к Горькому: «Не напишите ли майский листок? Или листовочку в таком же майском духе? Коротенькую, „духоподъемную“, а?»². Однако окказиональные слова, употребленные в художественном произведении, живы до тех пор, пока живо само это произведение. Их оценка, данная в цитированных выше строках, не оправдана. Более правильно оценил их А. Г. Горнфельд: «Большинство этих слов чрезвычайно удачно: все они — на своем месте просто неизбежны, а очень многие весьма выразительны...»³.

Эта характеристика относится к окказиональным словам персонажей Достоевского. Но мы хотим подчеркнуть, что окказиональные слова «просто неизбежны» далеко не только в художественной литературе и далеко не только у отдельных авторов. В настоящее время они встречаются даже в деловой прозе. Например, К. И. Чуковский в этой же своей книге пишет: «...Больно читать ту свирепую строку, которую сочинила одна поэтесса в Москве: Ах, почта с шоколадом... *Щебси!*—Нужно ненавидеть ребят, чтобы предлагать им такие языколомные *щебси*. Не мешало бы сочинителям подобных стихов поучиться у тех малышей, которым они царапают горло своими корявыми *щебсами*»⁴. Мы имеем в виду не столько существительное *щебси*, явно нарочито каламбурное, сколько слово *языколомный*: негодующая интонация всего абзаца и то, что это слово параллельно прилагательному *корявый* в следующей фразе, свидетельствуют, что окказиональное слово *языколомный* употреблено автором всерьез, в строку.

Ниже мы приводим некоторое количество окказиональных слов, замеченных нами в прессе последних лет, причем только в ж а н р а х

¹ К. Чуковский, От двух до пяти, М., 1956, стр. 34.

² В. И. Ленин, Соч., т. 35, стр. 1.

³ А. Г. Горнфельд, Новые словечки и старые слова, сб. «Муки слова», М.—Л., 1927, стр. 173.

⁴ К. Чуковский, указ. соч., стр. 272.

деловой прозы — статьях, рецензиях, корреспонденциях, отчетах о выступлениях и т. п. Несколько таких слов даны в цитатах с целью показать, как просто, без нарочитости, всерьез они звучат в контексте (именно поэтому мы и ограничились окказиональными словами из жанров деловой прозы).

«Стихи, лишенные поэтической конкретности, лишенные поэтического своеобразия, превращаются в суррогат, в *общесловие*»¹ (А. Лацис, «Лит. газ.» 18 II 54). Вскоре это слово встретилось нам вторично, но с другим окончанием, следовательно, образованное самостоятельно: «*Общесловность публицистической лирики — враг поэзии*» (В. Огнев, «Лит. газ.» 20 V 54); «Читатель видит в кресле секретаря райкома партии современного помпадур, *планотворца*, преисполненного верой в силу бумажки» (Г. Платонов, «Звезда», 1954, № 5); «*Конъюнктура-матушка!* Она! Желание во что бы то ни стало, не брезгуя средствами, «откликнуться» на злободневную тему. Нетрудно представить, как рождаются такие отклики-скороспелки, как поступают заказы на *сыропеклую* музыкальную продукцию» (Е. Шатров, «Сов. культура» 6 V 54); «Эти авторы относятся к породе конъюнктурщиков, которые после разгрома теории бесконфликтности *переконъюнктурились* и шаркнулись в противоположную сторону» (Г. Николаева, «Лит. газ.» 25 IX 54)²; «Не проходит и месяца, как журналистам газеты... становится ясно: они пригрели кочующего халтурщика, неистового *строчкогона*, глубоко равнодушного к нелегкому и славному труду газетчиков» (Л. Ленч, «Лит. газ.» 21 V 55); «Неужели реализм — в однообразии форм выражения действительности? ... разве догматический *«благополучиям»* не так же опасен и вреден, как и всякие другие вредные «измы»?» (А. Довженко, «Лит. газ.» 21 VI 55); «Попадают еще среди взрослых читателей книг, написанных для детей, *словоеды*, придирающиеся к каждому непривычному для них выражению» (Л. Кассиль и С. Михалков, «Лит. газ.» 12 VII 55); «Он не рассказывает о поэте, но «митингует», сыплет звонкими фразами. Как надоело это фасадно-парадное *«трескословие»!*» (З. Паперный, «Лит. газ.», 16 VI 56); «Самое опасное для Шираза, считает С. Щипачев, и характерное для него явление — это *утомительное пышнословие*» («Лит. газ.» 7 VI 56); «Уж больно мы любим *доосмысливать* задним числом!» (В. Огнев, сб. «День поэзии», М., 1956); «В стране начался процесс *рассвобождения* творческих сил» (А. Яшин, там же); «Рисковать в вынужденных условиях режиссер может только наверняка... Вот и появляются на экране в большом количестве *«верняки»* — эти плоды производственного и творческого стереотипа» (И. Хейфиц, «Сов. культура» 15 XI 56); «Однако главные причины *«малописания»* наших драматургов, думается мне, даже не в этом» (Л. Малюгин, «Лит. газ.» 4 XII 56).

Это же слово имеется и у Чехова: «Только, пожалуйста, пишите побольше, а то ведь *малописание* ни к чему не ведет» (Письмо В. Н. Аргутинскому-Долгорукову). Вспомнилось ли оно Л. Малюгину и употреб-

¹ Курсивом окказиональное слово раньше, здесь и всюду далее выделено мной, но в кавычки взято только в том случае, когда они есть и в оригинале.

² В этом предложении интересно и слово *конъюнктурщик*, но думается, что это неологизм, имеющий широкое хождение. Он почти вытеснил свой синоним *оплартурист*. Кстати сказать, слова *конъюнктурщик*, *конъюнктурность* (например: «...запись, противопоставляющая подлинную современность мысли и *конъюнктурность*» — «Лит. газ.» 20 XII 56), *конъюнктурщина* (например: «Объявлена непримиримая борьба начетничеству и вульгаризации, беззащитнейшей *конъюктурщине*» — «Лит. газ.» 5 II 57), *переконъюктурились*, словосочетания типа *конъюктурная трусость* («защита юмора от ханжества и *конъюктурной трусости*» — «Сов. Россия» 5 I 57), выражение *конъюктур-матушка* с последующим контекстом (см. предыдущий пример) — все это указывает на особую окраску значения самого слова *конъюнктура* как общего слова современного языка.

лено цитатно или сочинено заново? И в том и в другом случае оно остается окказиональным. Некоторые окказиональные слова встречаются по несколько раз даже в современной прессе: «Я убежден, что именно отсюда протекают „*мелкотемье*” и идейная наивность многих творческих заявок» (А. Лапкин, «Сов. культура» 30 VIII 56); «Их другая беда — *мелкотемье*. Они словно плавают все время у бережка, боясь пуститься в открытое море» (Д. Заславский, «Правда» 5 IX 56); «И если, действительно, порою бывает трудно внедрить в производство что-либо новое, то еще труднее становится „*вынедрить*” старое, отжившее, вышедшее из моды» (Без подписи, «О вещах хороших и плохих», «Лит. газ.» 22 III 56); «Одно время можно было наблюдать, как работникам литературы и искусства то приказывали внедрить что-то в свои произведения, то „*вынедрить*” (Выдержки из выступлений на семинаре по эстетике, выступление Г. Орловой, бюлл. «Моск. литератор» 3 XI 56).

Наиболее часто (8 раз) встречалось нам слово *гладкопись*: «Пусть я услышу неуклюжее, грубоватое, спорное, но свое, по-своему сказанное слово о людях и чувствах. Только не *гладкопись*! Как мы бываем благодарны художнику, когда он нехоженными тропами ведет нас по жизни» (М. Прилежаева, «Лит. газ.» 13 I 55); «В целом литературный процесс показан без стараний его заретушировать, без раздражающей *гладкописи* и *сладкописи*, но и без недооценки крупнейших завоеваний нашей литературы» (Г. Ленобль, «Лит. газ.» 31 III 55). и др. (см. ниже).

Кроме того, нам встретились в тех же жанрах долевой прозы следующие слова: *радиозаросли* (А. Морозов, «Вечерняя Москва» 23 VI 53), «*мероприятчик*» (Г. Шергова, «Огонек», 1953, № 48), «*космориторика*» (С. Щипачев, «Лит. газ.» 1 XII 53), «*строчковажительство*» («Лит. газ.» 12 I 54), *избумаженные* стены (И. Егоров, «Правда» 19 II 54), *громобетонные* сравнения (К. Лапкин, «Лит. газ.» 8 V 54), поэзия... *юбелеила* (В. Огнев, «Лит. газ.» 20 V 54), *всевозрастные* (И. Павлюкко, «Лит. газ.» 26 VI 54), *убивательные* приборы¹ (Л. Леонов, «Известия» 1 VIII 54), «*пустолазный*» (о костюме для астронавтов; без подписи, «Знание — сила», 1954, № 10), *единошрифтные* (Л. Леонов, «Сов. культура» 3 II 55), «из репродукторов подплыло нечто *румбообразное, бостоноподобное*» (А. Ленский, «Сов. культура» 5 III 55), *большезивотый* (Д. Краминов, «Правда» 7 IV 55), *батлероподобные* (о сторонниках сенатора Батлера; Б. Владимиров «Правда» 12 VI 55), *хулиганобоязь* (письмо В. Николаева, обзор писем «Решающая роль принадлежит общественности», «Лит. газ.» 28 VI 55), «*медленнопроизводческая* канцелярская машина и *словопроводы*» (С. Балбеков, «Правда» 22 I 56), *бесконфликтчик* (А. Сафонов, «Огонек», 1956, № 2), *вспышкопускательство* и *кинодельцы* (Г. Александров, «Сов. культура» 28 VI 56), *кока-колизм* (Д. Заславский, «Октябрь», 1956, № 7), *дуракавалание* (Н. Вильмонт, «Иностр. лит-ра», 1956, № 8), поэма *остроконфликтна*² (М. Иванова, «Лит. газ.» 27 XI 56), *шапковажительство* и *мячезажительство* (о волейболистах; Н. Грибачев, «Лит. газ.» 27 XI 54), *забюрократизирована* (Ф. Вигдорова, «Лит. газ.» 7 III 57). По два раза: *оскучивать* (А. Фадеев, «Лит. газ.» 20 IX 55 и Е. Езерский,

¹ Почти в то же самое время это слово появилось в художественной литературе в другом варианте: *убивальные* машины (Р. Ким, Девушка из Хиросимы, «Октябрь», 1954, № 8). Этот вариант кажется нам более выразительным, поскольку прилагательные с суффиксом *-альн* имеют только одно значение — предназначенности к действию, тогда как значение суффикса *-тельн* шире, так что *убивательный*, ставшая в ряд с *внимательный, окончательный* и т.п., само по себе может быть понято и как *убийственный*.

² Это вряд ли случайное явление — слитное написание двух слов; по-видимому, разгром теории бесконфликтности привел не только к появлению произведений с острыми конфликтами, но и к созданию антонима слова *бесконфликтный* — *остроконфликтный*.

«Новый мир», 1956, № 2), *малюкартинье* (Л. Погожева, «Сов. культура» 4 III 55 и М. Ромм, «Сов. культура» 28 IV 56), *многотемье* (Ал. Борщяговский, «Моск. литератор» 26 XI 56 и И. Кашкин, «Новый мир», 1956, № 12), *гладкопись* (кроме вышеприведенных случаев: Е. Евтушенко, «Лит. газ.» 10 III 56; Н. Носов, «Огонек», 1955, № 19; Ю. Юровский, «Коммунист Сов. Латвии», 1956, № 6; А. Коваленков, статья в сб. «День поэзии», М., 1956; Л. Чуковская, статья в сб. «Лит. Москва», № 2, М., 1956.)

Все приведенные примеры наглядно показывают, что окказиональные слова применяются не только в художественной литературе, где они давно замечены исследователями, но и в прессе (в статьях, фельетонах, рецензиях, заметках, корреспонденциях и т. д.) и что создание их — дело далеко не только отдельных художников слова: они срываются с пера критиков, рецензентов, журналистов, непрофессиональных литераторов и просто случайных авторов писем в редакцию. А. Г. Горнфельд писал по поводу таких слов: «Человеку нужно слово, оно наивно, стихийно, легко срывается у него с языка; он даже не знает, не задумывается, слышал он его или сочинил: оно понятно ему, оно понятно его собеседнику — чего еще?»¹.

В связи с этим надо заметить, что сравнительно редко окказиональные слова даются в кавычках. Кавычки в этих случаях служат показателем того, что пишущий знает об особом характере употребленного им слова и обращает на него внимание читателя. Это, несомненно, свидетельствует, что слово еще не вошло во всеобщее употребление настолько, чтобы ощущаться как рядовое. С другой стороны, отсутствие кавычек не может служить доказательством, что данное слово — не окказиональное. Скорее всего, отсутствие кавычек вызывается тем, что автор просто выражается так, как сказалося.

Характерен, например, такой случай: в передовой «Правды» (18 II 54) мы встречаем без кавычек слово *бумаготворчество*: «Надо иметь в виду, что тот, кто пытается подменить организаторскую и политическую работу *бумаготворчеством*, голым администрированием, тот наносит вред делу нашей партии». Через некоторое время в прессе встречается то же слово с другим суффиксом: «Мы, инженеры МТС, просим оградить нас от писания и подписывания несчетного и ненужного количества актов и бумаг, сократив *бумаготворение* до необходимого минимума» (Письмо в редакцию инженера-механика В. Одолева, «Лит. газ.» 28 I 56); следовательно, *бумаготворчество* — слово не общеизвестное, а так как потребность в нем есть, оно создано заново. То же слово *бумаготворчество* было употреблено министром здравоохранения СССР М. Д. Ковригиной в ее докладе в октябре 1956; «Медицинский работник», публикуя доклад (24 X 56), не выделил этого слова; но через несколько дней «Литературная газета» (30 X 56) в изложении этого же доклада заключила *бумаготворчество* в кавычки. Таким образом, даже при четырех зарегистрированных случаях употребления этого новообразования, все же нельзя заключить, что оно имеет «безусловное хождение». Только слово *гладкопись* выделяется и частотой и характером употребления; ни разу оно не встретилось с кавычками, причем один раз это слово даже само послужило моделью для образования другого слова — *сладкопись*. Будущее покажет: быть может, и слова *вынедрить*, *бумаготворчество* и еще какие-нибудь из приведенных здесь слов, вполне понятных вне контекста, получат широкое распространение и через какое-то время заслужат право включения в словарь на правах неологизмов; но пока, по-видимому, они выступают только как продукт индивидуального словотворчества и индивидуального словоупотребления

¹ А. Г. Горнфельд, указ. соч., стр. 171.

(кроме, пожалуй, слов *гладкопись* и *мелкотемье*, которые скорее всего являются профессиональными писательскими жаргонизмами).

Количество перечисленных примеров окказиональных слов, замеченное одним человеком за два с небольшим года только в прозе делового характера при не слишком внимательном и не сплошном чтении довольно ограниченного числа органов современной русской прессы, позволяет представить, сколько же их встречается во всех жанрах литературы в тех языках, где окказиональное словообразование имеет широкое распространение, как, например, в немецком и японском. Как же должна относиться к окказиональным словам лексикография? Неологизмы, т. е. новообразования, имеющие широкое хождение, несомненно, подлежат включению в словарь, поскольку этим фиксируется словарный состав языка в момент составления словаря. Напротив, окказиональные слова, т. е. индивидуальные словообразования, фигурирующие в словоупотреблении только одного или нескольких лиц [будь то слова, употребленные писателями в художественных произведениях — *поцекистей* (Маяковский), *душедрянствовать* (Щедрин), будь то слова, замеченные в рядовой газетной заметке — *трескостловие*, *перекопьюнктуриться*], включению в словарь не подлежат: они засоряют его, создавая неправильное представление о словарном составе языка.

Отсюда следует, что лексикографам надо строго отличать окказиональные слова от неологизмов и первые в словарь не включать.

Следовательно, новообразования, которые извлекают из современной художественной литературы и текущей прессы (в процессе их расписки, производящейся при составлении словаря в целях приведения словника в соответствие с современным словарным составом), и вообще всякие «редкие» слова должны оцениваться прежде всего с этой точки зрения. Никакая цитата сама по себе не может служить доказательством того, что данное слово действительно вошло в язык, а не является окказиональным — этим доказательством не могут являться даже несколько цитат. Решающее слово принадлежит составителю словаря (автору или редактору). Как в научном труде воплощаются знание предмета его автором, глубина его научной мысли и широта кругозора, так и в словаре от степени знания языка его составителем (знания, основанного на долготелней активной и пассивной языковой практике, вовсе не требующей ежечасного составления карточек) и от глубины его научной мысли зависит правильность отражения в словаре объективной языковой действительности. Если составителем словаря является вдумчивый знаток языка, то его утверждение, что такого слова в языке нет, с нашей точки зрения, перевешивает цитату, и не одну, а утверждение, что слово имеет широкое хождение, не нуждается в обилии цитат и даже возмещает их отсутствие. Словник не может являться результатом простого сложения слов из расписанных цитат.

В конечном счете составитель словаря решает, какое слово находится перед ним: имеющее «безусловное хождение», малоупотребительное или, наконец, продукт индивидуального словотворчества. Механически подходить к этому вопросу недопустимо.

Нельзя совать в словарь каждое новое слово, как Осип тащит в свое хозяйство каждую веревочку¹.

Переходим ко второму из поставленных ранее вопросов. Как обеспе-

¹ Вот почему отраднo было прочесть, что при обсуждении состояния работы над четырнадцатитомным «Словарем современного русского литературного языка» в Бюро ОЛЯ АН СССР в апреле с. г. имели место высказывания, подвергавшие критике карточку (см. ВЯ, 1956, № 5, стр. 97 и 100).

чит словарь возможность полного понимания языка некоторых классиков, а также языка текущей прессы, если он не включит в словник окказиональных слов? Этим вопросом нельзя пренебрегать, ибо справедливо признать «... очень важным вопрос о том, удобен или неудобен словарь как справочник, считая, что прямое назначение словаря — служить справочником прежде всего в отношении толкования слов...»¹. Окказиональные слова, как правило, строятся по продуктивным типам словообразования, а кроме того, значение их мотивируется и объясняется контекстом. Поэтому достаточно, чтобы каждый словарь имел в своем составе статью о приемах словообразования в данном языке с продуктивными моделями аффиксальных и сложных слов и с перечнем всех продуктивных аффиксальных и полуаффиксальных элементов. Надо заметить, что включение словообразовательных элементов в словник словаря, как это иногда делается², недостаточно помогает делу: чтобы найти такой элемент в словаре, надо сначала уметь выделить его в слове. Вот для этого их систематический перечень и нужен. Л. В. Щерба писал: «Одним из... основных отделов грамматики являются, по-моему, правила словообразования, т. е. вопрос о том, как можно делать новые слова»³. Статья о правилах словообразования уместна и необходима в первую очередь в словаре, так как обеспечивать понимание лексики — его прямая задача.

Остается ответить на первый из вопросов, поставленных в начале статьи: где и как учитывать окказиональные слова до создания Thesaurus'a? Было бы хорошо, если бы соответствующий кабинет лексикографической секции Института языкознания АН СССР, ведя систематический учет всех новообразований в художественной литературе и деловой прозе основных органов прессы, выискивал бы ежегодно в словарях к бюллетень новых слов, независимо от степени их употребительности. Будущее покажет, какие из них останутся в пределах индивидуального словоупотребления, а какие получают «безусловное хождение». Такие словарики могли бы использоваться в дальнейшие годы при составлении Thesaurus'a, они послужили бы в будущем драгоценным материалом для историков языка и, наконец, представили бы непосредственный живой интерес не только лингвистический: ведь эти новообразования в какой-то мере характеризуют свое время.

Но, кроме того, созданные в прежние годы окказиональные слова русских писателей, оставшиеся и обреченные оставаться за пределами обычных словарей, заслуживают того, чтобы, не ожидая Thesaurus'a, быть собранными в отдельном словаре, для чего их прежде всего надо систематически разыскать — от Державина, у которого, например, К. И. Чуковский отметил глагол *ручьиться*, до советской литературы последних лет, где, например, нам встретилась такая прелестная параллель к глаголу *потакать*, как *перетакивать*: «так или не так, а *перетакивать* не будем» (П. Вершигора, «Звезда», 1950, № 3).

Нам думается, что словарь окказиональных слов русских писателей в разных отношениях — для лексикологии, для истории языка, для стилистики и для литературоведения — представил бы немалый интерес.

¹ ВЯ, 1956, № 5, стр. 103.

² См., например: В. К. Мюллер, Англо-русский словарь (5-е изд., М., 1955), «Немецко-русский словарь», под ред. В. В. Рудаша (3-е изд. — под ред. А. А. Лепинга, М., 1947) и др.

³ Л. В. Щерба, Очередные проблемы языковедения, ИАН ОЛЯ, 1945, вып. 5, стр. 181.

ФОНЕТИКО-МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАМЕТКИ О ГРАМОТАХ НА БЕРЕСТЕ
ИЗ РАСКОПОК 1953—1954 гг.

Успешные раскопки в Новгороде в 1953—1954 гг. привели науку еще 53 грамоты на бересте; кроме того, найдена азбука (на дереве-дощечке). Хотя объем грамот незначителен и далеко не все они содержат связный, необорванный текст, эти грамоты, как и найденные ранее, представляют несомненный научный интерес.

Большинство берестяных грамот — частные письма, записки. Автор одной грамоты-письма (№ 87, по нумерации А. В. Арциховского) — духовное лицо, что, однако, не отразилось ни на лексическом составе грамоты, ни на построении фразы. Две грамоты-письма (№№ 99 и 131) написаны, по-видимому, не русским, не свидетельствует характер допущенных ошибок. Грамоты №№ 92 и 130 содержат запись дежонных расчетов с отдельными лицами, грамота № 94 — челобитную крестьян, № 134 — распоряжение феодала по хозяйству, № 136 — договорное обязательство крестьян. Впервые найдены две грамоты (№№ 94 и 98), адресованные известным историческим лицам, благодаря чему представляется возможным достаточно точно определить время их написания. Грамоту № 128 лишь условно можно причислить к этому жанру: на бересту переписана молитва богородице¹.

Из 53 грамот, по мнению А. В. Арциховского, к XI в. относятся восемь: №№ 84, 88, 89, 90, 109 (вторая половина XI в.), 120, 121, 123; к рубежу XI — XII вв. — одна: № 119; к XII в. — двенадцать: №№ 86, 87, 103, 105 (начало XII в.), 107, 108, 113, 114, 115, 116, 117, 118; к рубежу XII — XIII вв. — одна: № 85; к XIII в. — три: №№ 110, 111, 112; к рубежу XIII — XIV вв. — две: №№ 95, 106; к XIV в. — четырнадцать: №№ 91, 92, 93, 98, 99, 100, 101, 102, 104, 128, 131, 132, 133, 134; к рубежу XIV — XV вв. — восемь: №№ 94, 124, 125, 126, 127, 129, 130, 136; к XV в. — четыре: №№ 96, 97, 122, 135.

В отношении грамот №№ 109, 113 и 118 возникают сомнения в этой датировке, установленной на основании стратиграфических и палеографических данных. Полагаем, что грамота № 109 относится ко времени не раньше XII в., грамота № 113 — не раньше конца XIII в., грамота № 118 — к XIII в.

В настоящее время уже опубликован ряд статей, касающихся отдельных языковых особенностей некоторых грамот из раскопок 1953—1954 гг.² Мы сочли целесообразным поделиться нашими соображениями о фонетике и морфологии всех найденных во время раскопок 1953—1954 гг. грамот.

Во всех обследованных грамотах, как правило, верно употребляется **ѣ** в основе слов. Встретились редкие случаи постановки **ѣ** на месте этимологического **е**: **ѣ** чръѣтка (№ 113); **ѣ**дѣ (№ 129); **ѣ**скръѣтѣ (№ 131); **ѣ**скръѣтѣ (№ 133). Из них только два случая (**ѣ**дѣ — № 129; **ѣ**скръѣтѣ — 133) являются достоверными (**ѣ** чръѣтка — собственное имя, в других древнерусских памятниках не встречающееся; пример **ѣ**скръѣтѣ — из грамоты, написанной иностранцем). Впрочем в слове **ѣ**скръѣтѣ можно видеть графическую мену **ѣ** и **ѧ**. Этимологически правильно употребляется **ѣ** и в именных флексиях. В одном случае находим **ѣ** вместо **ѧ** из **ѧ** **ѣ**тъ **ѣ**иѣ (№ 100). Отмечено небольшое количество случаев **ѧ** на месте этимологического **ѣ**: и **ѧ** **ѧ**хѣно **ѧ**но (№ 87); **ѧ** **ѧ**лѣ (№ 92); **ѧ**лѣ (№ 101); **ѧ**иѣ (№ 109, 3 раза; № 131); **ѧ**иѣ (№ 131); **ѧ**иѣ. **ѧ**хѣ. (№ 109); **ѧ**иѣ: **ѧ**о **ѧ**орѣдо:

¹ Сохранились лишь отдельные предложения и слова. В четвертом столбце имеются только следующие оборванные строки: **ѣ**иѣ. **ѧ**иѣ. . . **ѧ**стоѣно. **ѧ**ѣиѣ. На основании новгородского прмولوجия XII в. (см. E. Koschmieder, Die ältesten Novgoroder Hirmologien-Fragmente, Lief. 1, München, 1952, стр. 234) читаем эти строки: [ѣиѣ **ѧ**иѣ]ѣиѣ. **ѧ**ѣиѣиѣ **ѧ**ѣиѣиѣ] **ѧ**стоѣно. **ѧ**ѣиѣ.ѣиѣ.

² См.: А. В. Арциховский, Раскопки 1953 года в Новгороде, ВИ, 1954, № 3; его же, Раскопки 1954 года в Новгороде, ВИ, 1955, № 2; В. А. Матвеевко, Заметки о языке новгородских берестяных грамот, ВЯ, 1956, № 4; W. Kuraszkiewicz, Uwagi paleograficzne i językowe na marginesie wydania грамот nowogrodzkich pisanych na brzoazowej korze, «Kwartalnik In-tu polsko-radzieckiego», № 4 (13), Warszawa, 1955.

(№ 112¹); ко рѣкѣ (№ 134); кляти (№ 134); номцы (№ 135), из которых два — из грамоты (№ 131), написанной не русским, один — собственное имя (ко рѣкѣ — № 134); в нескольких случаях (в их числе — и из грамоты № 131) представлено слово *мынѣ* (и *мынѣ*) с этимологическим *ѣ* в заударном конечном слоге; форма *мынѣ* (с *ѣ*) встречается только в ранней (XII в.) берестяной грамоте № 9.

В семи грамотах мы находим случаи употребления *ѣ* вместо этимологического *ѣ* в именных флексиях (приводим и формы, где *ѣ* — в результате влияния твердого различия на мягкое): *ш дочки* (№ 87); *ка мынѣ* (№ 87); *на шюрни* (№ 92); *на сидоре* (№ 92); *на братѣ* (№ 92); *на флорѣ* (№ 92); *на записѣ* (№ 92); *д. елѣ* (№ 92); *на лаврѣ* (№ 92); *на сѣфарѣ* (№ 92); *на сунки* (№ 92); *на стуконцѣ* (№ 92, а на месте *ѣ*); *на линкѣ* (№ 92); *на сидорѣ* (№ 92); *къ мыкулѣ* (№ 109); *пальскоѣ* (№ 109); *на тон грамотѣ* (№ 112); *ко сунки*; (№ 114); *а кирѣ на платѣ* (№ 115); *ко шадорѣ* (№ 118).

Таким образом, в грамотах XI в. смешение *ѣ* и *ѣ* не наблюдается. Ряд случаев такого смешения находим в грамотах XII в. и более поздних: а на месте *ѣ* выступает главным образом во флексиях (ударных и безударных)², преимущественно в грамоте № 92 (XIV в.). Случаи с написанием *ѣ* на месте этимологического *ѣ* единичны.

В грамотах находим несколько примеров с *и* на месте ожидаемого *ѣ*: *ѣ мыкулѣ* *кучици* (№ 93); *всѣ вѣдѣлѣ. вѣ. аналѣ* (№ 102); *снѣ* (№ 126); *в пудогѣ* (№ 131). Встретилось и *ѣ* вместо *и*: *дѣтѣ мѣн* (№ 98); *с иѣнѣ* (№ 131); *цѣлѣтѣ* (№ 135); *пѣцѣлѣ дѣтѣ мѣнѣ* (№ 135); *сѣ доконцаѣу мыслѣтѣ дѣтѣ* (№ 136). Здесь особенно показательны случаи с меньшей *ѣ* и *и* в ударном слоге³. Возможно, следует видеть *ѣ* вместо *ѣ* (а не вместо *ѣ* из *ѣ*) в примерах: *чѣлѣтѣ кѣнѣ* (№ 97); *кѣлѣтѣ. цѣлѣтѣ.* (№ 102) (ср. *снѣтѣ* — № 94).

Приведенные примеры встретились в грамотах не ранее XIV в.; *и* на месте *ѣ* находим в конечном слоге не под ударением, между двумя мягкими согласными под ударением, после мягкого согласного перед твердым под ударением. В сходных условиях употреблено и *ѣ* на месте *и* (нет примера с *ѣ* на месте *и* после мягкого согласного перед твердым согласным). По-видимому, рассмотренные явления свидетельствуют об изменении *ѣ* в *и* после мягкого согласного не только перед мягким согласным, но — ко второй половине XIV в. — и перед твердым (*снѣ* — № 126 — рубеж XIV — XV вв.), в ударном и безударном положениях⁴.

Судьба глухих в рассматриваемых нами грамотах, среди которых А. В. Архонский восемь отнесены к XI в., одна — к рубежу XI — XII вв., одна — к началу XII в., а остальные — к XII — XV вв., дает мало материала для решения вопроса о хронологии большей части грамот. В грамотах мы находим как случаи употребления *ѣ* и *ѣ* в сильном и слабом положении, так и примеры без *ѣ* и *ѣ*, причем как в приставках, предлогах, суффиксах, так и в морфемах слов. Колебания особенно сильны в написаниях предлогов и приставок (написания с *ѣ*, без *ѣ*, с *ѣ* на месте *ѣ*). Следует, однако, отметить, что только один пример без *ѣ* встретился в ранней грамоте: *ствѣрѣ* (№ 87) — XII в. Отметим редкий для восточславянских памятников случай сохранения *ѣ* в частице *ѣгда*: *ѣгдаѣ* (№ 105)⁵, а также пример с *ѣ* в корне местоимения: *и кѣ вѣдѣмо кѣмо* (№ 87; обычно в этом местоимении в берестяных грамотах *ѣ* в слабом положении отсутствует)⁶. Следует особо отметить, что место-

¹ Здесь буква *ѣ* стоит после гласного. Как известно, судьба *ѣ* в начале слова и после гласных отличалась от судьбы *ѣ* после согласных. О сходных случаях см. Р. И. Аванесов, Фонетика. [Раздел в кн.: «Палеографический и лингвистический анализ новгородских берестяных грамот», М., 1955, стр. 88.

² О поразительной этимологической *ѣ* и *ѣ* в заударном конечном открытом слоге ср. Р. А. Аванесов, *указ. соч.*, стр. 90—91.

³ А. А. Шахматов, рассматривая как описки многочисленные случаи написания типа *дѣтѣ* в двинских грамотах XV в., в то же время указывает, что такая замена вызвана близостью звуков *ѣ* и *и* (см. А. А. Шахматов, *Исследования о двинских грамотах XV века*, СПб., 1903, стр. 68).

⁴ В таком случае была бы графическая мена *ѣ* и *ѣ*.

⁵ Ср. Р. И. Аванесов, *указ. соч.*, стр. 91—92.

⁶ В этом слове после *т* последовательно употребляется *ѣ* в Синодальном списке 1-й Новгородской летописи (в части, написанной вторым почерком) (см. Б. М. Ляпунов, *Исследование о языке Синодального списка 1-й Новгородской летописи*, вып. 1, СПб., 1899, стр. 38). Конечное *ѣ* вместо *ѣ* — графический прием, известный и другим древнерусским памятникам; см. замечания С. П. Обнорского относительно *ѣ* вместо *ѣ* в ноябрьской Минее 1097 г. (С. П. Обнорский, *Исследования о языке Миней за ноябрь 1097 года*, ИОРЯС АН СССР, т. XXIX (1924), Л., 1925, стр. 190—192).

⁷ Ср. показание второй половины ноябрьской Минее 1097, где *и* в сильном положении господствует форма без *ѣ* (С. П. Обнорский, *указ. соч.*, стр. 174—175), и сходные показания октябрьской Минее 1096 г. (В. А. Комарович, *Язык служебной октябрьской Минее 1096 года*, ИОРЯС АН СССР, т. XXX (1925), Л., 1926, стр. 34).

имение имеет основу с *z*, а не с. Кроме примера из грамоты Варлаама Хутынского монастырю после 1192 г. *чуху же ту землю*, до сего времени был отмечен только еще один случай с этой основой — в Синодальном списке 1-й Новгородской летописи: *чухъ полъ* (= *чаша полъ*)¹.

Этимологическое *ч* сохранено в грамотах только в восьми случаях (четыре из них в грамоте № 109): *целюа* (№ 97); *пороучила* (№ 109); *чухочу* (№ 109); *ачи* (№ 109); *ничте жи* (№ 109); *преча* (№ 119); *чаде* (№ 125); *[поуч]чимъ* (№ 128). Единственный случай с *ч* на месте этимологического *ц* встретился в ранней грамоте (начала XII в.): *аквирича тихъ дѣла* (№ 105). Примеры сохранения этимологического *ц* (во втором и третьем примерах и употреблено в собственных именах неясного происхождения): на *лаци* (№ 92); в *микули кушени* (№ 93); *дѣца* (№ 97)²; *исполозиницоу* (№ 112); *тедлинцоу* (№ 112); *самоурици* (№ 131); *саменерици* (№ 131) (суффикс *-ици*).

Большой материал дают грамоты на употребление *ц* на месте этимологического *ч*: на *стукеници* (№ 92); *целюа* (№ 94); *оцифоровици* (№ 94); *о каюцики* (№ 94); *нищима* (№ 94); *цто ко* (№ 95); *микроуици* (№ 98); *цто* (№ 99); *цолоука* (№ 99); *гтораци* (№ 102); *целюа* (№ 102); *кушени* (№ 107); *цто* (№ 107); *гюргвицицоу* (№ 119); *зѣнцици* (№ 125); *цолокати* (№ 129); *цель* (№ 129); *оцици* (№ 129); *цель не следила цого* (№ 129); *поцым* (№ 129); *цто* (№ 131, дважды); *платици* (№ 131); *аллатици* (№ 131); *цолокати* (№ 135); *цо* (№ 135, дважды); *ионци* (№ 135); *ицалеса* (№ 135); *декоуцаду* (№ 136)³. Значительный интерес представляют написания *цель* (№ 129) и *цо* (№ 135), где *цо* на месте *чо* (без частицы *то* на *че* (чь)). Грамоты, где встретились эти случаи, — поздние (№ 129 — рубеж XIV — XV вв.; № 135 — XV в.). Форма *цо* не засвидетельствована в исследованных до сего времени древнерусских памятниках, но употребляется в современных говорах поморской, или северной, группы (с мягким *ц*). Приведенные нами примеры позволяют говорить о совпадении в древнем новгородском диалекте *ч* и *ц* в одном звуке, близком к *ц*⁴, на мягкое качество которого указывают написания с *цю* в грамоте XIV в. (имю *оцифоровици* — № 94) и в грамоте на рубеже XIV — XV вв. (*зѣнцици* — № 125).

В формах 3-го лица ед. числа и 3-го лица мн. числа последовательно сохраняется *ь* после *т*: *виюти* (№ 94); *вюанити* (№ 94); *прядюти* (№ 97); *чѣти* (№ 102); *са купити* (№ 104); *устати* (№ 118). Свидетельств отвердения конечного *т* нет. Пример из грамоты № 124 не может быть показателем: перед *са* мог быть опущен как *ь*, так и *ь*. Возможно, что в некоторых севернорусских говорах отверждение *т* произошло не в XIII в. (с конца XIII в. в севернорусских памятниках начинают встречаться формы с *ь* вместо *ь*), а значительно позже — в XV в.⁵

Берестяными грамотами XIV и XV вв. засвидетельствовано в некоторых положениях изменение глухих согласных в звонкие и звонких — в глухие: *з [р]атси* (№ 96); *здерокиничи* (№ 104); *здероко* (№ 122); *зѣси* (№ 129); *полотригнацети* (№ 130, с упрощением группы согласных); *з крати* (№ 136).

Остановимся на некоторых наиболее интересных фактах из области морфологии. Отметим предварительно, что в рассматриваемых грамотах, кратких по содержанию, с большим количеством номинативных и неполных предложений, особенно велико соотношение именных и глагольных форм в пользу первых. В род. падеже ед. числа основ на *-а* твердого различия представлены как формы на *-и*, так и формы с *-ѣ*, образованные под влиянием основ на *-а* мягкого различия, что, как известно, привело к смешению форм род. падежа ед. числа и форм дат.-мест. падежей: *Ш дрокче* (№ 87, без переходного смягчения *к*); *а ври на плати* (№ 115); *Ш маринк* (№ 125); *кипу нирѣ* (№ 133). Самый ранний случай — в грамоте № 87, относящейся к XII в. Следует отметить, что *ѣ* на месте *и* в род. падеже ед. числа находим уже в новгородских памятниках XI в. Отдельные случаи с *и* на месте *ѣ* в дательном и местном падежах объясняются фонетически (см. выше).

В двух встретившихся нам примерах с км.-вин. падежом дв. числа употреблены старинные формы с *ѣ*: *дѣк гонѣтик* (№ 108); *вѣдѣлѣса . . . в: гонѣтик* (№ 119). Данные

¹ См. Б. М. Ляпуков, указ. соч., стр. 61, 73, 281.

² В Курашкевич полагает, что *дѣца* имеет значение «управляющий» или является производным и происходит от глагола *дѣяти* (см. W. Kuraszkievicz, указ. соч., стр. 92).

³ Мы принимаем во внимание и показания грамот №№ 99 и 131, написанных, по-видимому, иностранцем, так как видим в них в данном случае отражение господствовавшего в новгородском диалекте произношения.

⁴ Ср. также: В. И. Борковский, Новые находки берестяных грамот, ВД, 1953, № 4, стр. 128; Р. И. Аванесов, указ. соч., стр. 94—96.

⁵ Отметим, что в новгородских пергаменных грамотах XIII—XIV вв. встречаются формы только с *ь*, в двинских грамотах XV в. преобладают формы с *ч*. Ср.: А. А. Шахматов, указ. соч., стр. 95—96; его же, Исследование о языке новгородских грамот XIII и XIV века, «Исследования по русскому языку», т. I, СПб., 1885—1895, стр. 161.

новгородских грамот на пергамене свидетельствуют о том, что процесс падения форм дв. числа, начавшийся в конце XIII в., в течение длительного периода (конец XIII в. — первая половина XV в.) не захватывает имен существительных жовского рода¹.

В им.-вин. падеже мн. числа формы на -ѣ объясняются влиянием основ на а мягкого различия: *вѣзи... три на десѣте рѣзанѣ* (№ 84 — XIV в.); на *защѣ* д. *кѣлѣ* (№ 92 — XIV в.). Форма на -ѣ встретилась уже в берестяной грамоте XI в.; можно предположить, что указанный процесс осуществлялся одновременно с влиянием мягкого различия на твердое в формах род. падежа ед. числа, отразившимся уже в памятниках XI в. Заметим, что в новгородских грамотах на пергамене первые примеры встретились нам в грамоте до 1270 г.²

В грамотах наряду со случаями сохранения старых форм встретился и ряд случаев, отражающих влияние форм твердого различия на формы мягкого различия в род. и дат. падежах ед. числа: *оу господыни* (№ 84 — XI в.); *да коровѣа пшеници* (№ 136 — XIV в.).

Рядом с господствующими формами на -а в род. падеже ед. числа основ на -о, в грамотах XIV в. и рубежа XIV—XV вв. встречаем и формы на -у, возникшие под влиянием основ на -й: *цокѣ яси прислао косаку* (№ 129); *ля: локти водмѣду* (№ 130); *прѣмѣи раду нѣту* (№ 131); *а во шукѣ ни ладѣтѣ ни лозоу* (№ 131); *г.г.г. горсти лину* (№ 136); *давати... дачу .г. кунни* (№ 133). Среди отмеченных слов большинство имеет значение вещественности. Что касается форм *раду*, то, по мнению А. А. Шахматова, эта основа еще в общеславянском была, вероятно, основой на -й³. Слово *дарь*, встречающееся несколько раз и в берестяной грамоте № 1 (XIV в.), также имеет в род. падеже ед. числа *дарѣ*⁴.

В вин. падеже названия лиц имеют форму род. падежа: *за ездора* (№ 96 — XV в.); *посла яси поаѣтка* (№ 99 — XIV в.); *а пѣдана пошлѣ во луку* (№ 134 — XIV в.). Пример с формой вин. падежа единственный: *пришлѣтѣ мн. парозоке* (№ 124 — рубеж XIV—XV вв.). Как нами уже отмечалось, в грамотах на пергамене XIV в. старые формы вин. падежа встречаются редко, в грамотах XV в. употребляются только формы род. падежа⁵. Однако в грамотах на бересте на раскопке 1952 г. дважды встретилась старая форма (от одного и того же слова): *принѣи оселѣни цѣвѣкѣ.спрѣста.* (№ 17 — XIV—XV в.); *принѣи мн. цѣвѣкѣтѣ. на жерѣцѣтѣ.* (№ 43 — XIV в.; не начало века). Характерно, что во всех случаях сохранения старой формы при существительном нет притяжательного местоимения, употребление которого, как известно, оказывает задерживающее влияние на замену формы вин. падежа формой род. падежа. Это позволяет считать, что на рубеже XIV—XV вв. в живом новгородском говоре еще сохранялись формы старого вин. падежа ед. числа названий лиц, возможно, после определенного круга управляющих глаголов.

Конструкция, предполагающая упогребление формы дв. числа (от основ на -о), встретилась только один раз: *даѣтѣ сѣгда [д]ѣа лѣта* (№ 113); форма *[л]ѣа лѣтѣ* вместо правильной *дѣтѣ лѣтѣ*, возможно, позволяет датировать грамоту не XII в., а XIII в. (не раньше конца века), поскольку первый случай, свидетельствующий о процессе падения в новгородском диалекте форм дв. числа (среднего рода), встретился в новгородской грамоте 1270 г.: *даѣ за всѣ за те два сѣла.* В род. падеже мн. числа находим формы, отразившие влияние основ на -й (старые формы не представлены): *кѣз ѣмѣнѣковѣ* (№ 96 — XV в.); *и гѣтѣковѣ. изѣвѣлаѣѣтѣ* (№ 128 — XIV в.); *и долговѣ. изѣвѣлаѣтѣ.* (№ 128 — XIV в.); *давати оуслѣва* (№ 136 — рубеж XIV—XV вв.).

Из форм основ на -о мягкого различия отметим образованную под влиянием основ на -й форму дат. падежа *моужѣи* (№ 109), старую форму вин. падежа ед. числа от названий одушевленных предметов — не лиц и лиц: *кѣлѣ* (ѣ на месте ѣ) *коужѣи* (№ 109), *кѣнажѣ моужѣ кѣсѣдѣтѣ* (№ 109), формы местного падежа ед. числа, образованные под влиянием основ на -о твердого различия: на *защѣ* (№ 92); на *саѣрѣжѣ* (№ 92).

Не останавливаясь на местоимениях, именах прилагательных, приведем некоторые формы глаголов. Во 2-м лице ед. числа настоящего времени в обоих встретившихся случаях окончание -ши: *коужѣи поит[ш]* (№ 107 — XII в.); и *даговѣ. изѣвѣлаѣтѣи.* (№ 128 — XIV в.). Если нами верно восстановлена часть текста этой грамоты, то здесь следует также отметить и пример (глагол стоит в буд. времени): *[коужѣ поау]чѣше* (№ 128), где второе ѣ, по-видимому, на месте ѣ в результате графической мены ѣ и ѣ.

¹ См. В. И. Борковский, Синтаксис древнерусских грамот. (Простое предложение), Львов, 1949, стр. 44.

² У А. И. Соболевского приведены более поздние примеры (ср. А. И. Соболевский, Лекция по истории русского языка, 4-е изд., М., 1907, стр. 184).

³ См. А. А. Шахматов, Исследование о языке новгородских грамот..., стр. 200.

⁴ См. П. С. Кузнецов, Морфология. [Раздел в кн.: «Палеографический и лингвистический анализ новгородских берестяных грамот», стр. 107.

⁵ См. В. И. Борковский, указ. соч., стр. 369—370.

Окончание *-и* в форме *хцаши*, если грамота № 107 принадлежит XII в., свидетельствует в пользу мнения об окончании *-иш* как древнерусском, а не только древне-белорусском.

Наряду с формами 3-го лица ед. и мн. числа с *-ть* находим и формы без *-ть*, свойственные глаголам различных классов: *гѣм* (№ 97); *ѣ* (№ 109); *пещыи* (№ 129); *иѣ платѣ* (№ 99; грамота написана иностранцем)¹. Форма *ѣ* (3-е лицо ед. числа вспомогательного глагола) встречается в западнорусских памятниках, а также в живой белорусской речи². Отмечена она и в Новгородской граммологии XII в.³.

Господствующая в грамотах форма прошедшего времени — перфект (в 1-ом и 2-ом лице, как правило, в сочетании с формой настоящего времени вспомогательного глагола, в 3-ем лице — без вспомогательного глагола). Бесспорным случаем употребления аориста считаем следующий пример: *вѣзъмъши вѣда же прочь людѣмъ* (№ 119).

В примере, относимом к XIV в.: *ѣ доконцаху⁴ мыслѣтѣ дѣтѣ тѣмъ зъ краткѣ* (№ 136), мы видим аорист с окончанием имперфекта⁴. А. И. Соболевский выражает сомнение, по нашему мнению, вполне обоснованное, в том, что форма аориста на *-ху* существовала в живом говоре⁵.

Форма *доконцаху* встретилась в трафаретной формулировке, говорящей о законченном, ограниченном во времени действии. В грамотах на пергамене в сходных случаях от того же глагола *докончати*, имевшего, как мы полагаем, значение совершенного вида⁶, употреблены формы аориста⁷.

Представляют интерес встретившиеся случаи без *и* в окончании 2-го лица ед. числа повелительного наклонения (на его месте обычно *и*): *вѣржѣ знѣмѣши* (№ 99—XIV в. грамота написана не русскими); *иѣ хѣдѣ ко шѣдѣ* (№ 118—XII в.); *иѣ заѣдѣ дѣмѣ ѡ пѣзѣтѣ* (№ 122—XV в.); *ѣ нѣмѣ ѡспѣдѣи пѣлѣнѣ⁸ дѣтѣтѣ тѣмъ* (№ 135—XV в.). Можно думать, что в живой разговорной речи периода, представленного данными грамотами, нулевое окончание было распространено довольно широко. Форма *хѣдѣ* позволяет предположить для грамоты № 118 более позднюю датировку — XIII в.

В. И. Борковский

¹ Показательно, что формы без *-ть*, *-т* в глаголах различных классов отмечены в большом количестве пунктов территории, картографированной в «Атласе русских народных говоров северо-западных областей» (в частности, на территории бывшей Новгородской земли), сданном в печать Институтом языковедения АН СССР.

² См. Е. Ф. Карский, *Белорусы. Язык белорусского народа*, вып. 2—3, М., 1956, стр. 260.

³ См. E. Koschmieder, *Die ältesten Novgoroder Hirmologien-Fragmente*, Lief. 2, München, 1955, стр. 44.

⁴ Ср. А. И. Соболевский, *указ. соч.*, стр. 236.

⁵ Там же, стр. 237.

⁶ См. В. И. Борковский, *указ. соч.*, стр. 161.

⁷ См. там же, стр. 160—161.

⁸ Предполагаем, что *пѣлѣнѣ* на месте *вицѣнѣ* (графическое смешение *ѣ* и *ѣ*).

ГРАММАТИЧЕСКИЕ НАБЛЮДЕНИЯ НАД ИМЕНАМИ СОБСТВЕННЫМИ

В учебниках и пособиях по русскому языку обычно мало внимания уделяется именам собственным. Многие считают, что имен собственных в языке значительно меньше, чем имен нарицательных¹, в то время как на самом деле количество имен собственных, можно сказать, безгранично. Оно во много раз превышает количество имен нарицательных любого языка. Имена собственныи не всегда подчиняются грамматическим правилам, которые существуют для имен нарицательных. Поэтому о них следует говорить особо.

Употребление имен собственных нередко вызывает сомнения, ведущие к колебаниям и неправильностям в речи. Это касается преимущественно иностранных имен, заимствованных русским языком (хотя иногда спорные случаи возникают и при употреблении русских имен). Наибольшие трудности представляет вопрос, склонять ли их и если склонять, то как. Попадал в русский язык, иностранные имена собственные примыкают к одному из трех родов русского языка; при этом у географических названий (топонимика) и личных имен и фамилий (ономастика) это происходит не совсем одинаково. Решающим моментом для географических названий является совпадение окончаний заимствованных имен с окончаниями, типичными для одного из классов существительных русского языка. Так, названия *Берлин, Рейн, Париж* становятся именами мужского рода, *Генуя, Тирана, Висла* — женского рода, *Сараево, Валлео, Елзово* — среднего, и в данном случае совершенно не важно, что *Сараево* — город, а слово *город* — мужского рода. Такие названия в русском языке склоняются. Если указанного соответствия окончаний нет, род географического названия определяется только условно, по роду номенклатурного обозначения, с которым соотносится имя. Так, названия *Триполи, Хакодате, Аомори, Чарджоу* — мужского рода, потому что мужского рода слово *город*. Соответственно названия горы *Юнефрау* и реки *Янцзы* — женского рода, а озера *Эри* — среднего. Естественно, такие названия не склоняются.

Распределение имен личных и фамилий по родам связано в русском языке в первую очередь с их принадлежностью представителям женского или мужского полов. Собственно окончаниями здесь принадлежит уже второстепенная роль. Имя склоняется, если его окончание соответствует окончаниям одного из типов существительных, принадлежащих этому же роду. Например, имена мужского рода *Адольф, Тигран* склоняются, имена *Рене, Джузеппе, Марко* — не склоняются; женские имена *Луция, Сперанца* склоняются, имена *Мими, Маро, Лакме, Кармен, Ирен, Соледад, Долорес* — не склоняются.

В некоторых языках имена в «уменьшительной» форме могут принадлежать среднему роду: нем. *Karlchen*, болг. *Миче* (сокращение от *Мария*). В русском языке имена *Карачен* и *Миче* будут соответственно именам мужского и женского рода, так как русские собственные имена (ономастика) среднего рода не имеют.

Несклоняемость многих собственных имен создает неудобства и неясность в их употреблении, делает их непонятными без поддержки контекста. Поскольку вся система русского языка требует склоняемости имен, желательно, чтобы склонялось возможно большее количество заимствованных собственных имен. Поэтому не следует отказываться от склонения тех имен, которые подходят под привычные для русского языка типы склонений. Об этом писал еще Я. К. Грот, который придавал большое значение взаимосвязи между склоняемостью имени и его окончанием². Так, основываясь на склонении в русском языке слов типа *Генуя*³, *Капуя*, Я. К. Грот доказывал, что в именительном падеже окончания их должны быть *-я*, а не *-ча*, ибо последнее не соответствует никому-либо типу склонения в русском языке⁴. Точно так же в конце

¹ См., например, Е. М. Галкина-Федорук, К. В. Горшкова, Н. М. Шанский, Современный русский язык, М., 1957, стр. 200.

² См. Я. Грот, Филологические размышления, т. 2, 2-е изд., СПб., 1876, стр. 334—335.

³ Вопрос о том, как писать: *Генуя* или *Генуа*, возник потому, что это название заимствовано русским языком не из итал. *Genova*, а из нем. *Genoa*.

⁴ См. Я. Грот, указ. соч., стр. 345.

слова *a* после *и* всегда обращается в *я*: *Азия, Италия*¹. Помимо соображений, связанных со склоняемостью или несклоняемостью имен на *-ya, -ия*, в установлении формы их окончания в русском языке определенную роль играет и вопрос о влиянии, не свойственном фонетической системе русского языка. Одним из главных средств устранения влияния в заимствованных словах является интервокальный *j*. Таким путем *Италия* превратилось в *Италия, Мария* — в *Мария*.

Этому фонетическому закону русского языка подчиняются и некоторые грузинские (мегрельские) фамилии с окончанием *-иа*. Последнее, превращаясь в *-ия*, делает эту группу фамилий склоняемыми: *Герсалия, Гамсахурдия, Джикия*. С. И. Дanelia выступает против такого превращения. Он считает, что положение Я. К. Грота о превращении иноязычного конечного *a* после *и* в *я* не может быть основанием такого написания грузинских фамилий, поскольку Я. К. Грот руководствовался соображениями, связанными со склонением². С. И. Дanelia отрицает возможность склонения фамилий на *-а*, приравнивая их к грузинским фамилиям на *-и, -е* (*Чубинашвили, Салагадзе*), которые, как известно, в русском языке не склоняются, так как не соответствуют ни одному из типов русского склонения. Поскольку же форма *Герсалия* заставит, с одной стороны, склонять ее *и*, с другой, смешивать мужской род с женским³, С. И. Дanelia считает, что окончание таких фамилий в русском языке должно быть *-иа*, как он и пишет свою фамилию. По этой же причине он предлагает писать окончания другого вида мегрельских фамилий *-ya*, а не *-ya*: *Эсебуа, Гагуа, Дондуа, Хучуа*.

Нельзя, однако, ставить знака равенства как между окончаниями *-иа* и *-ya*, так и между этими двумя окончаниями и окончаниями *-и, -е*. Если фамилия с окончаниями *-и, -е* не соответствует ни одному из типов склонения в русском языке, то фамилии на *-а* очень близко соприкасаются с русскими словами на *-ия*, и при произношении между гласными *и* и *а* в них часто звучит *j*. Все это способствует объединению в русском языке мегрельских фамилий на *-иа* с русскими существительными на *-ия*, что определяет склоняемость этих фамилий и тип их склонения. Окончание же мегрельских фамилий *-ya* не следует передавать по-русски через *-ya*: такая замена выглядела бы очень искусственно, тем более что вообще средством устранения влияния в сочетании *и + а* является не *j*, а *и⁴* — звук, отсутствующий в литературном русском языке. Поэтому имена с окончанием *-ya* должны в русском языке сохранять свое окончание и остаться несклоняемыми.

Распространено мнение, что иностранные имена, оканчивающиеся на *-а* ударное, не склоняются. Однако это относится только к западным, преимущественно французским, именам: *Дюма, Гомб*. Турские и многие другие восточные имена, оканчивающиеся на *-а* ударное, нормально склоняются в русском языке. «Издавна такие слова, как *Бухара, Фергана, Теберда, Анкара* и т. п., склоняются... Нет основания делать исключение для слова *Алма-Ата*⁵, которое, согласно академической «Грамматике русского языка», является несклоняемым⁶, в то время как на практике слово это постоянно склоняют: *приехал из Алма-Аты; ездил в Алма-Ату* и т. п.

Что касается имен, оканчивающихся на *-о*, то Я. К. Грот отмечал, что *-о* в них часто не составляет приметы рода и склонения. По этой причине чувствуется неловкость, например, при употреблении в русском языке украинских фамилий на *-ко*. «Так как окончание *-ко* в мужском роде почти совершенно чуждо слуху великорусса, то он до сих пор все еще хорошо не знает, как ему поступать с такими именами. В обиходной речи он давно обратил и это окончание в знакомое ему *-ка*, с которым и склоняет их как имена женской формы: с *Шевченко*. Но на письме он еще до некоторой степени затрудняется так обращаться с ними... и старается по большей части вовсе не склонять их... Но избежать тут склонения чрезвычайно трудно, и потому многие пишут: *от Крамаренки, с Пащенко, через Безбородку*⁷, а не *от Никитенка, с Пащенко, через Безбородка*, что соответствовало бы склонению этих имен в украинском языке.

С изменением в разговорной речи *-ко* на *-ка*, чему немало способствует редукция безударных гласных в русском языке, фамилии этого типа начинают склоняться, однако в литературном русском языке эти фамилии должны оканчиваться на *-ко* как украинские и, следовательно, оставаться несклоняемыми: *Театр имени Тараса Шевченко*, а не *Шевченки* или *Шевченка*, хотя в разговорной речи вполне допустимы обе

¹ См. там же, стр. 341.

² См. С. И. Дanelia, К вопросу о русской транскрипции одной группы грузинских фамильных имен, ИАН ОЛЯ, 1950, вып. 5, стр. 402.

³ См. там же, стр. 404.

⁴ Ср. нем. *Genia* [gɛniə], *Padua* [páduwa].

⁵ В. А. Добромыслов и Д. Э. Розенталь, Трудные вопросы грамматики и правописания, М., 1955, стр. 39.

⁶ См. «Грамматика русского языка», т. I — Фонетика и морфология, М., Изд-во АН СССР, 1953, стр. 181.

⁷ Я. Грот, указ. соч., стр. 356.

эти формы как объединение со склонением *a*-основ русского языка или как влияние украинского языка¹.

Большинство иностранных географических названий, оканчивающихся на *o*, не склоняется, потому что это *-o* воспринимается в них как часть основы, а не как окончание среднего рода: *Бардо, Токио*. То же относится к названиям типа *Компурно, Брно*, несмотря на то, что в языко-источнике они склоняются, и на то, что люди, знакомые с чешским языком, иногда склоняют эти имена по чешскому образцу.

Неловкость возникает в отношении склонения некоторых русских фамилий, непривычных и нетипичных по своей внешней форме. Обычно это — именительный падеж существительных, употребляемых в русском языке в качестве имен нарицательных, например: *Жук, Кот, Тур, Жаба, Орлик, Карась, Окунь, Муха, Шурма, Веревка, Шкапулка, Ремень, Борода*². Склоняемость их как слов, вполне понятных и склоняемых в русском языке, кажется бесспорной. Однако сами носители этих фамилий, стараясь отмежеваться своей фамилией от имен нарицательных, нередко объявляют их несклоняемыми. Такого рода запреты являются искусственными, и фамилии этого типа должны склоняться.

При склонении некоторых из этих односложных фамилий (*Жук*) возникает вопрос, следует ли переносить ударение в них на окончание (*Жукá*) или сохранять его на корне (*Жука*)? Поскольку в современном русском языке слова *жук* и *Жук* являются омонимами, очевидно, закономерности ударения первого слова не должны обязательно распространяться на второе; ударение *Жука* поможет этому слову не смешиваться с именем нарицательным и в то же время позволит ему склоняться в соответствии с правилами русского языка.

Особо следует остановиться на составных именах, так как в них не всегда склоняются все компоненты; даже такие слова, которые по вышеупомянутым правилам следовало бы склонить, в составных именах могут остаться несклоняемыми. Так, сложные географические названия, синтаксическая конструкция которых неопытна с точки зрения русского языка (*Виндель-Заль, Кзыл-Орда, Гемир-Хан-Шура*), воспринимаются обычно как неразложимые. Поэтому в них склоняется лишь последний компонент (если его окончание соответствует одному из типов русского склонения), несмотря на то, что склоняться могли бы и предыдущие компоненты конструкции: в *Сент-Обане, из Сьюдад-Вольвара, в Сент-Аман-Мон-Роне*. Если же последний элемент такого названия не подходит под обычный для русского языка тип склонения, все название остается несклоняемым: в *Усть-Токко, близ Сент-Мари*.

Будут ли склоняться отдельные компоненты составных имен и фамилий, зависит не только от окончаний, но и от их общего облика и от того, воспринимаем ли мы каждый компонент как отдельную самостоятельную единицу или же весь комплекс представляется нам одним сложным именем. Мы говорим: у *Эрнста-Теодора-Амадея Гофмана, у Марии-Луизы Д'Арсонваль*, склоняя каждое имя отдельно, но у *Жан-Жака Руссо*, так как в последнем случае оба имени в связи с их частым употреблением именно в такой последовательности как бы превратились в одно целое, т. е. подверглись лексикализации. Некоторые сочетания иностранных имен и фамилий, часто употребляющиеся в русском языке, также подвергаются лексикализации, в результате чего все сочетание начинает восприниматься как единое целое, в котором склоняется только последний элемент, т. е. фамилия, хотя имя, взятое отдельно или в сочетании с другой фамилией, склоняется: *рассказы Брет Гарта, произведения Конан Дойла, у Жюль Верна* (но у *Жюль Мока*), *для Вальтер Скотта* (но для *Вальтера Уэльбриста*).

Особенно часто вопрос о склоняемости возникает по отношению к испанским именам и фамилиям, так как у испанцев, как правило, бывает не меньше двух фамилий и, кроме того, существуют составные имена: *Хосе-Мария Санчес-и-Гонсалес, Хосе-де-ла-Крус Гутьеррес-де-Васкес-и-Хельмирес, Венито Перес-Гальдос*. Здесь целесообразнее склонять только последний компонент имени и последний компонент фамилии, несмотря на то, что некоторые или даже все остальные компоненты, взятые сами по себе, поддаются склонению. Это поможет лучшему отделению во всем комплексе слов, относящихся к имени, от слов, относящихся к фамилии, а также поможет понять, что все эти имена принадлежат одному человеку, а не нескольким людям.

Переходя непосредственно к вопросу о том, как склонять собственные имена, отметим, что чаще всего он возникает для имен близко родственныи языков, отдельные материальные и структурные элементы которых понятны носителям русского языка. Таковы, например, чешские имена и фамилии с суффиксами *-ец, -ек*: *Немец, Колец, Вашек, Коржикек, Гавранек* и т. п. Основное затруднение здесь заключается в том, должен ли при склонении выпадать гласный суффикса или его лучше оставлять

¹ Академическая грамматика (стр. 182) допускает склонение фамилий этого типа, не делая при этом никаких оговорок.

² По происхождению это часто фамилии языков, близко родственныи русскому (белорусского, украинского, чешского, польского). В связи с материальной общностью корней русского и этих языков подобные фамилии обычно не кажутся заимствованными русским языком.

для сохранения близости этих имен в косвенных падежах к их исходной падежной форме. В чешском языке при склонении имен этого типа гласный *e* выпадает так же, как и в аналогичных словах русского языка (*кусочек* — *кусочка*, *купец* — *купца*). Быть может, стоило бы распространить это правило и на заимствуемые чешские имена и фамилии? Однако формы *Коржинка*, *Газранка*, *Вашка* выглядят в русском языке странно, поскольку их корневые морфемы чужды русскому языку. Такие слова обычно воспринимаются как единое целое без разложения на морфемы. Следовательно, и действие русского закона склонения слов с суффиксами *-ец*, *-ек* не обязательно распространяется на эти слова. Правильнее склонять подобные имена и фамилии, сохраняя в них *e* во всех падежах: *Коржинка*, *Вашка*. Что же касается имен и фамилий, внутренняя форма которых в русском языке понятна, их можно и должно склонять по правилу, общему для русских и чешских имен: *Немец* — *Немца*. В фамилиях, где гласным суффикса является *-и-*, последнее не выпадает при склонении ни в русском, ни в чешском языке: *Фучик* — *Фучика*.

Не всегда ясно также, как склонять фамилии с суффиксом *-онок* (часто белорусского происхождения): *Дзигел'нон*, *Орл'нон*, *Отдел'нон*, *Михайл'нон*. Здесь также возникают сомнения по поводу выпадения гласного суффикса: *Михайл'нона* или *Михайл'ника*? Поскольку эти фамилии в структурном отношении не представляют собой чего-либо, принципиально отличающегося от имен нарицательных с этим же суффиксом, склоняться они должны так же, как и аналогичные имена нарицательные: *Орл'нон* — *Орл'ника*, *Михайл'нон* — *Михайл'ника*, *Дзигел'нон* — *Дзигел'ника*.

Вопрос «как склонять?» возникает и по отношению к некоторым фамилиям, принадлежащим языкам, отдаленно родственным русскому. Это касается преимущественно форм творительного падежа. Русские фамилии в творительном падеже имеют окончания *-ым*, а географические названия — *-ем*; с *товарищем Львовым*, по *под городом Львовом*. Что же касается иностранных фамилий, окончания которых совпадают с русскими фамильными суффиксами, они склоняются в русском языке так же, как русские географические названия, т. е. как и прочие существительные, а не как фамилии, поскольку последние традиционно сохраняют в творительном падеже связь со склонением прилагательных, от которых они в свое время произошли. Иностранные же фамилии склоняются в русском языке как существительные, откуда такие пары, как с *Дарьиным* — с *Дарином*, с *Беловым* — с *Беловом*.

Как видно из всего сказанного, имена собственные, русские или заимствованные, ведут себя в грамматическом отношении, за исключением некоторых частных случаев, так же, как и нарицательные имена русского языка; им присущи те же грамматические категории, хотя проявляются эти категории порой несколько иначе, чем в нарицательных именах.

А. В. Суперанская

К ВОПРОСУ О СТЯЖЕНИИ ГЕРМАНСКИХ *ai*, *au*

Германские «старые дифтонги» *ai*, *au*, *eu* были двухфонемными¹. Об этом свидетельствуют следующие факты: а) их компоненты при словоизменении могли расчлениваться по различным морфологическим единицам; б) между компонентами могла проходить граница слога; в) в фонологических противопоставлениях компоненты вели себя подобно отдельным гласным фонемам данного языка; г) их компоненты (обычно первый) участвовали в правильных чередованиях, существовавших в данном языке; д) исторически они восходят к двум самостоятельным единицам; е) их средняя длительность равнялась сумме длительностей двух простых гласных данного языка; ж) в ходе исторического развития их компоненты претерпевали изменения, параллельные изменениям существовавших простых гласных данного языка.

Из трех дифтонгов *ai*, *au*, *eu* ниже подлбно рассматриваются только первые два, так как их судьба, в силу самого состава этих древних сочетаний, имела особенно много общего: в обоих дифтонгах в качестве первого компонента выступали переднеязычный или заднеязычный вариант \bar{a} . Так как сами по себе эти варианты не использовались в смысловозначительной функции (а только в сочетании с последующими *i*, *u*), то они и не осознавались как отличные от гласного, не претерпевшего ассимиляторного воздействия, и не находили отражения в письме. Такое положение непосредственно предшествовало слиянию двух фонем в одну. В условиях германского ударения это слияние осуществлялось вокруг слогового (ударного) компонента при ослаблении неслогового (безударного), причем последнее сопровождалось компенсационным усилением комбинаторной окраски в ударном. Когда же на месте прежних двух фонем образовывалась одна новал, ее первый компонент переставал восприниматься в качестве представителя фонемы \bar{a} , его ассимиляторное изменение начинало осознаваться разговаривающими и, наконец, находило отражение в письме (если тому не мешали особые условия).

Древнеанглийское \bar{a} из германского *ai*

Вопрос о развитии *ai* в древнеанглийское \bar{a} имеет длительную историю. Не ясно, почему древнеанглийская палатализация всякого германского *a*, затронувшая *ai* (др.-англ. *īa*), не коснулась как будто *ai*; если же первый компонент *ai* также был палатализован, то почему в результате стяжения получен звук \bar{a} заднего ряда? Проблема усложняется еще и тем, что уже в наиболее ранних памятниках древнеанглийского языка встречается только \bar{a} и, следовательно, промежуточные стадии теряются в доистории.

Точка зрения ранних исследователей, считавших, что здесь имело место простое поглощение (отпадение) неслогового компонента², подверглась обоснованной критике со стороны К. Лейка, предложившего следующую схему. Старое *ai* в результате ослабления безударного компонента превратилось в *ae*, а затем претерпело палатализацию первого компонента. Поскольку обе части *ae* в звуковом отношении были близки между собой, они диссимпировались, постепенно во второй части развился \bar{e} , затем *a*, после чего, в результате регрессивной ассимиляции внутри дифтонга, *ea* превратилось в *aa* > \bar{a} ³. Хотя до недавнего времени эта схема не подвергалась сомнению, мы со-

¹ См. В. Т r n k a, *Fonologický vývoj germánského vokalizmu*, «Časopis pro moderní filologii», ročn. XXII, číslo 2, 1936, стр. 156; см. также А. И. С м и р н и ц к и й, Вопросы фонологии в истории английского языка, «Вестник Моск.ун-та», 1946, № 2, стр. 81.

² См.: Н. S w e e t, *A history of English sounds from the earliest period*, [2-d ed.], Oxford, 1888, § 445; К. D. B ü l b r i n g, *Altenglisches Elementarbuch*, Teil I, Heidelberg, 1902, § 106.

³ См. К. L u i c k, *Historische Grammatik der englischen Sprache*, Bd. I, Abt. I, Leipzig, 1921, [обл.: 1914], § 122.

гласны с Л. Броснахамом, замечающим, что сложные построения Люнка не отличаются убедительностью¹.

Интересующий нас вопрос затрагивался в работах А. Кэмпбелла, который сначала пробовал объяснить образование \bar{a} так же, как Г. Суит и К. Бюльбринг², а затем прибавил к этому еще фактор времени: «В английском, после перехода \bar{a} в \bar{a} , был затронут первый элемент *ан.*. С другой стороны, в английском *ai* развилось в *a* до того, как первый элемент мог быть палатализован...»³ Однако, с фонетической точки зрения, комбинаторные условия в случае *ai* в большей мере благоприятствовали палатализации первого компонента, чем в случае *aa*. Что же касается раннего слияния *ai* в *a*, то нужно еще объяснить, почему в последующую эпоху это *a* избегало закономерной палатализации в \bar{a} .

Применение Л. Броснахамом данных экспериментальной акустики также оказалось бесплодным. Автор вынужден был признать, что «другие факторы, не вполне определимые при помощи акустического анализа, очевидно, принимали участие в развитии»⁴. Ниже мы попытаемся обнаружить эти факторы при помощи фонологического анализа. Исходная система долгих гласных западногерманской языковой общности⁵

$$\begin{array}{c} i \\ \bar{e}_2 \quad \bar{o} \\ \bar{a} (< \bar{e}_1; *anh; -\bar{a}ri < -\bar{a}rius) \end{array}$$

к началу англо-фризской палатализации всякого *a* (т. е. к III—IV вв.) претерпела изменения и имела вид:

$$\begin{array}{c} i \\ \bar{e}_2 \quad \bar{o} (< \bar{o}; \bar{a} + m, n; *-\bar{a}nh) \\ \bar{a} (< \bar{e}_1; \bar{a}ri) \end{array}$$

Палатализации *a* краткого и долгого, а также *a* в составе *ai* должна была относиться примерно к одной эпохе (тогда как в случае «старого» *ai* палатализация первого компонента могла задерживаться комбинаторными условиями внутри данного сочетания). Она привела к значительным изменениям всей системы гласных, причем для эволюции долгого вокализма важными явились два момента: а) с превращением *a* в \bar{a} система окончательно лишилась \bar{a} и становилась несимметричной, неустойчивой; б) появление $\bar{a}i$ на месте *ai* (или *ae* на месте *ae*, по Люнку) в последующее стяжение вокруг ударного компонента должно было с чисто фонетической точки зрения привести к слиянию нового комплекса с \bar{a} (из \bar{e}_1). Слияния, однако, не произошло, и задача состоит в том, чтобы объяснить это явление.

В общей форме решение намечено уже К. Люнком, который считал, что после появления *ae* (< *ai*) путь от него к \bar{a} вряд ли мог идти через ступень $\bar{a}e$, так как в этом случае звук мог совпасть с \bar{a} из зап.-герм. \bar{a} . Рациональное зерно трактовок Люнка состоит в предвосхищении неизвестных автору закономерностей фонологического порядка. Именно необходимо сохранять фонематическое различие между рефлексами германских \bar{e}_1 и *ai* препятствовало их слиянию в древнеанглийском. Историческое \bar{a} явилось следствием межфонемного «оттапливания» западногерманских \bar{a} и *ai*, последовавшего после того, как в результате англо-фризской палатализации долгого и краткого *a* и стяжения дифтонга *ai* они должны были чрезвычайно сблизиться в фонетическом отношении. В соответствии с общей тенденцией языка избегать слияния двух фонем образовавшийся из «старого» *ai* монофтонг занял пустующее место фонемы \bar{a} .

Явление межфонемной диссимилации в настоящее время хорошо известно и много раз наблюдалось в различных языках, в частности в верхненемецком⁶, скандинав-

¹ См. L. F. B r o s n a h a m, Some Old English sound changes, Cambridge, 1953, стр. 52.

² См. A. C a m p b e l l, Some Old Frisian sound changes, «Transactions of the Philological society», London, 1939, стр. 90.

³ Е го же, West-Germanic problems in the light of modern dialects, «Transactions of the Philological society», [London], 1947, стр. 12 (цит. по статье: R. V l e e s k r u y e r, A. Campbell's views on inguæonic, «Neophilologus», 1948, стр. 173).

⁴ L. F. B r o s n a h a m, указ. соч., стр. 55; ср. также стр. 100 и 117.

⁵ Ср. J. K u r y l o w i c z, The Germanic vowel system, «Biul. Polsk. t-wa językoznawczego», zesz. XI, 1952. Мы считаем западногерманское *a* звуком среднего ряда и видим основания для этого в двойственном характере его последующего развития — как в направлении переднего, так и в направлении заднего рядов.

⁶ W. W i l m a n n s, Deutsche Grammatik, Abt. I, 3-e Aufl., Strassburg, 1911, стр. 265; C. K a r s t i e n, Historische deutsche Grammatik, Bd. I, Heideberg, 1939, стр. 91; I. D a l, Die ahd. Diphthongierung von $\bar{e} > ia$, ie und $\bar{o} > io$ als Ergebnis einer sog. «détresse phonologique», «Archiv für das Studium der neueren Sprachen», Bd. 188, 1951; J. F o u r q u e t, The two *e*'s of Middle High German: a diachronic phonemic approach, «Word», vol. 8, № 2, 1952, стр. 124.

ских¹ и др. Условия развития древнеанглийского долгого вокализма благоприятствовали такой диссимилляции. С одной стороны, заволаживалось вакантное место *a*, что должно было сочетаться с общей тенденцией развития, поскольку система при этом снова становилась симметричной и устойчивой²:

$$\begin{array}{ccc} \bar{i} & & \bar{u} \\ \bar{e}_2 & \text{---} & \bar{o} \\ & \text{---} & \bar{a} \end{array}$$

С другой стороны, существовало значительное число словарных пар, у которых единственным средством смысловоразличения было различие корневых *ai* и *i*, и межфоновая диссимилляция удовлетворяла естественному стремлению разговаривающих избегать омонимии³.

Поскольку палатализация *a* в составе *ai* совершалась примерно в одно и то же время, что и палатализация отдельного *a*, то отмеченное межфоновое «отталкивание» могло наступить не позже IV в. Во всяком случае, к середине V в. в прадревнеанглийских диалектах уже следует считаться с наличием *a* на месте *ai*. Это согласуется с мнением тех исследователей, которые переход *ai* > *a* относят к поздним англо-саксонским новшествам⁴.

История *ai*, *au* в древневерхненемецком

В древневерхненемецком языке, если развитие не осложнялось влиянием последующих согласных, удерживалось дидеятвическое соотношение: *ai*, *au* > *ei*, *oi*. В положении же перед определенными согласными произошла монофтонгизация: *ai* > \bar{e} перед *h*, *r*, *v*; *au* > \bar{a} перед *t*, *d*, *n*, *l*, *r*, *s*, *z*, *h*.

Долгие *e*, *o* на месте *ai*, *au*. Перед указанными согласными со временем на месте *ai* появляются рукописные *ae*, \bar{e} , \bar{e} , *e*, на месте *au* появляются *ao*, *oa*, \bar{a} , *o* (редко *oo*). Каким путем шло здесь развитие? Типичными для младограмматиков являются схемы Г. Беэке: *ai* > \bar{a} > \bar{e} (> \bar{i}) и *au* > \bar{a} > \bar{a} (> \bar{u})⁵. Однако и прогрессивная ассимиляция в области гласных (первый этап обеих схем), и регрессивная ассимиляция под влиянием ослабленных *e*, *o* (второй этап) плохо вяжутся с закономерностями развития верхненемецкого и в целом германского вокализма. Не подтверждаются они и формами памятников. Взяв хотя бы случай *ai* > \bar{e} . Г. Беэке считает написание *ae* дифтонгом и видит основания 1) в «параллельном развитии *ai* > \bar{a} > \bar{e} », 2) в рукописной форме \bar{e} , которая, по его мнению, отличается интересующий нас комплекс от латинского монофтонга *ae*, и 3) в том, что «единственный путь от *ai* к \bar{e} ведет через дифтонг *ae*». Но первый и третий доводы не имеют никакой доказательности, а второй — крайне противоречив. По сути для написания *ae* допускается двойное чтение: как монофтонг в латинских словах и как дифтонг в немецких, что мало вероятно для эпохи фонематических алфавитов.

В этой связи важными представляются следующие факты: 1) нередко в одной и той же рукописи наряду с *ae* встречаются написания *e*, \bar{e} ; 2) в глоссах, где латинские слова писались рядом с немецкими, то же буквосочетание *ae* должно было изображать весьма близкие звучания. Вот почему есть больше оснований считать, что посредством *ae* и в немецких словах изображался если еще и не монофтонг переднего ряда, то во всяком случае дифтонгический комплекс, первым элементом которого был уже палатальный звук. Написание же \bar{e} , которое девять раз (наряду с 32 *ae*, 3 \bar{e} , 9 *e*) встречается в первой части списка имен «Книги Зальцбургского братства», также свидетельствует скорее о том, что главная роль в рассматриваемом комплексе принадлежала палатальному звуку.

Это подтверждается и фонологическим анализом. Исходя из двухфоновости старых *ai* и *au*, мы считаем, что в эпоху, предшествовавшую их стяжению в монофонемы,

¹ М. П. Стеблн-Каменский, История скандинавских языков, М.—Л., 1953, стр. 129 и 135.

² О подобных явлениях в других языках см.: И. М. Тронецкий, Очерки из истории латинского языка, М.—Л., 1953, стр. 236; J. Fouquet, указ. соч., стр. 123.

³ См. Н. А. Слюсарева, Фонемы \bar{a} и \bar{e} в древнеанглийском языке, «Уч. зап. [1-го Моск. гос. пед. ин-та иностр. языков]», т. VII, 1955.

⁴ См. E. Schwarg, *Goten, Nordgermanen, Angelsachsen*, Bern — München, 1951, стр. 265—266 (рис. 16).

⁵ G. Baesetke, *Einführung in das Althochdeutsche*, München, 1918, §§ 18, 19

эти дифтонги представляли собой сочетания $a^e + i$ и $a^o + u$, где a^e и a^o — соответственно переднеязычный и заднеязычный вариант фонемы a^1 . В случае ai , благодаря воздействию h , r , w^2 , второй компонент дифтонга превращался в гласный среднего подъема, причем аналогично тому, как это происходило при германских перегласовках³, ослабление безударной фонемы i (и, значит, потери одних различительных возможностей) сопровождалось компенсационным усилением палатальной окраски в ударной фонеме (т. е. появлением других смысловоразличительных возможностей). Когда же оба компонента перестали восприниматься в качестве представителей фонем a и i , они образовали новую монофону типа $*ae$, части которой в фонетическом отношении оказались чрезвычайно близкими и вскоре слились в e открытого качества. В случае au фонологические преобразования аналогичны. Обычно считают, что под воздействием дентальных h , r , l и h безударная фонема терила узкую заднеязычную артикуляцию, приближался к гласному среднего подъема, т. е. к o . Одновременно усиливалась заднеязычная окраска в ударной фонеме. Когда же, в результате длительного развития, обе части старого дифтонга перестали восприниматься в качестве представителей фонем a и u , они образовали монофону типа o , части которой были настолько близкими в фонетическом отношении, что затем слились, образовав o открытого качества.

По Безеке, написание ao передает дифтонг. Подобное же мнение встречаем и у Беахагеля⁴. Однако хотя диграф ao до начала IX в. — обычная форма баварских рукописей, он почти не встречается в алеманнских и франкских памятниках, где стоит просто o . Вместе с тем параллельно с ao встречается oa , oa' например, *Oalmār* в Фрейзингерских документах). Вот почему вся совокупность форм говорит скорее о том, что перед нами не дифтонг типа ao , а оформляющийся монофтонг открытого качества⁵, в связи с чем отдельные «ибибические» наращения oa' получают объяснение.

Дифтонги ei , oi на месте ai au . Существо изменений герм. ai , au ; др.-в.-нем. ei , oi состояло в том, что и здесь, как в случае комбинаторного стяжения (см. выше), первоначальное сочетание двух фонем превращалось в единую, хотя и сложную фонему; при этом менялись прежние отношения между фонемами a , i , u и преобразовывалась вся система гласных фонем. Указанное слияние, связанное с действием германского ударения и с общей тенденцией к редукции безударных частей слов, должно было происходить вокруг ударной фонемы при ослаблении безударной. Последнее же меняло условия существования ударной фонемы, переднеязычная окраска в ней усиливалась и, когда первый компонент переставал наконец восприниматься в качестве представителя фонемы a , результаты фонетического развития отражались и на письме.

Принципиальное отличие др.-в.-нем. ei , oi и старых ai , au видно из следующего: 1) между компонентами ei , oi невозможен слогораздел, тогда как в старых сочетаниях фонем он возможен, например, санскр. *trayas*, гот. *tawida* и др.; 2) развитие компонентов ei , oi не находит параллелей в развитии соответствующих монофтонгов; так, к концу древневерхнео-саксонской эпохи на месте ei , oi снова появляются ai , au , однако ни в случае двух кратких фонем e , ни в случае краткого o подобного расширения не наблюдалось; 3) если бы взаимоотношения между компонентами др.-в.-нем. ei были те же, что и в случае общегерм. ei , то в эпоху верхнемецкого умлаута следовало бы ожидать сужения первой части дифтонга; ср. общегерм. $ei > ii > i$; в действительности же, как мы видели, первый компонент расширялся.

Развитие $ai > ei$ не могло произойти иначе, как при значительной редукции безударной и соответствующем расширении ударного компонентов. Остается, однако, непонятным, почему второй элемент здесь все же сохранился, хотя и на правах пазвука единой фонемы-дифтонга. По-видимому, перед нами чисто верхнемецкая особенность (ср. др.-англ. a , др.-сакс. \ddot{e} , др.-фриз. \ddot{e} , \ddot{a}). Ответ следовало бы искать как в относи-

¹ Интересные косвенные доказательства см.: W. Wiget, *Altgermanische Lautuntersuchungen* («Acta et commentationes universitatis Dorpatensis», B — Humaniora, II, 3), Dorpat (Tartu), 1922, стр. 18, 25.

² Такое воздействие в рассматриваемую эпоху свойственно почти всем германским языкам (см.: Э. П р о к о ш, Сравнительная грамматика германских языков, М., 1954, § 42; М. И. С т е б л и н - К а м е н с к и й, указ. соч., стр. 10 — 106; Н. С. W y l d, *A short history of English*, 3-d ed., London, 1927, § 1(2, note 2).

³ См.: М. И. С т е б л и н - К а м е н с к и й, указ. соч., стр. 107 — 108; Н. P e n z l, *Umlaut and secondary umlaut in Old High German*, «Language», vol. 25, № 3, 1949.

⁴ Существует и другое мнение: редукция была повсеместной, но последующие губные и гуттуральные содействовали сохранению u . В этом случае не учитывается, что развитие перед определенными согласными опережало развитие в остальных положениях, т. е. что роль согласных была, по-видимому, активной, а не сдерживающей.

⁵ О. В е h a g h e l, *Geschichte der deutschen Sprache*, 5-e Aufl., Berlin—Leipzig, 1928, стр. 316.

⁶ См. W. Wiget, указ. соч., стр. 26—27.

⁷ См. J. S c h a t z, *Altbairische Grammatik*, Göttingen, 1907, стр. 22.

тельно меньшей силе редукции безударного вокализма (она тормозилась своеобразным развитием грамматического строя, полное сохранявшим старую флексию), так и в закономерностях развития всей системы древневерхненемецких долгих гласных фонем. Использование в отдельных случаях *e* на месте *ei* в рукописях, например, 26 *e* в Санкт-Галленской рукописи Глоссария Керона (алеманнский диалект, около 760 г.), по-видимому, отражает разговорное произношение и может служить дополнительным свидетельством того, что в др.-в.-нем. *ei* второй элемент уже не был самостоятельной фонемой (как в старом сочетании $a + i$) и потому в живой речи легко мог не замечаться.

Итак, несмотря на внешние различия, внутреннее содержание обеих линий развития в древневерхненемецком языке было одинаковым: две старые фонемы слились в одну новую. Непонимание качественной разницы между германскими и древневерхненемецкими дифтонгами, обнаруживаемой при помощи фонологического анализа, неизбежно ведет к ошибке. Так, В. Вигет, анализируя карту современных швабских диалектов, где встречаются рядом районы с дифтонгами и районы с монофтонгами на месте др.-в.-нем. *ei*, справедливо заключил, что монофтонгизация здесь состояла в том, что «первый компонент дифтонга расширяет свою протяженность за счет второго и постепенно совершенно вытесняет последний»¹. Однако он сделал ошибочный вывод, будто этим же путем развивались и монофтонги из старых *ai*, *au*, например: др.-англ., др.-фриз. $a < ai$; др.-сакс., вост.-сканд. $i < ei$; др.-в.-нем. $\bar{e} < ei < ai$ (перед *h*, *r*, *w*)². Возможность простого поглощения второго компонента при развитии *ai* в древнеанглийском подробно критиковалась выше и должна быть отклонена. Схема же $ai > ei >$ др.-в.-нем. \bar{e} не учитывает, что монофтонгизация перед известными согласными опережала появление *ei* из *ai* в остальных случаях. Ссылка Вигета на Вильманнса является явной перекладкой, ибо последний вовсе не считал стадию *ei* промежуточной при развитии от *ai* до \bar{e} . «Несколько раньше, чем появились *ei* и *ou*, — писал Вильманнс, — старые дифтонги в известных условиях превратились в простые гласные \bar{e} и \bar{u} , а это предполагает, что не только второй компонент приблизился к первому, но и первый ко второму»³. Позже, в отдельных средненемецких диалектах, добавляет автор ниже⁴, *ei* и *ou* самостоятельно монофтонгизировались; однако речь здесь идет уже не о развитии перед *h*, *r*, *w* и имеется в виду совершенно иная эпоха.

Я. Б. Крупаткин

¹ W. W i g e t, указ. соч., стр. 16.

² Там же.

³ W. W i l m a n n s, указ. соч., § 185, 2.

⁴ См. там же, § 187, Anm. 2.

О ТИПАХ СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ФОРМЫ СЛОВ

(На материале современного немецкого языка)

По типу словообразовательной формы принято делить все слова современного немецкого языка на три группы: простые, производные и сложные. Такого деления придерживаются не только большинство немецких лингвистов, но и наши языковеды¹, и оно глубоко вошло в практику преподавания немецкого языка. Между тем изучение образования лексических единиц типа *Eisbrecher* «ледокол», *Indbetriebsetzung* «пуск в ход», *Klavierspieler* «пианист», *blauäugig* «голубоглазый», известных под именем сравнений², вызывает сомнение в правильности данного деления.

Лексические единицы типа *Eisbrecher* «ледокол», *Klavierspieler* «пианист», *Gesetzgebung* «законодательство», *langköpfig* «с длинной носой (косами)», буквально «длинноносый», характеризуются имением тем, что при их образовании одновременно происходят два взаимодействующих словообразовательных процесса, в равной степени важных для оформления их как лексических единиц. Так, при образовании слова *Eisbrecher* происходит не только соединение основ *eis-* и *brech-*, но и оформление целого при помощи суффикса *-er*. Само по себе сочетание *eisbrech-* — это не слово, а только грамматически и семантически не оформленная часть слова (подобно тому, как в русском языке *орденнос-*, *многотим-* также не являются словами без соответствующих суффиксов).

Еще нагляднее видна роль суффиксации при образовании рассматриваемых лексических единиц, если сопоставить такие из них, как, например: *Gesetzgeber* «законодатель» и *Gesetzgebung* «законодательство». В зависимости от суффикса образуются совершенно различные лексические единицы, обозначающие разные, хотя и относящиеся к одной сфере или одному кругу явления (действующее лицо и процесс действия). Следовательно, нет оснований для того, чтобы умалять значение одного из процессов, происходящих при образовании этих слов: как словосложение, так и словопроизводство (в данных примерах — суффиксация) одинаково важны для образования их.

Эта черта — взаимодействие двух словообразовательных процессов — и является тем основным отличительным признаком (и, по-видимому, единственным), по которому интересующие нас лексические единицы выделяются в отдельный тип слов и по наличию которого их и следует называть сложнопроизводными словами, как это предлагает К. А. Левковская³. Хотя этот термин и не принят для обозначения данных образований немецкого языка, он является единственно правильным, так как ясно указывает на их специфику⁴.

Но если это сложнопроизводные слова, т. е. слова, при образовании которых происходит два словообразовательных процесса, то их нельзя считать ни сложными, ни производными, ибо при формировании как сложных, так и производных слов происходит только один процесс. Так, при образовании сложных слов происходит сложение основ или форм слов, а производные слова получают посредством ирефиксации и суффиксации. Их также нельзя одновременно относить ни к сложным, ни к производным, так как при этом (кроме стирания грани между обеими группами) нарушается одно из правил деления объема понятия: если одни и те же лексические единицы отнести как к сложным, так и к производным словам, объем целого будет меньше объема всех частей (простых, производных и сложных слов).

¹ См., например, М. Д. Степанова, Словообразование современного немецкого языка, М., 1953, стр. 57—59.

² Мы сознательно не употребляем этот термин, так как, кроме его неопределенности, у разных языковедов под ним понимаются совершенно разные образования. Ср., например, М. Д. Степанова, указ. соч., стр. 79 и Л. А. Булаховский и Н. Нариси энциклопедия мовознавства, Київ, 1955, стр. 169.

³ См. К. А. Левковская, [Рец. на н.:] М. Д. Степанова, Словообразование современного немецкого языка., ВП, 1955, № 1, стр. 151.

⁴ Взаимодействие словосложения и словопроизводства не ускользнуло от внимания отдельных немецких лингвистов, которые учитывали его, хотя и непоследовательно. См., например, Н. Пауль, Deutsche Grammatik, Bd. V, Halle a. S., 1920, стр. 131.

Из сказанного следует, что все слова по типу их словообразовательной формы следовало бы делить не на три, а на четыре группы: 1) простые: *Tisch, Nacht, gehen, gut, zwei*; 2) производные: *lehrer, vergehen, Eisenbahner*; 3) сложные: *Wanduhr, Fünfjahrplan, dunkelblau, blutjung*; 4) сложнопроводные: *Eisbrecher, Inbetriebsetzung, Schlafengehen, blauäugig*.

Отнесение слова к той или иной группе, т. е. определение типа его словообразовательной формы зависит от того, какой процесс (или процессы) происходит при образовании данного слова, а не тех слов, на базе которых оно образовано. Так, хотя слово *Ofensitzer* само по себе сложнопроводное, образованное от него слово *Ofensitzerin* следует считать производным, так как при его образовании происходит только суффиксация.

При делении всех слов по типу словообразовательной формы на четыре группы (простые, производные, сложные и сложнопроводные) не только устраняются путаница и противоречия, но и проводится вполне удовлетворительная классификация, при которой соблюдаются все правила деления объема понятия: 1) деление проводится по одному в тому же ведущему признаку — по способу словосложения; 2) члены деления, т. е. все четыре группы, взаимно исключают друг друга (в разряд сложнопроводных слов попадают все слова, образованные путем словосложения и словопроизводства; к разряду сложных слов относятся слова, образованные только путем словосложения, к разряду производных — путем словопроизводства); 3) объем всех четырех групп равен объему всего словарного состава языка.

В свете сказанного может быть рассмотрен вопрос о типах словообразовательной формы слов и в других индоевропейских языках, в том числе и в русском. В последнем также имеются слова, при образовании которых происходят одновременно два словообразовательных процесса. Таким путем в русском языке образуется большое число существительных и прилагательных (*арденносец, вакуумовитель, алопыхатель, амле-ройка, пятитомный, трехдесный*), но их специфика, как это правильно отмечает В. П. Григорьев¹, совершенно недостаточно учитывается в общих грамматических руководствах по русскому языку.

С точки зрения словообразовательной формы этих слов нет, очевидно, достаточных оснований для того, чтобы считать их сложными. Суффиксация и здесь не менее, если не более, важный процесс, чем словосложение. Следовательно, и в русском языке все слова следовало бы делить на простые (корневые), производные, сложные и сложнопроводные (суффиксально-сложные).

Г. Ф. Ференц

¹ См. В. П. Григорьев, О границах между словосложением и аффиксацией, ВЯ, 1956, № 4, стр. 43.

О ДВУХ ПРЕДЛОГАХ *unter* В СОВРЕМЕННОМ НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКЕ

Обычно предлог *unter* рассматривается в зарубежной и советской лексикографической практике, равно как и в различных трудах и пособиях по грамматике современного немецкого языка, прежде всего как предлог, соответствующий по значению русскому предлогу *под*, французскому *sous*, латинскому *sub* или *infra* и т. д. Тем самым значение «под» признается если не единственным, то, по крайней мере, основным значением этого предлога. Однако, кроме случаев, в которых *unter* обнаруживает значение «под», можно встретить и другие, где *unter* имеет значение «между, среди». Например: 1) *Es wäre schon besser gewesen, meinte er, er hätte bei dieser Diskussion unter den Dozenten mehr Rückgrat bewiesen*¹ «Но его мнению, было бы лучше, если бы он проявил больше упрямства во время этой дискуссии среди преподавателей»; 2) *Unter ihnen waren Herbert Kowa ski und Susi He'm* «Среди них были Герберт Ковальски и Сузи Гельм». Возникает вопрос, имеем мы здесь дело с многозначностью одного и того же предлога или с омонимией?

Если признать *unter* в значениях «под» и «среди» одним и тем же словом, то неясно, в каком отношении находятся эти значения. Является ли значение «под» исходным для развития значений «между, среди» или наоборот?

Попытки вывести эти значения одно из другого не увенчались успехом. Некоторые исследователи приходят к выводу, что в немецком *unter* совпали два индоевропейских слова: **qdh̥er* и **qter* (отразившиеся в латинском языке соответственно как *infra* «под» и *inter* «между, среди»²). Это совпадение произошло, очевидно, еще в общегерманскую эпоху. Ход фonetического развития индоевропейских слов **qdh̥er* и **qter* можно представить себе так: и. -е. **qdh̥er* > герм. **undar* (гот. *undar*, др.-исл. *undr*, др.-в.-нем. *untar*), где и. -е. *q*-закон мерно дал общегерманское *u*-, а и. -е. *dh̥*-дало общегерманское *-d-*, перешедшее по верхнегерманскому передвижению согласных в *-t-*; и. -е. **qter* > герм. **unfar* (др.-нем. *untar*), где слоговой *n*-развился в *u*-, а и. -е. *-t-* дало общегерманское *-f-* по первому передвижению согласных с последующим озвончением *-f-* в *-ð-* и ассимилятивным превращением спиранта *-ð-* во взрывной *-d-*, который в древневерхнегерманском давал *-t-*³.

Таким образом, история языка доказывает истинное различие между *unter* «под» и *unter* «между, среди», ставшими омонимами в силу спонтанного развития своих звучаний. О том, что *unter* «под» и *unter* «между, среди» — разные слова, свидетельствуют и особенности употребления каждого из них в современном немецком языке. *Unter* «под» употребляется, как и многие другие предлоги, с дательным или винительным падежом имени или местоимения единственного и множественного числа в зависимости от того, что обозначает вводимая предлогом группа: положение в пространстве или направление движения.

Ср., например: 3) *In ihrer Dachkammer war die Temperatur bisweilen auf zehn Grad unter dem Gefrierpunkt gesunken* «В ее комнате на чердаке температура иногда опускалась до десяти градусов ниже нуля»; 4) *Sie blieben einmal unter einer Gaslaterne stehen* «Один раз они остановились под фонарем»; 5) ... *und ihr Ergebnis könnte leicht sein, dass sich jemand unter Druck gesetzt fühlt* «... и в результате этого кто-нибудь, возможно, почувствовал бы, что его принуждают...». Из этих примеров видно, что *unter* «под» сочетается с личными местоимениями (*unter ihnen*), с существительными, обозначающими конкретные предметы (*unter einer Gaslaterne*), и может быть употреблено метафорически, не передавая в сочетании с именем или местоимением пространственных отношений (*unter dem Gefrierpunkt, unter Druck*).

¹ Приводимые в статье примеры 1—6 взяты из книги современного немецкого писателя Э. Леста «Год испытаний» [E. L o e s t, Das Jahr der Prüfung, Halle (Saale), 1954].

² См.: O. Behaghel, Die Syntax des Heliand, Wien, 1897, стр. 152; J. und W. Grimm, Deutsches Wörterbuch, Bd. XI, Abt. III, Leipzig, 1931, стр. 1452; F. Kluge, Etymologisches Wörterbuch der deutschen Sprache, bearb. von A. Götz, 11-е Aufl., Berlin—Leipzig, 1934, стр. 643.

³ См. Э. Прокопи, Сравнительная грамматика германских языков, перевод с англ., М., 1954, стр. 73 и сл.

Обратимся к предлогу *unter* «между» и рассмотрим на примерах особенности его употребления. 6) ...*dass sie durch das Angebot ihrer Hilfe das Gefühl unter den jungen Studenten erweckt haben, dass sie nicht allein standen* «...что они, предложив свою помощь, пробудили в молодых студентах чувство солидарности»; 7) *Es ist wohl keiner unter uns, der sich von diesem Abend nicht auch eine andere Seite erhoffen würde...*¹ «Среди нас нет никого, кто не возлагал бы на этот вечер и других надежд. Ср. также 8) *Nicht unter dem Militär gebraucht werden* «не употребляться в армии»; 9) *Uneinigkeit unter die Gesellschaft bringen* «вносить в общество разброд»; 10) *Ideen unter das Publikum ausbreiten* «распространять среди публики идеи».

Эти примеры показывают, что *unter* «среди, между», в отличие от *unter* «под», сочетается только с винительным и дательным падежом множественного числа существительных и личных местоимений (*unter den Dozenten, unter den jungen Studenten, unter uns, unter ihnen*) и с теми же падежами собирательных существительных (*unter dem Militär, unter die Gesellschaft, unter das Publikum* и т. д.).

Подобная сочетаемость предлога *unter* «среди, между» только с существительными и местоимениями во множественном числе и существительными собирательными, обусловленная лексическим значением самого предлога, свидетельствует о различии между *unter* «под» и *unter* «среди, между» не только в отношении семантики предлогов, но и в отношении их лексико-фразеологических связей.

Таковы некоторые результаты наблюдений над употреблением предлога *unter* в современном немецком языке, которые привели автора к убеждению, что в немецком языке существуют омонимичные предлоги *unter* «под» и *unter* «среди, между», причем *unter*² встречается реже, чем *unter*¹. Факт существования различных по своему происхождению, значению и лексико-фразеологическим связям предлогов *unter*¹ и *unter*², несомненно, должен учитываться при составлении словарей и преподавании немецкого языка.

М. В. Раевский

¹ Седьмой и последующие примеры цитируются по указ. словарю Н. и В. Гриммер (см. стр. 1475—1479).

ОПЫТЫ МАШИННОГО ПЕРЕВОДА

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ СИНТАКСИСА В СВЯЗИ С МАШИННЫМ ПЕРЕВОДОМ
С АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА НА РУССКИЙ

Настоящая статья представляет собой описание некоторых предварительных исследований, которые ведутся для выработки правил машинного перевода с английского языка на русский. Надо отметить, что основные трудности проблемы машинного перевода связаны не с технической, а с лингвистической его стороной. Лингвистика должна предложить такое решение этой проблемы, которое обеспечивало бы возможность полного перевода разнообразного материала без предварительной его обработки и перестройки в зависимости от лексических и грамматических особенностей того языка, на который делается перевод.

Лингвистическая проблема включает в себя следующие вопросы: 1) орфографию (этот вопрос важен в связи с тем, что машинный перевод, по крайней мере на первых порах, имеет дело с графической формой языка); 2) морфологию; 3) лексикологию (составление словарей особого типа); 4) фразеологию (в этом разделе важнее всего вопросы полисемии и идиоматики); 5) синтаксис.

При переводе с английского языка наибольшие трудности представляют два последних вопроса, так как они касаются тех сторон и явлений языка, которые создают самые серьезные препятствия для проведения формального анализа. Особенно большие затруднения возникают при разрешении синтаксических проблем. Это объясняется тем, что для формально-морфологического анализа имеется очень мало данных: английский язык беден словосменительными формами, среди грамматических суффиксов наблюдается омонимия, очень продуктивно такое средство словообразования, как конверсия.

Цель проведенного нами исследования состояла в следующем: выяснить, какие модели простейших свободных сочетаний слов существуют в английском и русском языках, а затем установить соответствие между ними. Если удастся установить тип русских словосочетаний, соответствующих каждому английскому типу, то перевод можно будет осуществить следующим образом: английское предложение подвергается анализу (выделение простейших свободных сочетаний), а затем из русских сочетаний, соответствующих данным английским, синтезируется русское предложение. При этом мы допускаем, что любое предложение может быть разложено на простейшие словосочетания. Это допущение подкрепляется синтаксической теорией так называемого синтагматического анализа¹, согласно которой основной синтаксической единицей является синтагма. Такой анализ дает возможность разложить английское предложение на синтагмы, а затем синтезировать из отдельных переведенных синтагм русское предложение.

Но отношение определяемого и определяющего, характеризующее синтагму, не исчерпывает всех отношений между словами в предложении. Существуют, например, сочинительные сочетания (*белый и красный; боится, но идет*). При анализе в синтезе предложений необходимо учитывать такие сочетания, также как и подчинительную связь, выходящую за пределы одного предложения (например, абсолютный причастный оборот в английском языке). Поэтому мы рассматриваем не только синтагмы, но все возможные типы свободных сочетаний слов в английском и русском языках.

Что представляют собой эти типы, или модели, свободных сочетаний слов? Это не группы слов как таковых, а сочетания, состоящие из классов слов, расположенных в определенном порядке и имеющих определенное грамматическое оформление. Например, прилагательное + существительное, согласованные в роде, числе и падеже (*глубокий снег*); переходный глагол + существительное в вин. падеже (*писать письмо*). Необходимо определять, какие классы слов могут соединяться между собой, в какой последовательности и при помощи каких грамматических средств. Чтобы выяснить эти

¹ См.: С. И. Карцевский, Повторительный курс русского языка, М.—Л., 1928, стр. 24—36 (гл. II); А. А. Реформатский, Введение в языковедение, М., 1955, стр. 252—259.

вопросы, прежде всего нужно распределить все слова по классам. Традиционная классификация по частям речи оказывается неудовлетворительной, так как в ряде случаев она опирается на значение слова, а не на чисто формальные признаки. (Например, в такие части речи, как местоимения и наречия, объединяются формально разнородные группы слов). Поэтому для целей машинного перевода мы выбираем другую классификацию: слова разбиваются на классы по признаку одинакового окружения¹.

Выделенные классы слов частично совпадают с теми, которые рассматриваются в так называемом структуралистическом языкознании, в частности, с формальными классами Блумфилда и Фриеса². В один класс объединяются все слова, занимающие ряд одинаковых положений в предложении. Например, к классу глаголов в английском языке принадлежат слова, характеризующиеся следующими особенностями: им может предшествовать существительное или личное местоимение в общем падеже, с которым они согласуются в числе; за ними может следовать существительное или личное местоимение без предлога (последнее в объектном падеже), существительное или личное местоимение с предлогом, предлогообразное наречие, прилагательное, причастие I на *-ing* и т. д.

Всего было выделено 19 классов слов в английском языке и 17 — в русском. При этом внутри некоторых классов возможны подклассы. Условимся обозначать каждый класс определенным индексом. Тогда наша классификация слов будет выглядеть следующим образом:

- | | |
|--|---|
| 1. 1 — существительные | к) 2 ^{ing} — причастие I (активное) |
| 2. P — личные местоимения | л) 2 ^{ed} — причастие II (пассивное) |
| 3. I ^{so} — безличное местоимение <i>it</i> | м) 2 ^m — модальные глаголы |
| 4. 1 th — обстоятельственные наречия или существительные, употребляемые в функции обстоятельство времени (например, <i>Next morning we shall go to the country</i>). | 6. 3 — прилагательные (в русском языке выделяется подкласс кратких прилагательных — 3 ^e) |
| 5. 2 — глаголы | 7. 4 — обстоятельственные наречия |
| а) 2 ^a — глаголы, после которых употребляется так называемый объектный предикативный член | 8. 4 ^x — качественные наречия, большей частью на <i>-ly</i> (в английском) и <i>-o</i> (в русском) |
| б) 2 ⁺ — переходные глаголы | 9. 4 ^w — предлогообразные наречия (только в английском языке) |
| в) 2 ⁻ — непереходные глаголы | 10. Δ — наречия меры и степени |
| г) 2 ^b — глагол <i>to be</i> (соответственно русский «быть») | 11. N ^c — порядковые числительные |
| д) 2 ^a — глагол <i>to do</i> (только в английском языке) | 12. N — притяжательные и указательные местоимения |
| е) 2 ^x — глагол <i>to have</i> (только в английском языке) | 13. N ₁ — неопределенные местоимения <i>much, many, few, any, some, little</i> , отрицательное местоимение <i>no</i> в английском языке; <i>много, мало, несколько, ничего</i> в русском и количественные числительные |
| ж) 2 ^l — глаголы <i>shall-will</i> (только в английском языке) | 14. D — артикли (в английском языке) |
| з) 2 ^w — глаголы <i>should-would</i> (только в английском языке) | 15. F — предлоги |
| и) 2 ^{ll} — глагол <i>let</i> | 16. E — сочинительные союзы |
| | 17. J — подчинительные союзы |
| | 18. I — все вопросительные слова |
| | 19. C — отрицательная частица <i>not</i> в английском языке и <i>не</i> — в русском. |

Исходным материалом для выделения элементарных свободных сочетаний слов послужили типичные по строению английские предложения, собранные Фриесом³ и перечисленные в его книге, а также образцы синтаксических построений, приведен-

¹ Занимаясь анализом языка для осуществления механического перевода, не всегда приходится придерживаться положений научной лингвистики. Машинный перевод — эта прикладная область языкознания — основывается главным образом на соображениях выгодности и удобства обработки языкового материала машиной. Поэтому, когда положения научной лингвистики не противоречат удобству анализа, производимого при машинном переводе, мы всецело опираемся на них. Но если произвольный подход к языковому материалу лучше служит нашим целям, мы выбираем его. Отсюда — довольно частые расхождения с традиционными понятиями лингвистики.

² См.: L. Bloomfield, *Language*, New York, 1948; Ch. C. Fries, *The structure of English*, New York, 1952.

³ См. Ch. C. Fries, указ. соч.

ные в книге О. Есперсена «Аналитический синтаксис»¹. Эти английские синтаксические типы были, по возможности стандартно, переведены на русский язык. Русские предложения также были проанализированы, а затем было произведено сопоставление английских и русских словосочетаний.

Выделились в основном двучленные словосочетания, т. е. самые простые. Но если два элемента английского предложения не давали возможности установить соответствие с русским языком — в сочетании объединялось большее количество слов. Это наблюдается в следующих случаях:

1. В абсолютном причастном обороте:

англ. русск.

$12^{1st} 12 = J 1212$

The rain having ruined my hat, I had to buy a new one = *Так как дождь испортил мою шляпу, я должен был купить новую.*

2. При использовании объектного предикативного члена:

$2^* 12^{\pm} = 2^* J 12^{\pm}$

saw the boy run = *видел, как мальчик бежал.*

3. В сочетаниях с безличным *it*:

$1^{so} 2^b 3 = 2^{(b)} 3e^2$

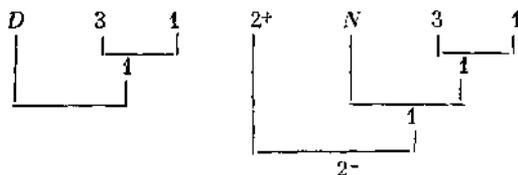
It was cold = *было холодно.*

Как известно, в каждом словосочетании имеется главный компонент — стержневое, грамматически господствующее слово, которое подчиняет себе второе слово. Поэтому все сочетание можно упрощать, заменяя его главным компонентом, подобно тому как это делается при синтагматическом анализе. Например:

$31 \rightarrow 1, 1F1 \rightarrow 1, 24^x \rightarrow 2, \Delta 3 \rightarrow 3.$

При помощи такого приема достигается еще большая степень обобщения при анализе и создается возможность последовательно устанавливать связи между всеми словами в предложении, не только между теми, которые находятся в контактном положении, но и теми, которые не стоят рядом друг с другом, хотя реально связаны между собой.

Например: *An old man takes his shabby coat.*



Сочетание двух слов *shabby* и *coat* (3 1) упрощается в один комплекс *shabby coat* (1); это новое образ. ание (1) объединяется с *his* (N) и дает еще более сложный субстантивный комплекс *his shabby coat* (1), который в свою очередь объединяется с глаголом *takes* (2⁺) и подчиняется ему, вливаясь в его формулу (2⁺1-2⁻). Подобным же образом постепенно упрощается последовательность слов *an old man*, образуя в конечном итоге субстантивный комплекс (1). Общий результат анализа — 1 2⁻. Дальнейшее объединение частей этого словосочетания не является необходимым, так как оно уже не выявляет, между какими словами существуют синтаксические связи. Такой метод упрощения словосочетаний оказывается очень полезным. Он позволяет производить «свертывание» английского предложения и затем «развертывание» русского³.

Большинство выделенных английских словосочетаний однозначны, т. е. имеют по одному русскому соответствию каждое. Но иногда встречаются и многозначные сочетания. Например:

англ. русск.
 $2^{\pm} 3 = 2^{\pm} 3$ или $2^{\pm} 4^x$

¹ См. О. Есперсен, *Analytic syntax*, Copenhagen, 1937.

² Скобки указывают на то, что связка *быть* употребляется не всегда: в настоящем времени она опускается.

³ При этом слова классов 1th и 4 не учитываются в сочетаниях и формулах, так как их синтаксическая связь с отдельными словами в предложении ослаблена. Они относятся ко всему предложению в целом.

He looks pale = Он выглядит бледным
The stone lay deep in the water = Камень лежал глубоко в воде

1F1 = 11 (род. падеж) или 1F1

A group of children = группа детей

A book with pictures = книга с картинками.

Очевидно, для этих случаев полисемии или омонимии нужно составить дополнительные правила различения. Например, при синтезе русского предложения выбор формулы 1F1 или 11 (род. падеж) зависит от того, является данный предлог предлогом *of* или нет. В случае предлога *of* выбираем формулу 11 (род. падеж), в случае другого предлога — 1F1.

При анализе английского предложения возникают трудности, связанные с тем, что иногда одну и ту же группу слов можно разбить на словосочетания по-разному. Например:

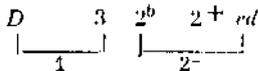
The old man
 D 3 1

Индексы этой последовательности можно сгруппировать двумя способами:

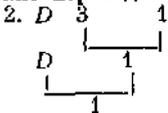
1. D 3 1 (Формула D3-1 введена для случаев типа



The wounded were counted, где прилагательное



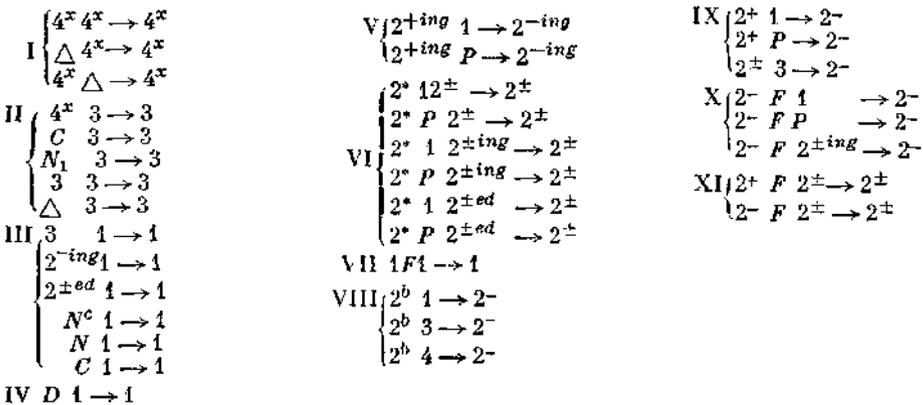
должно переводиться на русский язык во множественном числе).



Второе членение является единственно верным. Чтобы избежать неправильного членения, нужно, чтобы преобразование 31 - 1 производилось раньше, чем 1: 3 1.

Следовательно, должна соблюдаться известная очередность применения формул. Поэтому все словосочетания были разделены на несколько групп, и группы расположены в определенной, строгой последовательности. Таким образом, анализ английского предложения будет производиться в порядке следования групп словосочетаний: если в анализируемом предложении не обнаружено словосочетаний, отнесенных к первой группе, переходим ко второй группе, третьей и т. д. Нарушать последовательность групп, например, возвращаться к первой после третьей, нельзя.

Примеры распределения формул по группам:



Как же осуществляется анализ английского предложения по типам словосочетаний, которые выделяются и преобразовываются в определенной последовательности? Каждому слову предложения приписывается индекс в соответствии с тем, к какому классу слов оно принадлежит. Индексы располагаются в той же последовательности, что и соответствующие им слова. Затем выясняется, есть ли в данной последовательности индексов сочетания, перечисленные в формулах первой группы. Если в этой последова-

тельности не обнаружено таких сочетаний, то переходят ко второй группе и т. д. до конца. Если в этой последовательности обнаружено одно или несколько сочетаний, перечисленных в формулах первой группы, то они упрощаются по соответствующим формулам. Индекс, полученный в результате упрощения данного сочетания, ставится на его место. Затем переходят ко второй группе и проделявают те же операции вплоть до последней группы. Например:

He found the bird flown
P 2* D 1 2^{-ed}

Номер группы	Формула	Анализируемая последовательность индексов
IV	$D1 \rightarrow 1$	$P 2^* D 1 2^{-ed} = P 2^* 1 2^{-ed}$
VI	$2^* 1 2^{-ed} \rightarrow 2^-$	$P 2^* 1 2^{-ed} = P 2^-$

После того как произведены преобразования всех групп, анализ английского предложения закончен. Следующий этап перевода — синтез русского предложения. Возвращаются к последнему из произведенных при анализе упрощений. Находит русскую формулу, соответствующую применявшейся английской. Производят указанное русской формулой преобразование и результат оставляют в полученную при анализе последовательность индексов. Затем переходят к следующей от конца группе и производят те же операции, рассматривая группы в обратном порядке. При этом русские словосочетания содержат в себе указания на грамматические формы входящих в них слов. Синтезируем, например, русское предложение, переводящее английское *He found the bird flown*.

Номер группы	Формула анализа	Формула синтеза	Синтезируемая последовательность индексов
IV	$D1 \rightarrow 1$	$\tilde{2}^{-1} \rightarrow \tilde{2}^- - \check{1}^{\check{1}}$ (им.п.) $\check{2}^{\check{1}}$	\check{P} (им.п.) $\check{2}^- = \check{P}$ (им.п.) $\check{2}^- J \check{1}$ (им.п.) $\check{2}^-$
VI	$2^* 1 2^{-ed} \rightarrow 2^-$	$\check{1} \rightarrow \check{1}$	\check{P} (им.п.) $\check{2}^- J \check{1}$ (им.п.) $\check{2}^- =$ $= \check{P}$ (им.п.) $\check{2}^- J \check{1}$ (им.п.) $\check{2}^-$

\check{P} (им. п.) $\check{2}^- J \check{1}$ (им. п.) $\check{2}^-$ — схематическое изображение русского предложения, соответствующего данному английскому. Поставив на место индексов слова, которым эти индексы соответствуют, мы получим само предложение.

Такой анализ и синтез предложения по словосочетаниям можно производить, если о каждом слове предложения точно известно, к какому классу слов оно относится. В английском языке из-за распространенности лексико-грамматической омонимии часто нельзя однозначно установить принадлежность слова к определенному классу. Например, словоформы *work, works, sleep, sleeps, cry, cries* и т. д. могут являться и глагольными, и субстантивными словоформами. Этот факт языка должен быть отражен в словаре: следует снабдить каждое слово, имеющее лексико-грамматические омонимы, соответствующими указаниями. Так, слово *work* должно получать два индекса — 1 и 2⁻, *sleep* — 1 и 2⁻, *it* — 1^{so} и P, *her* — N и P и т. д.

Следовательно, для осуществления анализа по словосочетаниям нужно предварительно выбрать из нескольких индексов данного слова один, подходящий в данном случае. Очевидно, подойдет тот индекс, который составляет с соседними индексами возможные в языке словосочетания, зафиксированные нами. Поэтому для того, чтобы выбрать индекс, анализируем окружение слова. Например, если нужно выбрать между 1 и 2[±], мы проверяем, не стоят ли перед данным словом D, 3, N, N^e и пр. Если стоит один из перечисленных индексов, то выбираем 1. Если таких индексов

¹ Знак ~ обозначает тождественность грамматической формы.

² √ и √ — согласование в лице, числе и роде.

нет, то проверяем не стоят ли перед данным словом 2^b , $2^w, 2^m, 2^a$, 4^x и пр. Наличие одного из перечисленных индексов показывает, что нужно выбрать 2^{\pm} .

Иногда все индексы данного слова составляют вместе с индексами, стоящими вправо и влево от него, возможные словосочетания. В этом случае необходимы дополнительные правила различения. Так, для двойных индексов $1, 2^{\pm}$ применяют следующее дополнительное правило: если вправо и влево от данного слова, которому соответствуют индексы $1, 2^{\pm}$, до точки, запятой, подчинительного союза (J) или вопросительного слова (J) нет другого глагола (2^{\pm}), то выбираем 2^{\pm} , если есть, то выбираем 1.

Вопрос о выборе индекса, т. е. об уничтожении в каждом данном случае лексико-грамматической омонимии, очень сложен. Он нуждается в доработке и уточнении. В этой связи известный интерес представляет метод определения принадлежности слова к тому или иному классу в данном контексте, предложенный Бар-Хиллелом¹. Возможны и другие вспомогательные приемы выбора правильного индекса слова.

Все вышеизложенное не претендует на исчерпывающую полноту и завершенность. Это пока рабочая гипотеза, которую предполагается проверить на большом материале при помощи машины.

Т. Н. Молошина

¹ См. Y. Bar-Hillel, A quasi-arithmetical notation for syntactic description, «Languages», vol. 29, № 1, 1953.

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

ОБЗОР ЗАРУБЕЖНЫХ СЛАВИСТИЧЕСКИХ ЖУРНАЛОВ

[Вопросы славянского языкознания в польских лингвистических журналах и сборниках (1954—1955 гг.)]

В послевоенный период в Польше не только возросло общее число лингвистических журналов, но и расширилась, а в известной степени и конкретизировалась языковедческая тематика, обсуждаемая на их страницах¹. Вопросы славянского языкознания, наряду с вопросами полонистики, издавна находились в центре внимания польских исследователей. Из них в качестве основных рассматривались прежде всего: 1) проблемы этногенеза славян, образования отдельных групп славянских языков и их классификации; 2) проблемы грамматики общеславянского языка и сравнительной грамматики славянских языков; 3) проблемы исторической грамматики, диалектологии и грамматического строя отдельных славянских языков. Особо следует отметить интерес к проблемам славянской топонимики, ономастики и лексикологии².

Первому кругу вопросов посвящен ряд статей, представляющих собой тексты докладов, которые были прочитаны на XV съезде Польского лингвистического общества (апрель 1954 г., Краков). В статье акад. Т. Лер-Славянского «Проблема классификации славянских языков» говорится о древнейших доисторических эпохах развития общеславянского языка и формирования внутри него отдельных диалектов («Biuletyn Polskiego Towarzystwa językoznawczego» (сокр. BPTJ), XIV, Kraków, 1955, стр. 112—121). Опираясь на лингвистические данные, главным образом фонетические, автор дает сжатый очерк истории постепенного выделения из индоевропейского праязыка балтийско-славянской языковой группы, а из последней — общеславянского языка, расщепившегося впоследствии на три группы родственных языков. Этот процесс разделения общеславянского языка, по утверждению Т. Лер-Славянского, совершился в результате четырех следовавших друг за другом этапов.

На первом этапе происходило распадение общеславянского языка на две ветви: западную (позднее из нее развились западнославянские языки) и восточную (позднее давшую восточнославянские и южнославянские языки). Данное предположение автор подтверждает рядом языковых фактов, а именно: различие изменений общеславянских групп [1] *kv, gv + ž*; 2) *s'* (из *ch* в связи с палатализацией); 3) *sk, zg* в известных случаях; 4) *tl, dl*, с одной стороны, в западных, а с другой — в южных и восточных славянских языках.

На втором этапе славяне перераспределились на две группы: северную (предки западных и восточных славян) и южную (предки южных славян). Следы такой перегруппировки славян и славянских языков являются различия: 1) в судьбе групп **ort, *olt*; 2) в окончаниях *ž, ę* в определенных падежах основ на *jā-, jō-*; 3) в образовании формы им. падежа ед. числа муж. рода действительных причастий наст. времени — формы на *-a* и на *-y (ы)*. Языковые расхождения второго этапа возникли, по мнению автора, в связи с тем, что часть (южная) славян ушла за Карпаты и утратила связь с остальными славянскими племенами.

Третий этап характеризуется укреплением языковых связей между южнославянскими и чешско-словацкими группами, в противоположность остальным славянским группам, что подтверждается историей сочетаний **tort, *tolt* и т. п.

И, наконец, на четвертом этапе происходит восстановление связей чешско-словацкой группы с остальными западнославянскими и одновременно ослабление языковых

¹ Краткий обзор и характеристику польских языковедческих журналов см. в статье З. Штгера «Польское языкознание в 1945—1955 гг.» (ВЯ, 1956, № 4, стр. 142—151).

² Этим вопросам будут посвящены обзоры в последующих номерах журнала. — Ред.

связей в группе южных славян; так окончательно оформляются три группы славянских языков. В этот период происходят изменения **tj*, **dj*, **kt'*, давние различные рефлексы: зап.-слав. *e'*, *dz'* (> *z'*), вост.-слав. *ž'*, *ž'*, южно-слав.: болг. *žt'*, *žd'*, сербохорв. *ž*, *d'*, словенск. *ž*, *j*. После лингвистической части Т. Лер-Силавицкий приводит в подтверждение своих взглядов данные археологические.

В статье проф. З. Штибера «Взаимные связи западнославянских языков» (БРТГ, XIV, стр. 73 — 93) подробно рассматривается проблема взаимоотношений между западной и другими родственными группами славянских языков. Касаясь вопроса об отношении между западно- и восточнославянскими языками в древнейший период, автор указывает, что между этими группами связей не было и так называемые лексические (ляшские) черты в северновеликорусских говорах [доканье, отсутствие замены *tl*, *dl* (ср. *kl*, *gl* в ряде говоров), а также некоторые другие языковые параллели] несколько не говорят о давних связях между восточнославянской и лексической языковыми группами; этого не подтверждают и некоторые параллели в восточнославянских и поморских говорах. Что же касается влияния польских диалектов на западноукраинские, а также на западнобелорусские, то это воздействие имело место в более поздний, исторический период; в частности, говор лемков, типичный в отношении наличия западнославянских особенностей, возник не раньше XIV в. в связи с украинской колонизацией Карпатских гор.

Нижне З. Штибер, говоря об известном уже в науке факте связи между южнославянскими языками в частью западнославянских, отмечает, что наиболее ярко прослеживается эта связь с югом в центральных словацких говорах. Опираясь на исследования Я. Станислава и И. Книежи, автор объясняет эту общность тем, что венгерская низменность до прихода туда венгров была заселена славянами, язык которых был своего рода «мостом» между языком предков словаков и моравян и языком южных славян; последний факт подтверждается особенностями языка Киевского миссала, который, по мнению З. Штибера, возник на почве именно такого языка; только подобным образом можно объяснить факт последовательного совмещения в данном памятнике западнославянских и южнославянских черт.

Коснувшись попутно проблемы взаимоотношений словацко-украинских диалектов, а также связей лужицких и западнолишских диалектов с южнославянскими, автор затем в основной части статьи, посвященной языковым взаимоотношениям внутри западнославянской группы, дает характеристику чешско-словацкой, лужицкой и ляшской подгрупп.

Статья проф. В. Курашкевича «Классификация восточнославянских языков» (БРТГ, XIV, стр. 94—102) представляет собой краткий очерк становления восточнославянских языков. Исходным моментом в этом процессе был прарусский период, когда язык восточных славян характеризовался рядом общих языковых явлений и изменений, унаследованных от праславянской эпохи: образование групп *sv — ž*, *zv — ž*; *ch — s'*: *vas'ò*, *mus'ž*; *tl*, *dl — l*; *rō*, *lō*; третье *ě*: *zeml'ě*; подвижное ударение; *ь* в 3-м лице единственного и множественного числа глаголов и т. д., — а также рядом явлений эпохи прарусского языка: утрата носовых гласных, изменение в группах **torl* и т. п., изменение сонантов **tygъ*, *zerno* и т. д., лабиализация типа *moloko*, *pъlnъ*, лабиализация *e > ô > o*, изменение *je — > o*, изменение в группах *tj*, *dj* и, наконец, утрата *ъ*, *ь*.

Что же касается диалектного разграничения в прарусском языке, то, следуя за Т. Лер-Силавицким, В. Курашкевич выделяет в нем два наречия: 1) северное, части которого позднее вошли в состав современных говоров: северновеликорусских, средневеликорусских и части севернобелорусских (особенно переходных от белорусских к северновеликорусским) и 2) южное. Эти говоры вследствие хронологических различий в изменении *ъ*, *ь* в течение XII—XIII вв. еще более отделились. Но, кроме того, одновременно в южном наречии происходило расчленение и выделение говоров: 1) южных (современные юго-западные, украинские), 2) центрально-западных (современные северноукраинские и южнобелорусские) и 3) центрально-восточных (современные южновеликорусские).

Переходный характер центральных (западных и восточных) говоров в составе древнерусского южного наречия, а одновременно их обособленность по отношению к северным и к остальным южным говорам усилились в XIV—XV вв. в связи с развитием аканья. Это явление на территории центрально-восточных говоров (современное южновеликорусское наречие) было наиболее архаическим по характеру и с данной территорией распространилось на север (в результате чего возникли переходные средневеликорусские говоры), на запад, а также на юг (следствием чего является редукция только безударных дифтонгов в современных северноукраинских говорах.) В противоположном направлении — с территории, занятой современными севернобелорусскими говорами, на территорию современных южновеликорусских говоров — распространилось изменение *ě (ie) > e*. Эти два явления способствовали усилению в XIV—XV вв. различий между старым северным (современным северновеликорусским) наречием и западной частью южного наречия (современные южноукраинские говоры) и были, таким

образом, характерны для древнерусского среднего (центрального) наречия (современные северноукраинские, белорусские и южновеликорусские говоры).

Однако в самом центральном наречии происходит процесс обособления и расчленения говоров: углубляются различия между говорами, которые соответствуют современным юго-западным и северо-восточным белорусским, а также впервые проявляются различия между говорами, которые соответствуют современным северноукраинским и южновеликорусским.

Кроме изменений в говорах центральных, происходят также изменения на севере и на юге. В северных говорах имели место следующие языковые явления: 1) изменение сочетаний *r, l + ъ, в*: *drowā, jābloko*; 2) сохранение *i* в начале слова: *igolka, igrā*; 3) возникновение сочетаний *oj, ej*: *mōju, sēja, imnoj* и т. д.; 4) сохранение *g* варяжского; 5) образование форм по аналогии: *ruk'ě, p'ek'i*; 5) образование форм типа *n'es'it'e* и т. д.; 6) возникновение ряда новых слов, которые первоначально появились во всей территории русского языка: *d'en'g'i, d'er'ew'n'a, pāšn'a* и т. д. Одновременно в древних южных (современных южноукраинских) говорах совершаются изменения, которые потом распространяются на север (современные полесские и подляшские говоры) и на восток (за Днепр) и которые определяют обособленность украинского языка: 1) отверждение согласных перед *e, i*; 2) изменение гласного *i* в *y*; 3) заместительное удлинение *o, e*; 4) изменение *ž* и т. д.

Центральное древнерусское наречие в конце концов окончательно распадается. Восточная его часть (от Смоленска до Брянска) вытесняется в сферу типично русских явлений, которые позднее, главным образом с XVI в., распространяются на север, что привело в свою очередь к образованию переходных средневеликорусских, а также полосу владимирско-поволжских говоров. Западная часть центрального древнерусского наречия (первоначально достигавшая Холма, Лудца, Житомира, Корсуни) подпала под влияние украинских явлений, которые в XV—XVI вв. окончательно охватили территорию наречий, сначала польского, затем полесского (до Беловежья, Пинна и Припяти), а также восточную часть Киевщины и Черниговщины.

Чисто пассивным путем выделились говоры белорусские, а именно — в результате того, что в них не проникли черты типично украинские и типично великорусские. В группе белорусских говоров их юго-западная часть обнаруживает следы давних связей с древнерусскими южными говорами, а в их северо-восточной части выявляются следы связей с северными говорами древнерусского языка — следы цоканья, но особенно явно они подчинились влиянию восточного аканья. На выделенной таким образом территории только в XV—XVI вв. развиваются типично белорусские явления, например, дзеканье, а также распространяются другие явления, которые до того времени еще не успели овладеть всем белорусским языком: 1) отверждение *r'*; 2) протеза: *hety*; 3) формы типа: *ładz'om*; 4) формы местного падежа ед. числа прилагательных типа: *u starym* и т. п.

Во второй части своей статьи В. Курашкевич пытается данную им схему образования восточнославянских языков связать с историей восточнославянских народов. Прусская языковая общность соответствует эпохе общерусского государства, в рамках которого развивалась древнерусская народность. В течение XII—XIII вв. на территории восточных славян складываются три политических объединения: 1) южное: княжества Галицкое, Волыское, Киевское, Черниговское и Северское; 2) западное: княжества Смоленское и Полоцкое; 3) северное: Новгород и Ростово-Суздальское княжество. Именно в Ростово-Суздальском княжестве начинают нарастать особые языковые явления, которые в XIV—XV вв. способствовали выделению великорусского языка. В этом процессе была несомненной роль Москвы как политического и культурного центра. Московские и ростово-суздальские памятники того времени (граммоты, Суздальская летопись, евангелие 1358 г. и т. д.) говорят о едином типе языка, северного по своему характеру. В то же время на территории западной и южной групп развиваются свои особые, а также общие для обеих групп языковые явления.

Рост Великого княжества Литовского в XIV—XV вв. способствовал как усилению обособленности языкового развития северо-восточных — ростово-суздальских говоров и говоров юго-западных — галицких (носители которых никогда не входили в состав Литовского княжества), так и одновременно — внутри самого княжества — развитие новых особенностей, характерных для центрального древнерусского наречия. В данной связи автор указывает на совпадение восточных границ Литовского княжества в XIV—XV вв. с восточными границами распространения произношения *z* вместо *v* билабialsного (*us'a, dainó*) и с западными границами произношения *k'* в положении после мягких согласных (*vān'k'a*).

Галицкая земля никогда не входила в состав Литовского княжества, и в ней, как свидетельствуют грамоты XIV—XV вв., развиваются характерные украинские явления. С XVI в., когда ряд южных земель переходит из состава Великого княжества Литовского в Московское государство, растет влияние южных говоров, в результате чего возникают говоры средневеликорусские и владимирско-поволжские. В этот период окон-

чательно оформляется великорусский язык, а та часть восточнославянской народности, которая входила в состав Литовского княжества в XVI—XVII вв., окончательно обособляется от русской и украинской народности. Она образует белорусскую народность с ее языком, типичные особенности которого развиваются именно в это время: дзеканье и т. д.

Вопросы исторического развития и взаимоотношений в группе южнославянских языков освещаются в статье проф. Ф. Славского «Классификация южнославянских языков» (ВРЛ, XIV, стр. 103—111). Отмечая трудности, которые возникают при классификации южнославянских языков, автор работы пишет, что много ошибок в этой области было допущено как из-за смешения в некоторых исследованиях синхронического и диахронического аспектов при рассмотрении данных языков, так и вследствие неразличения двух факторов исторического развития южнославянских языков: исконного родства славянских языков и вновь возникших связей с балканскими языками. В своей статье автор стремится учитывать и тот, и другой факты. Касаясь проблемы исторического развития южнославянских языков, Ф. Славский намечает следующие периоды:

1) период, когда южнославянские языковые группы были тесно связаны с группами восточнославянскими, а позднее — с языками западнославянскими; 2) период южнославянской общности, которая, по мнению автора, длилась недолго: уже данные древних южнославянских памятников (Фрейзингенские отрывки и памятники старославянского языка), а также другие языковые факты (топонимические названия на территории Румынии, Албании и Венгрии, славянские заимствования в соседних языках) говорят о раннем языковом расчленении внутри южнославянской группы (таковы расхождения в судьбе группы *tj, dj*, в системе ударений), причем выделяются две группы: болгаро-македонская и сербохорватско-словенская (тесная связь между сербохорватским и словенским языками позволяет говорить о прасербохорватско-словенской общности).

Указав далее на отсутствие резких границ между отдельными южнославянскими языками, автор дает характеристику ряда говоров, носящих переходный характер, пытаясь тем самым вскрыть специфику взаимоотношений между отдельными славянскими языками: объектом такого специального рассмотрения стали говоры кайкавские, в которых отражаются языковые связи между сербохорватским и словенским языками, говоры тамокско-призренские, отражающие связи болгарского и сербохорватского языков, и, наконец, группа македонских говоров.

В связи с вопросом об этногенезе славян необходимо отметить несколько статей в основном исторического содержания, в которых дается ряд сведений и соображений по ранней истории славян. Таковы работы: К. Шляеского — «Участье славян в хозяйственной жизни Прибалтики в начале феодальной эпохи (VII—XII вв.)» (журн. «Pamiętnik slowiański», IV, № 2, 1954, стр. 227—266), З. Войцеховского — «Заметки о названиях и локализации польских племен на общеславянском фоне того времени» (там же, стр. 324—339), а также ряд других статей (там же).

*

Кроме статей, рассматривающих проблемы этногенеза славян и складывания славянских языковых групп, в польских журналах и сборниках последних лет появился ряд работ на историко-фонетические и историко-грамматические темы. Из них особый интерес представляет статья Т. Лер-Сплавинского «Опыт датировки так называемой второй палатализации задненбных в праславянском языке» [«Studia z filologii polskiej i slowiańskiej» (сокр. «Studia»), I, Warszawa, 1955, стр. 375—383]. В этой работе автор, опираясь на данные, приводимые в статье А. И. Соболевского «Древнейшие славянские названия монеты и хронология общеславянского смягчения гортанных» (РФВ, т. LXIV, 1910, стр. 92—95), а также привлекая новые данные, пытается установить абсолютную хронологию изменения *k, g* в свистящие согласные после гласных переднего ряда, отнеся этот процесс ко II—IV вв. нашей эры, когда готские названия проникают в славянские языки.

Из работ по южнославянским языкам следует прежде всего отметить статью З. Гломба «К фонологической системе говоров Богданска» («Studia», I, стр. 289—333). Статья представляет собой своего рода продолжение работы проф. М. Малецкого, посвященной македонским говорам в юго-восточной части Македонии, в районе г. Салоник. Опираясь на собранные М. Малецким материалы¹, автор статьи дает подробное описание системы звуков указанных говоров, обращая внимание и на установление их фонологической системы. В статье ставятся также вопросы сравнительно-исторического характера. Автор особенно интересуется архаичными чертами данных говоров, являющимися, по его мнению, следами южномакедонского говора эпохи Ки-

¹ См. М. Małecki, Dwie gwary macedońskie. (Suche i Wysoka w Sofuńskim), Kraków: I—1934; II — 1936.

рилла и Мефодия. На основании анализа фонетики рассматриваемых говоров автор высказывает предположение, что непосредственно накануне эпохи Кирилла и Мефодия носовые гласные в этих говорах были широкого образования ($\varphi = \tilde{a}, \varphi = \varphi$) и что этот факт, а также другие ($\tilde{z} = \tilde{a}, tj, dj > s', zd'$) были общей особенностью македонских говоров, генетически связанных с болгарскими (или, точнее, с родопскими), причем македонские, родопские и, вероятно, фракийские говоры представляли собой единую группу, с которой и был связан язык Кирилла и Мефодия.

Другой работой в данной области является статья С. Радевой «Образование и значение сложных слов в болгарском языке» («Studia», I, стр. 384—417). Автор рассматривает сложные слова, во-первых, со стороны формы, различая образования без соединительной гласной и с соединительной гласной; во-вторых, со стороны грамматико-семантических значений слов, входящих в состав сложных слов, различая образования объектные (типа *лапни-мухи, сенок с*), атрибутивные (*русокос*) и подлежащие (*водопад, листопад*); и, наконец, с лексико-семантической точки зрения. Следует отметить спорность классификации С. Радевой, объединяющей иногда разнородные словообразовательные модели без достаточной мотивировки как со стороны их морфологической структуры, так и со стороны их исторического происхождения.

По восточнославянским языкам опубликован ряд работ. Словообразованию в современном русском языке посвящена обстоятельная статья В. Витковского «Суффиксы, образующие названия действующего лица (nomina agentis) в русском языке» («Studia», I, стр. 486—520). В этой статье рассматриваются nomina agentis с суффиксами *-тель, -ец, -чик, -щик, -ник (-ик)*; автор представил большой и интересный материал.

В статье З. Загурского «О роли уменьшительных слов в языке басен Крылова» («Studia», I, стр. 521—535) анализируются различные (в зависимости от ситуационно-стилистических условий) случаи употребления этих слов; или когда в них преобладает эмоционально-экспрессивный момент (который в языке басен является, видимо, доминирующим), или когда на первый план выступает семантическая сторона деминутивных слов как таковых. К сожалению, автор представил материал далеко не полностью.

Украинский язык в рассматриваемых журналах представлен двумя статьями. В. М а н ч а к в статье «Разграничение окончаний род. пад. ед. ч. -а; -у в украинском языке» (ВРГ, XIII, 1954, стр. 57—65) дал обзор высказываний по данному вопросу, имеющихся в грамматиках Смаль-Стоцкого и Гартнера, Симовича и Загородского (авторы этих работ в основном исходили из лексико-семантических значений), а затем разработал свою схему распределения имен существительных мужского рода с окончанием род. падежа *-а* или *-у*, учитывая грамматические особенности имен (значение одушевленности и неодушевленности, тип словообразования) и особенности в ударении.

Истории украинского литературного языка XVII—XVIII вв. посвящена статья Л. Шнейдера «Язык подкарпатской переработки Павлом Кузиневицем трудов Кирилла Транквилиона Ставропецкого» («Studia», I, стр. 418—448). В этой статье дается описание системы графики и орфографии, а также фонетических, грамматических особенностей и лексики Учительного евангелия украинского писателя первой половины XVII в. Кирилла Транквилиона Ставропецкого. Автор сравнивает его с более поздней (середина XVIII в.) переладкой, сделанной на территории Западной Украины Кузиневицем (использована только часть этого текста, изданная Ив. Франко). Работа отличается точностью, строгим и добросовестным анализом языковых фактов и обилием материала.

Следует указать также, что в IV томе (вып. 1) журнала «Pamiętnik Słowiański» помещены статьи Т. У л е в и ч а и Т. Л е р-С л а в и н с к о г о, посвященные памяти проф. Н. Янова. Последний много занимался вопросами восточнославянской филологии, в частности языкознанием, и написал ряд работ в данной области. Незадолго до своей смерти он готовил к переизданию «Лексикон славеноросский» Памвы Берныды.

Из западнославянских языков больше всего внимания, разумеется, было уделено польскому языку, его истории, диалектам и современному строю. Ограниченные размеры статьи не позволяют дать обзор этих исследований: они требуют особого рассмотрения. Поэтому остановимся лишь на статьях по другим языкам западной группы. Опубликованы работы по полабскому языку проф. Е. Куриловича и Б. Шидловской, а также ряд статей по кашубскому языку (если вообще можно говорить об особом кашубском языке). Несомненный интерес представляет статья Б. Ш и д л о в с к о й «Разведение домашних животных у полабских славян по материалам памятников их языка» («Studia», I, стр. 449—485). Автор, видимо, задумал серию работ о жизни полабских славян на основании их словаря. Первая часть из этой серии, посвященная растениеводству (полевые и огородные культуры), была напечатана в 1952 г. (см. «Pamiętnik Słowiański», III, 1952, стр. 58—105). Статья интересна потому, что до сих пор усилия

ученых были сосредоточены по преимуществу на изучении фонетики и грамматического строя этого языка, в то время как лексика, за исключением нескольких работ о полабских топонимических названиях или отдельных работ по бытовой лексике¹, вообще привлекала значительно меньше внимания.

В рассматриваемой статье весь словарный материал распределен по отдельным параграфам, каждый из которых посвящен лексике, связанной с определенным домашним животным: дается лингвистический, и прежде всего этимологический анализ названий животных, помещений и т. д. Приводятся параллели из других славянских языков. В конце статьи автор выделяет три группы слов в зависимости от их происхождения: 1) слова, имеющие соответствия в других славянских языках (таких слов — большинство); 2) слова, возникшие внутри самого полабского языка, и 3) немецкие заимствования (это главным образом названия домашних животных).

К работе приложен алфавитный словарь всех рассмотренных автором слов с указанием, где данное слово встречается в источниках по полабскому языку.

Е. Курлович в статье «Полабское ударение» («Studia», I, стр. 349—374), в противоположность Н. Трубецкому, считавшему, что в полабском языке ударение было на предпоследнем слоге, доказывает, что ударение в этом языке было инициальным и что это имело следствием закономерно совершившуюся редукцию безударных гласных. Автор устанавливает эти общие закономерности, иллюстрируя их путем тщательного анализа отдельных грамматических категорий слов (существительных, прилагательных, числительных, местоимений, глаголов и наречий). В конце статьи высказываются следующие предположения: 1) интонационные различия в полабском языке были утрачены еще в лехитскую эпоху; 2) акцент утратил фонологическое значение, поскольку он принял постоянный в отношении места характер; 3) количественные различия также утратили значение, возникло новое по своему характеру противопоставление долгих и кратких гласных, разных по качеству.

А. И. Толкачев

ОБЗОР ЛИНГВИСТИЧЕСКИХ СТАТЕЙ В ЖУРНАЛЕ «ТУРЕЦКИЙ ЯЗЫК»²

Выходящий в Турции ежемесячный научно-литературный журнал «Турецкий язык», орган Общества турецкого языка, издается с октября 1951 г. В передовой редакционной статье «Характер нашего журнала»³ отмечалось, что журнал призван бороться за чистый и правильный турецкий язык, популяризировать литературный язык, с этой целью публикуя на своих страницах стихи и прозу турецких и иностранных авторов. Журнал помещает также различные дискуссионные статьи лингвистического и, в частности, тюркологического характера. Кроме того, в журнале освещаются вопросы истории турецкого языка и литературы. Таким образом, журнал «Турецкий язык» имеет более широкие задачи, чем другой печатный орган Общества турецкого языка «Ежегодник исследований по турецкому языку» («Türk dili araştırmaları yıllığı»), публикующий исключительно материалы и исследования по турецкому языку.

Настоящий обзор посвящен статьям, сообщениям и рецензиям, помещенным в журнале «Türk dili» и рассматривающим вопросы языкознания. В каждом номере журнала можно наметить приблизительно следующие разделы: 1) грамматика и лексикология современного турецкого языка, где помещаются различные статьи по вопросам фонетики, морфологии и синтаксиса турецкого языка, причем большое внимание уделяется проблемам лексикологии; 2) история языка, где публикуются статьи, анализирующие древние письменные памятники; 3) прикладное языкознание, где освещается разработка вопросов орфографии, орфоэпии и терминологии; 4) критика и библиография, где публикуются рецензии и аннотации на научные и художественные произведения как турецких, так и иностранных авторов. В этом же разделе представлена обширная библиография тюркологической научной литературы. В журнале помещаются также ответы на вопросы читателей по различным лингвистическим вопросам и главным образом по семантике неологизмов.

¹ Ср., например, работу: J. Neydzianka-Prlatowa, Słownictwo połabskie w zakresie wypraw lnu, «Slavia occidentalis», XII, 1933, стр. 258—263.

² «Türk dili» (TD). Aylık fikir ve edebiyat dergisi. Sahibi: Türk dil kurumu (TDK). NN1—63. — Ankara, 1951—1956.

³ A. S. Levend, Dergimizin karakteri, TD, cilt III, № 28, 1954, стр. 179—181.

В настоящее время турецкие лингвисты заняты подготовкой материалов для большой научной грамматики турецкого языка (*Ana gramer*)¹. В связи с этим намечается издание ряда монографий, посвященных основным проблемам грамматики.

Вопрос о месте синтаксиса в турецкой грамматике затрагивает статья В. Кылычогу «Новые исследования по турецкой грамматике»². Указывая, что турецкие и многие иностранные авторы уделяют недостаточно внимания вопросам синтаксиса, В. Кылычогу отмечает следующие основные недостатки в разработке синтаксиса в турецких грамматиках: а) проблемы, имеющие прямое отношение к синтаксису, часто оказываются отнесенными к морфологии; б) многие синтаксические вопросы до сих пор еще не нашли своего отражения в грамматике.

Статей по вопросам синтаксиса в журнале «Турецкий язык» публикуется все еще очень немного. Остановимся на тех из них, которые представляют наибольший интерес. На страницах журнала весьма остро обсуждался вопрос об инверсии и ее месте в турецком синтаксисе. И. Атач считает закономерным, что инверсия, будучи явлением широко распространенным в народном языке и, по-видимому, присущим турецкому языку издавна (ср. приводимые автором свидетельства старотурецких литературных памятников), находит все более широкое отражение в современном турецком литературном языке³. Его оппоненты, А. Атеш и Н. Оздесенли, допуская возможность целесообразного применения инверсии для достижения большей выразительности речи, рассматривают инверсию как результат иноязычного влияния и предостерегают (особенно молодых авторов) от излишнего увлечения ею, так как, по их мнению, это нарушает природу турецкого предложения и способствует затемнению и даже искажению смысла⁴.

В небольшой по объему статье М. А. Агака «О вопросительных предложениях» дается подробная классификация и характеристика различных типов и видов вопросительных предложений в турецком языке⁵. Статья В. Кылычогу «Одна из проблем нашего языка» содержит целый ряд интересных наблюдений над турецким изафетом и богатый языковой материал (преимущественно топонимического характера)⁶. Автор отмечает, что происхождение первого и второго типа изафетных сочетаний связано с опущением аффиксов, выражающих грамматическую связь слов в изафетных словосочетаниях; например: *Paşa Bahçe* «Паша Бахче» (географическое название) возникло в результате развития: *Paşa Bahçe* < *paşa bahçesi* < *paşanın bahçesi*.

Среди статей, посвященных фонетике турецкого языка, следует отметить статью А. У. Эльбе «Мягкое и твердое *i* в турецком языке»⁷. Используя большое количество примеров, автор исследует согласный *i* в начале слова или в первом слоге, в середине и в конце слова.

Гораздо большее количество статей публикуется в журнале по различным вопросам морфологии; особое внимание уделено глаголу. В статье В. Кылычогу «Условная форма» в широком историческом плане рассматривается аффикс *-se* < *-ser*, его значения и употребление, которые, как показывает материал, приведенный автором, в древности были гораздо шире⁸. По мнению В. Кылычогу, генетически родственным этому аффиксу является сложный аффикс *-isar / -iser* (< *-i / -i + -sar / -ser*), образовывавший вплоть до конца XVI в. широко распространенную в турецком языке форму будущего времени. Это утверждение Кылычогу вызвало возражения со стороны Т. Текина, который в своей статье «Возникновение аффикса *-isar*» указывает на невозможность сочетания аффикса дееспричастия *-i / -i* с аффиксом условного наклонения, а также на отсутствие смысловой близости между условным наклонением и будущим временем⁹. По мнению Текина, аффикс *-isar* развился из аффикса

¹ См. об этом: V. Kılıçoğlu, *Gramer kolu çalışma programı*, TD, cilt II, № 21, 1953, стр. 649—651.

² Е е ж е, *Türk gramerinde yeni araştırmalar*, TD, cilt II, № 18, 1953, стр. 372—378.

³ См. «A t a ç'ın cevabı», TD, cilt III, № 26, 1953, стр. 75—78; [N.] A t a ç, Ahmet Ateş'e cevap, TD, cilt III, № 29, 1954, стр. 270—272; е г о ж е, Yanıt, TD, cilt III, № 35, 1954, стр. 647—649.

⁴ См.: А. Атеş, Nurullah Ateş ve türkçenin nahvi, TD, cilt III, № 26, 1953, стр. 72—74; N. Özdeseñli, Devrik cümle üzerine, TD, cilt III, № 35, 1954, стр. 645—647.

⁵ М. А. Агакау, Soru cümleleri üzerine, TD, cilt I, № 12, 1952, стр. 683—684.

⁶ V. Kılıçoğlu, Dilimizin bir meselesi, TD, cilt III, № 36, 1954, стр. 715—719.

⁷ А. У. Эльбе, Türkçede yumuşak ve kaba «i» konsonları, TD, cilt V, № 56, 1956, стр. 484—489.

⁸ V. Kılıçoğlu, Şart kipi, TD, cilt III, № 29, 1954, стр. 254—258.

⁹ Т. Текин, *-isar* ekinin türeyişi, TD, cilt III, № 32, 1954, стр. 453—455.

**ğsar* < *-iğsa* + *-r*. В подтверждение своей точки зрения он приводит данные Махмуда Кашгарского относительно существования в тюркских языках аффикса *-iğsa/-iğse*, который, присовокупляясь к основе глагола, образует формы со значением «желать, совершить действие».

Во второй статье В. Кылычоглу «Новые исследования в турецкой грамматике» рассматривается аффикс *-ası/-esi* также в историческом плане². По мнению автора, этот древний аффикс является довольно продуктивным и в современном турецком языке, хотя сфера его применения постепенно сужается. Разбирая точки зрения В. Банга, В. Томсена и К. Брокельмана на происхождение этого аффикса и анализируя соответствующий языковой материал, В. Кылычоглу приходит к выводу, что аффикс *-ası/-esi* в современном турецком языке может выступать в качестве аффикса, образующего: 1) имя прилагательное (*göberesice kadın* «беременная женщина»), 2) имя существительное (*göresim geldi* «на меня напала тоска»), 3) наречие (*öddüresine döme* «избавление до смерти»), 4) причастие (*adı batası* «забытый»).

В статье «К вопросу об аффиксе *-dır*» В. Кылычоглу анализирует работы, посвященные этому аффиксу (в частности, исследование А. Ф. Габен «Глагольные сочетания в турецком языке»³) и характеризует свойства *-dır* в современном турецком языке⁴. Интересна своим материалом статья К. Юнда «40 в турецком языке», где рассматривается особое употребление этого числительного в фольклоре и в качестве примеров приводится большое количество турецких топонимов, пословиц и поговорок⁵.

Статья Р. А. Арата «Структура слов и аффиксов в турецком языке» представляет интерес как попытка найти общее в строении турецкого слова и аффикса⁶. В этих целях автор, выделяя две большие группы слов — имена и глаголы, рассматривает и классифицирует с точки зрения звукового состава прежде всего односложные слова, а затем — и аффиксы (точно как словообразующие, так и словоизменяющие). Из других статей по словообразованию следует отметить «Способы выражения по-турецки аффикса *-ya/-yu*» (О. А. Аксой⁷). На обширном языковом материале автор показывает различные способы замены арабского словообразующего аффикса *-i* турецкими, разделяя последние на продуктивные (*-li, -lik, -ce* и др.) и непродуктивные (*-sal, -cil, -ey* и др.). В статье указываются также случаи, когда значение, выражаемое аффиксом *-i*, передается посредством послеслова или даже целого словосочетания. В статье М. А. Агакай («Парных слов»⁸) определяется критерий отличия парных слов от выражений типа *daldan dala konmak* «быть непостоянным» — парные слова обычно передают одно понятие⁹. Кроме парных слов, образованных из различных частей речи путем простой редупликации, М. Агакай указывает на те парные слова, между компонентами которых связь осуществляется при помощи парных аффиксов (например: *başa baş* «как раз, ровно»; *arkadan arkaya* «исподтишка»). Сюда же автор относит сочетания, связанные вспомогательными элементами [тип: *güzel mi güzel* «очень красивый»; *kahraman mı kahraman* «настоящий герой»; *ev de ev* «дом действительно хорош»; *yaşasâğım da yaşasâğım* «я наверняка сделаю (это)»]. Все парные слова подразделяются им на два типа: а) словарные парные слова и б) грамматические парные слова, образование которых подчинено соответствующим грамматическим правилам.

В ряде статей по лексикологии («Иностранные слова» В. Кылычоглу⁹, «Основы нашего единения в языке» А. Левенда¹⁰, «Относительно нашего словаря» Х. Илайдына¹¹) авторы призывают устранить из турецкого языка многие иностранные слова и грамматические элементы и ограничиться заимствованием как из западных, так и из восточных языков только действительно необходимых слов, образуя пронаводные от них средствами турецкого языка. Из статей этого же типа можно

¹ Возможность выпадения *-ğb-iğsar* (иными словами, перехода *-iğsar* > *-isar*) обозначается Т. Текином в следующей его статье «Относительно аффикса *-isar*» (Т. Tekin, *-isar eki hakkında*, TD, cilt IV, № 38, 1954, стр. 89—96).

² V. Kılıçoğlu, Türk gramerinde yeni araştırmalar, TD, cilt II, № 22, 1953, стр. 655—672.

³ A. v. Gabain, Verbalcompositionen im Türkischen, «Türk dili araştırmaları yıllığı», Ankara, 1953.

⁴ V. Kılıçoğlu, *(-dır) eki meselesi*, TD, cilt II, № 24, 1953, стр. 802—804.

⁵ K. Yund, Türk dilinde 40, TD, cilt II, № 23, 1953, стр. 749—752.

⁶ R. R. Arat, Türkçede kelime ve eklerin yapısı, TD, cilt IV, № 43, 1955, стр. 396—401.

⁷ Ö. A. Aksoy, *-ya / -yu nishiyi türkçeye çevirme yolları*, TD, cilt V, № 49, 1955, стр. 4—8.

⁸ M. A. Ağakay, İkizlemeler üzerine, TD, cilt II, № 16, 1953, стр. 189—191; его же, İkizlemeler üzerine, II, TD, cilt II, № 17, 1953, стр. 267—271.

⁹ V. Kılıçoğlu, Yabancı kelimeler, TD, cilt III, № 30, 1954, стр. 323—325.

¹⁰ A. S. Levend, Dilde birleşebileceğimiz esaslar, TD, cilt I, № 12, 1952, стр. 657—658.

¹¹ H. İlaydın, Sözlüklerimizde dair, TD, cilt III, № 27, 1953, стр. 128—132.

упомянуть редакционную статью «О языке нашей конституции»¹ и статью М. Гокберка «Язык конституции»², где подвергается критике имевшая место в 1952 г. тенденция к замене ряда турецких неологизмов в тексте конституции словами арабского и персидского происхождения.

В журнале уделяется много внимания вопросам терминологии. В большинстве передовых статей обсуждаются различные термины и неологизмы, критикуются язык и стиль некоторых статей и книг, радио и театра. В статье «О грамматической терминологии»³ Р. Р. Арат подвергает критическому разбору названия падежей и времен, приводимые в брошюре «Грамматическая терминология в начальной и средней школе» («İlk ve orta öğretim gramer terimleri», Ankara, TDK, 1952). Кроме того, в журнале печатаются информационные статьи о лексикографической и лексикологической работе турецких лингвистов. Согласно отчету Организационного комитета Общества турецкого языка⁴, исследования в этой области проводятся по двум основным направлениям: сбор слов живого народного языка и изучение лексики произведений турецких авторов XIII—XX вв. За последние 3 года выпущены четвертый и шестой тома «Сборника слов» («Söz derleme dergisi») современного народного языка. За этот же период подготовлены и изданы второй и третий тома «Исторического словаря с примерами» («Tanıklarile tagama sözlüğü»), где представлена лексика турецких литературных произведений различных исторических периодов. Вышел в свет новый энциклопедический словарь «Справочник чистого турецкого языка» («Sade Türkçe kılavuzu»), содержащий более 5 тыс. слов с толкованием их. Готовятся переиздание «Словаря турецкого языка» («Türkçe sözlük»), выпущенного в 1945 г. небольшим тиражом.

Ряд статей в журнале посвящен вопросам истории тюркских языков. Две статьи А. Ипана — «Три перевода Корана на старотурецкий язык»⁵ и «Вопрос о языке старых переводов Корана»⁶ — посвящены сравнению ленинградской рукописи и рукописей, одна из которых принадлежит Музею турецких и исламских произведений (Türk ve İslâm eserleri Müzesi), а другая — Национальной библиотеке (Millet kütaphı). Останавливаясь на отдельных особенностях языка каждого из этих трех экземпляров, автор считает, что первый написан в Западном Туркестане (топнее в Хорезме), а второй — в Ширазе. Сообщается также о четвертом, манчестерском экземпляре перевода. Откликом на указанные статьи А. Ипана явилось сообщение Дж. Джабулата «Относящийся к XVI в. перевод Корана на турецкий язык»⁷. Автор, описывая находящийся в его личной библиотеке экземпляр, отмечает, что для всех арабских слов в нем весьма удачно найдены турецкие соответствия.

В рецензии Х. Эрена «Новая рукопись „Книга Деде Коркуд“»⁸ сообщается о выходе в свет книги итальянского тюрколога Этторе Росси, представляющей собою исследование этого фольклорного произведения с частичным переводом и факсимиле рукописи, найденной Э. Росси в библиотеке Ватикана⁹. Ряд критических замечаний относительно неправильного чтения некоторых имен собственных в указанной книге Э. Росси содержится в заметке Х. Оркуна «Книга Деде Коркуд»¹⁰.

*

Несколько статей в журнале касаются вопросов орфографии и пунктуации. В статье М. Н. Оздарендели «Некоторые вопросы нашего языка» затрагивается вопрос об употреблении заглавных букв¹¹. Автор считает неоправданным написание с заглавной буквы слов типа *Türk* «турок, турецкий», *İngilizce* «по-английски», *Felsefe* «философия».

¹ «Anayasa dilimiz üzerine», TD, cilt I, № 7, 1952, стр. 377—382.

² M. Gökberk, Anayasa dili, там же, стр. 383—386.

³ R. R. Arat, Gramer istihlamları hakkında, TD, cilt IV, № 44, 1955, стр. 479—488.

⁴ «Türk dil kurumu çalışmaları. Yönetim kurulu raporu», TD, cilt III, № 35, 1954, стр. 631—641.

⁵ A. İnan, Eski türkçe üç Kuran tercümesi, TD, cilt I, № 6, 1952, стр. 324—327 (12—15).

⁶ Его же, Eski Kuran tercümelerinin dili meselesi, TD, cilt I, № 7, 1952, стр. 395—398 (19—22); его же, Eski Kuran tercümelerinin dili meselesi, II, TD, cilt I, № 9, 1952, стр. 510—512 (14—16).

⁷ C. Canbulat, XVI. yüzyıla ait türkçe bir Kur'an tercümesi, TD, cilt II, № 14, 1952, стр. 85—86.

⁸ H. Eren, Kitâb-ı Dede Korkut'un yeni yazması, TD, cilt II, № 13, 1952, стр. 3—4.

⁹ E. Rossi, II «Kitâb-ı Dede Qorqut». Racconti epico-cavallereschi dei Turchi Oğuz. Tradotti e annotati con «facsimile» del ms. Vat. Turco 102. Studie Testi 159, Città del Vaticano, 1952 (описание приводится по указ. пер.).

¹⁰ H. N. Orkun, Kitâb-ı Dede Korkut, TD, cilt II, № 15, 1952, стр. 142—143.

¹¹ M. N. Özdarandeli, Dilimizin bazı meseleleri, TD, cilt IV, № 42, 1955, стр. 352—354.

софия». Автор останавливается также на вопросе слитного и раздельного написания слов. По его мнению, многие сложные слова, которые пишутся отдельно (например: *on bir* «одинадцать», *hiç bir* «ничего», *orta çağ* «средние века» и др.), следует писать слитно. В статье Э. Гёкшеина «Причины недочетов в пунктуации» выявляются характерные ошибки в употреблении знаков препинания¹.

Значительное внимание уделяется в журнале вопросу письменности. В большой статье Ф. Р. Уната «От латинского алфавита к турецкому алфавиту» освещается история реформы турецкого алфавита, причем автор подробно останавливается на первых попытках применения латинского алфавита к турецкому языку (XVII в.— издание Мюттефериком Ибрагимом турецкой грамматики для иностранцев с примерами как в арабской, так и в латинской графике; 1855 г.— первый случай применения латинского алфавита для передачи телеграмм на турецком языке и т. д.)². О роли великого азербайджанского ученого и писателя М. Ф. Ахундова в разработке латинизированного алфавита для тюркских языков пишет Х. Дидароглу в своей статье «Мирза Фатали Ахундов и вопрос алфавита»³. Вопросы графики в историческом плане рассматриваются в статье М. Эргина «Наиболее соответствующий турецкому языку алфавит»⁴. Сравнивая все алфавиты, которые когда-либо употреблялись в тюркских языках (орхонский, уйгурский, арабский и современный латинизированный), он приходит к выводу, что современный латинизированный алфавит наиболее соответствует турецкому языку.

Журнал довольно быстро откликается на появление новых работ известных тюркологов и востоковедов, печатая на своих страницах небольшие заметки типа аннотаций. Рецензия Х. З. Кочая «Урало-алтайские исследования М. Рясина» резюмирует выводы Рясина относительно общей родины урало-алтайских племен⁵. В аннотации Х. Эрена «Исследования в области тюркологии»⁶ кратко излагается содержание новой работы П. Бодберга⁷. В заметке Х. Эрена «О смешанных языках» («Смешанная система османского языка») аннотируется наиболее интересная, по мнению рецензента, для турецкого читателя часть («Türkische Studien aus Vidin», стр. 159—199) большой работы известного венгерского тюрколога Ю. Немета⁸. Несколько подробнее излагается содержание новой работы У. Хойда «Языковая реформа в современной Турции»⁹ в рецензии А. Д. «Новый труд о реформе турецкого языка»¹⁰. Журнал знакомит своих читателей также и с работами советских тюркологов: в аннотации А. Инаня¹¹ кратко излагается содержание «Исследований по сравнительной грамматике тюркских языков. Ч. 1 — Фонетика» (М., 1955). Небезынтересно отметить, что в журнале аннотируются наиболее значительные библиографические справочники и указатели как по лингвистике вообще, так и по востоковедению и тюркологии, в частности¹².

Как видно из нашего обзора, многие работы по конкретным вопросам турецкого языка, публикуемые в журнале «Türk dili», невелики по объему и являются как бы сжа-

¹ E. N. Gökşen, *Noktalama başarısızlıklarının sebepleri*, TD, cilt V, № 58, 1956, стр. 615—618.

² F. R. Unat, *Latin alfabesinden türk alfabesine*, TD, cilt II, № 23, 1953, стр. 721—734.

³ H. Dizdaroğlu, *Mirza Fethali Ahuntzade ve alfabeye meselesi*, TD, cilt I, № 8, 1952, стр. 460—463 (20—23).

⁴ M. Ergin, *Türkçeye en uygun alfabeye*, TD, cilt III, № 30, 1954, стр. 308—311.

⁵ H. Z. Köşay, *Ural-Altay tetkikleri*. Uralaltaische Forschungen von Martti Räsänen (Helsinki), TD, cilt III, № 28, 1954, стр. 205—206.

⁶ H. Eren, *Türkolojiye ait araştırmalar*, TD, cilt II, № 18, 1953, стр. 340—341.

⁷ P. A. Boodberg, *Three notes on the T'u-chüeh Turks*, Berkeley and Los Angeles, 1951. Основные положения работы П. Бодберга (а также изложение их в аннотации Х. Эрена) вызвали ряд возражений со стороны английского ученого С. Клаузона (см. S. G. Clouston, *Bir mektup*, TD, cilt II, № 21, 1953, стр. 592—594).

⁸ H. Eren, *Karma diller üzerine*. (Osmanlıca'nın karma sistemi), TD, cilt IV, № 48, 1955, стр. 716—718.

⁹ J. Németh, *Zur Kenntnis der Mischsprachen*. (Das doppelte Sprachsystem des Osmanischen), *Acta Linguistica*, t. III, fasc. 1—2, Budapest, 1953.

¹⁰ U. Heyd, *Language reform in modern Turkey*, «Oriental notes and studies published by the Israel Oriental society», № 5, Kudüs, 1954.

¹¹ A. D., *Türk dil devrimi hakkında yeni bir eser*, TD, cilt IV, № 43, 1955, стр. 412—415.

¹² A. İnan, *Türk dillerinin karşılaştırmalı grameri üzerine araştırmalar*, TD, cilt VI, № 63, 1956, стр. 136—138.

¹³ См. М. Т. Асароглу, *Türk dilinin bibliyografya kaynakları*, TD, cilt III, № 36, 1954, стр. 721—724; ег о же, *Dil bibliyografyaları*, TD, cilt IV, № 39, 1954, стр. 168—171.

тым изложением часто весьма серьезных и обширных проблем. Это можно считать до некоторой степени правомерным, так как журнал не ставит перед собой задач глубокого, академического анализа филологических вопросов. В заключение следует отметить, что рассматриваемый журнал, несомненно, играет определенную положительную роль в деле развития турецкого языка и литературы и способствует широкой популяризации норм литературного турецкого языка.

А. Н. Васкаков

ПОСЛЕДНИЕ ЗАРУБЕЖНЫЕ ТРУДЫ ОБ ОСЕТИНСКОМ ЯЗЫКЕ

Интерес зарубежных ученых к осетинскому языку объясняется, помимо всего прочего, также и тем, что он принадлежит к индоевропейской системе (к иранской ее ветви), в то время как окружающие осетин народы говорят на неиндоевропейских языках. Большинство зарубежных осетиноведческих работ последнего десятилетия посвящено вопросам фонетики.

Проблемы осетинского ударения касается И. Гершевич в первой части своей статьи «Иранские заметки» (см. «Transactions of the Philological society» — сокр. Trans. Phil. soc., — London, 1948, стр. 61—68), в которой рассматривается переход ударения в осетинском со второго слога на первый в случаях, когда необходимо подчеркнуть определенность предмета, например *xædzár* «a house», *xædzare* «the house». Подобное функциональное значение ударения, возникшее в иронском диалекте после утери определенного артикля *i* (который сохранился в дигорском диалекте осетинского языка), явилось результатом регрессии ($\leftarrow \leftarrow \leftarrow \leftarrow \leftarrow$) или прогрессии ($\rightarrow \rightarrow \rightarrow \rightarrow \rightarrow$) ударения. По мнению И. Гершевича, перемещение ударения в осетинском стоит также в зависимости от ритмики речи.

Статья Е. Гендерсон «Фонетическое исследование восточноосетинского (дигорского) диалекта» (см. «Bull. of the School of Oriental and African studies» — сокр. BSOAS, — t. XIII, part 1, London, 1949, стр. 35—78) явилась первым специальным трудом, посвященным дигорскому диалекту вообще и дигорской фонетике, в частности. Она представляет собой результат впервые примененного в осетинской фонетике исследования инструментальным путем (запись на кимографе, пластинках) речи природного дигорца (из г. Орджоникидзе). Кроме того, автор использовал диалектальные записи, предоставленные в его распоряжение проф. Г. Байли, а также «Памятники народного творчества осетин» и другие материалы.

О дигорских гласных в статье говорится слишком кратко и их характеристика не выходит за рамки сведений, уже имеющихся в литературе, кроме случая с гласным *æ*, для которого автор дал наиболее полное и точное описание. Деление гласных на *д о л г и е* и *к р а т к и е*, на наш взгляд, правильно, однако оно не аргументировано. После краткого рассмотрения структуры слога дается схема возможных звуковых сочетаний в слоге. К сожалению, в ней отсутствуют слоги с гласным началом.

Наиболее полно изучен консонантизм. Дана классификация согласных по местонахождению в слоге и слове и ряд схем сочетаний согласных с гласными в различных позициях. Все согласные делятся на класс *н а ч а л ь н ы х* и класс *в с х о д ы х*, каждый из которых, в свою очередь, подразделяется на два подкласса: *а б с о л ю т ы х* и *с т ы к о в ы х*. Но в начале и в исходе слова может оказаться целая группа согласных. Поэтому перечисленные классы и подклассы далее подразделяются на *е д и н и ч ы е* и *с о ч е т а н и я*. Однако для начальных дело этим не ограничивается. Они могут находиться перед разными гласными, в зависимости от чего делятся еще на: а) начальные перед гласными переднего ряда, б) начальные перед гласными среднего (смешанного) ряда, в) начальные перед гласными заднего ряда.

Рассматривая геминацию в дигорском, автор устанавливает здесь три случая: 1) после определенных аффиксов, 2) на стыках слов при ассимиляции и 3) «во всех остальных случаях». Приходится сожалеть только, что остался незатронутым вопрос о так называемом «четвертом ряде смычных» в дигорском, поднятый проф. Г. С. Ахведиани и разработанный В. И. Абаевым для иронского диалекта осетинского языка.

Интересные наблюдения проведены в области соединения гласных и результатов этого соединения. Но, уделяя значительное внимание целому ряду деталей, автор, к сожалению, уклоняется от обобщений. Неразрешенным остался, несмотря на добросовестные и настойчивые попытки автора, вопрос о слоговом ритме и ударении. Приложенный к работе образец прозы в фонетической транскрипции в общем следует считать удачным.

Ценность самостоятельной и оригинальной работы Е. Гендерсон снижается из-за недостаточного внимания к имеющейся осетиноведческой литературе и главным образом к трудам А. Шегрена, В. Ф. Миллера, В. И. Абаева.

Кроме того, в имеющихся в статье многочисленных схемах, диаграммах и таблицах не везде отражены некоторые характерные особенности дигорской фонетики. Так,

не выявлена седьмая дигорская фонема *ɪ*, хотя автор вплотную подошел к разрешению этого вопроса (см. М. И. Исаев, О вокализме осетинского языка, «Труды Ин-та языкознания [АН СССР]», т. III, 1954). Наконец, отрицательно сказалось на работе и то, что осведомитель-дигорец более двух десятилетий был оторван от своей языковой среды.

Е. Гендерсон совместно с проф. Г. Байли составила также индекс дигорских слов, употребленных в рецензируемой статье (см. BSOAS, т. XIII, part 2, 1950, стр. 381—388).

Дигорской фонетике посвящена и работа известного английского ираниста Г. Байли «Об ударении в дигорском диалекте осетинского языка» («Recherche linguistique» — сокр. Ric. ling., — I, Roma, 1950, стр. 58—66), в которой автор излагает результаты наблюдения над речью одного дигорца (к сожалению, также оторванного от своей языковой среды уже в течение 30 лет). Устанавливая основные правила ударения, Г. Байли различает в дигорском долгие и краткие слоги. Долгие слоги образуются гласными *a, e, o* и дифтонгами *aj, oj, aj, ej* и др. К ним же примыкают и все закрытые слоги. Краткими же являются открытые слоги с гласными *ae, i, u*. Таким образом, Г. Байли с самого начала выявляет дигорское ударение с количеством слога. Это положение, как нам представляется, правильно и оригинально, благодаря чему автору удалось пойти в разрешении вопроса дальше своих предшественников.

Рассмотрев простые слова и установив, что ударение в них всегда ограничено первыми тремя слогами, Г. Байли издвигает свое основное положение: если первые три слога либо долгие, либо краткие, то ударение в словах с тремя и большим количеством слогов падает на третий слог. Это положение само по себе правильно, если рассматривать его как т е н д е н ц и ю. Однако Г. Байли возводит тенденцию в ранг з а к о н а. В дальнейшем автор старается проследить этот закон на многочисленных примерах с различными сочетаниями долгих и кратких слогов (например, для двухсложных слов устанавливается четыре положения, для трехсложных — восемь и т. д.). При таком подходе исключений оказывается больше, чем примеров, подтверждающих «закон». К тому же многочисленны и погрешности в языковом материале. В результате Г. Байли в своей весьма интересной работе не дает общих закономерностей дигорского ударения, хотя своими толстыми замечаниями и приближает нас к разрешению этой сложной проблемы.

Несомненный интерес представляет статья Г. Маррисона «Осетинские фамилии и личные имена» (см. Ric. ling., II, 1951, стр. 75—88), в которой дается ряд интересных наблюдений, в частности, над разграничением форм мужских и женских имен, над образованием фамильных имен и т. д. Списки имен и фамилий приводятся в алфавитном порядке отдельных группами. Первая группа включает 326 мужских имен в дигорской форме. Следующая группа состоит из 34 дигорских женских имен; далее приводятся 119 дигорских фамильных имен, затем — 144 иронских фамильных имен. Однако общий список (623 имени) ни в коей мере не охватывает всего богатства личных и фамильных имен в осетинском языке. Кроме того, нередко вызывает сомнение правильность передачи материала, а иногда и его источник. Тем не менее, повторяем, статью Г. Маррисона следует признать весьма ценным начинанием в осетиноведении.

В статье И. Гершевича «Древние элементы в осетинском языке» (см. BSOAS, т. XIV, part 3, 1952, стр. 483—495) рассмотрен с исторической точки зрения целый ряд древних основ, сохранившихся в осетинских словах: *ræuonæ, fæzdonæ, fujau, imisun, listæ, æzæn, fedun, igurun* и др. Тому же автору принадлежит статья «Слово и его религиозное содержание» (см. BSOAS, т. XVIII, part 3, 1955, стр. 478—489); в ней исследуется осетинское слово *uas* (божественная весть, новость и т. д.) и его религиозное содержание, причем автор отчасти полемизирует с В. И. Абаевым, который также останавливается на данном вопросе, — см. его «Осетинский язык и фольклор», т. I (М.—Л., 1949, стр. 185 и сл.).

Интересный исторический материал по осетинскому языку можно найти в этимологических заметках проф. Г. Байли (см.: Trans. Phil. soc., 1945, стр. 1—38; BSOAS, т. XIII, part 2, стр. 389—409; там же, part 3, стр. 920—938; там же, т. XV, part 3, стр. 530—540 и др.).

Существует еще целый ряд иранистических работ, в которых широко привлекается материал осетинского языка, а подчас имеются и ценные суждения по отдельным вопросам истории осетинского языка. В качестве примера можно назвать исследование известного чешского ираниста д-ра Л. Згусты «Собственные имена жителей греческих городов северного побережья Черного моря» (L. Z g u s t a, Die Personennamen griechischer Städte der nördlichen Schwarzmeerküste, Praha, 1955).

В заключение следует упомянуть о выходящем с 1953 г. во Франции осетиноведческом журнале «Oss — Alanes. Journal trimestriel d'Institut d'ossetologie. Organe de Recherches Scientifiques (Iron institut)», который помещает статьи, посвященные вопросам археологии, истории, литературы, фольклора. Языковедческая часть представлена следующими статьями: Дз. Дзаны — «Империя осетин-алан (язык, культура и история)» (№№ 1, 2, 3-4, 5-6); «Список баскско-осетинских слов» (№№ 3, 4); «Отдел общего изучения Кавказа (развитие кавказского языкознания)» (№ 1); А. Бу р-

и а д е в а — «Неизвестные во Франции топонимические названия исторических мест по данным осетинского языка» (№№ 1, 2) и др. В одном из академических изданий будет опубликована специальная рецензия, посвященная журналу «Oss-Alanes»).

М. И. Исеев

Р. Г. Пиотровский. Очерки по грамматической стилистике французского языка. Морфология. — М., Изд-во лит-ры на иностр. языках, 1956. 169 стр. (Б-ка филолога).

Книга Р. Г. Пиотровского является первым в советском языковедении опытом изучения строя французского языка в плане стилистическом. Работа состоит из «Введения» (стр. 3—35), излагающего точку зрения автора на предмет стилистики в целом, и четырех глав: «Имя существительное» (стр. 36—82), «Имя прилагательное и его грамматические синонимы» (стр. 83—90), «Местоимение» (стр. 91—114) и «Глагол» (стр. 115—181). В отдельных главах дается грамматико-стилистическая характеристика соответственных частей речи с привлечением достаточно большого иллюстративного материала. В конце книги дана библиография (стр. 182—187), расположенная по темам.

Во «Введении» Р. Г. Пиотровский так определяет предмет и задачи стилистики: «Вопросами выбора языковых средств для точной и выразительной передачи того или иного содержания мысли занимается с т и л и к а» (стр. 4). Автор вводит следующие понятия и термины: «Стилистика общенационального языка» (стр. 9—26), «Стилистика литературно-художественной речи» (стр. 27—31) и «Грамматическая стилистика» (стр. 31—35). Не все изложенное во «Введении» представляется бесспорным и равноценным. Однако если противопоставление двух стилистик — общенационального языка и индивидуально-художественной или литературно-художественной речи, проводимое автором, может вызвать сомнения¹, то никаких возражений, по нашему мнению, не может быть против выделения так называемой «грамматической стилистики», обоснование которой излагается во «Введении» и определяет собой и все дальнейшее построение книги.

Думается, что автора можно утешить в том, что в своих теоретических положениях он недооценивает значения для стилистики экспрессивного, эмоционального фактора, ограничиваясь лишь упоминанием об «экспрессивно-оценочных возможностях грамматического факта» (стр. 33) и краткими замечаниями об «оценочно-выразительной характеристике (экспрессии) языкового элемента» (§ 19, стр. 25—26). В данном случае теоретическая часть книги Р. Г. Пиотровского («Введение») выступает в явное противоречие с последующими четырьмя главами, которые являются своего рода «стилистикой в действии», т. е. описанием и истолкованием стилистически окрашенных конкретных грамматических явлений французского языка. Во «Введении» эмоционально-чувственному, образному в стилистической системе языка уделено очень мало внимания, но в последующем изложении, при стилистическом анализе языковых фактов, автор пользуется почти на каждой странице такими характеристиками, как: «эмоциональное подчеркивание» (стр. 37); «аффективная заостренность», «пластичность и живопность» (стр. 38); «разговорно-экспрессивная окраска» (стр. 40); «функции художественно-эмоционального», «отчетливая экспрессивно-художественная заостренность» (стр. 42) и т. п. Мы позволили себе произвести небольшой статистический подсчет: на 144 страницах книги (от стр. 36 до стр. 180) автор 83 раза привлекает подобные эпитеты. Мы не только не возражаем против широкого привлечения понятия «образности» в трактовке стилистических явлений, но считаем это вполне и даже единственно закономерным. Р. Г. Пиотровский своим изложением фактического материала подтверждает этот тезис, который, однако, не находит себе достаточно полного отражения в теоретической части исследования.

Другое возражение автору состоит в том, что он, хотя и устанавливает границы между грамматикой и грамматической стилистикой (стр. 33—35), но границы эти недостаточно отчетливы, в в дальнейшем изложении можно обнаружить явное смешение стилистических явлений с грамматическими. Мы полагаем, что всякому стилистическому истолкованию непременно должен предшествовать тщательный грамматический, а иногда и лексико-грамматический анализ. Другими словами, если мы рассматриваем какое-либо грамматическое явление в стилистическом плане, то «стилистика начинается там, где кончается грамматика»².

¹ Сам автор признает, что «практически явления стилистические (т. е. явления, находящиеся в сфере общезыковой стилистики) и явления стиливые (явления, присущие стилистике индивидуально-художественной) трудно разграничить, поскольку они находятся в постоянном взаимодействии» (стр. 28—29).

² Б. А. К р ж е в с к и й, Курс лекций по стилистике. I ЛГУИЯ. Стенограмма от 16 октября 1952 г., стр. 14.

Постараемся проиллюстрировать указанное положение конкретными примерами. На стр. 52—54 в главе «Имя существительное» автор говорит об употреблении множественного числа существительных абстрактных и обозначающих единственные в своем роде предметы. Совершенно правильно указывается, что подобное употребление «пращает повествованию оттенок наглядной живописности» (стр. 52), «служит для писателей-реалистов средством более наглядного пластического изображения различных психологических категорий» (стр. 53). Однако дальше приводятся отрывки, где множественное число абстрактных существительных, по словам автора, или передает оттенок «простой интензивности» (стр. 53): «Elle était grande et mince, de cheveux roux, avec un visage poyé d'indifférence, où ses yeux gris mettaient par moments... les terribles fains de l'égoïsme» (Zola, Au Bonheur des Dames) «Рыжеволосая г-жа Гибал, выскокая в топкая... Лицо ее выражало полнейшее равнодушие, но серые глаза... порою загорались чудовишной жадностью», или в комбинации с глагольными речениями *c'étaient, ce furent* «становится средством передачи видового значения итеративности (повторяемости) действия»: «Ce furent de longs oublis sur la terrasse...» (Zola, Le docteur Pascal) «Они проводили на террасе долгие самозабвенные часы»; «Et c'étaient des tendresses!... et puis des rires!... (Mérimée, Carmen) «И нежности!... и смехи!» (стр. 53—54). В данном случае у автора происходит смешение стилистики, грамматики и лексики. В первом отрывке ничто не дает нам права усматривать простую интензивность. Здесь использованы стилистические средства: описание внешнего облика женщины необычайно выразительно, живописно. Золя представилось необходимым прибегнуть к образу, потому что иначе, без этого образа, нельзя было выразить данное содержание. Однако здесь не только стилистический эффект наслаивается на грамматическое явление — употребление множественного числа для абстрактных существительных, но весьма большую роль, которую необходимо учесть, в данном отрывке играет необычайность лексических сочетаний, особый отбор лексического материала.

Во втором и третьем примерах (фразы из Золя и Мериме) чисто грамматический момент (итеративность) выражается глагольной формой и употреблением множественного числа существительных. Налицо грамматическая характеристика, а стилистическую следует обосновать иначе.

Недостаточное размежевание грамматики и стилистики, отсутствие предварительного грамматического анализа, на основании которого только и может строиться стилистическое истолкование, особенно дает себя чувствовать в разделе «Артикль» (Глава I — «Имя существительное», стр. 56—82). В начале изложения Р. Г. Пиотровский высказывает правильную мысль о том, что для грамматической стилистики очень важно точное определение грамматического значения различных форм артикля (стр. 56). Затем автор говорит о вторичных дополнительных оттенках, свойственных артиклю, которые и дают «устойчивые стилистические типы употребления артикля, несущие экспрессивно-художественную окраску» (стр. 59). С этим надо согласиться. Но приводимые в дальнейшем объяснения и языковые иллюстрации к ним вызывают самые серьезные возражения: «Non seulement le style c'est l'homme, mais le style c'est un homme, une réalité physique et vivante» (Thibaudet, G. Flaubert). «Стиль — это не только человек [человек вообще. — О. К.], стиль это какой-то человек [одни из людей. — О. К.], физическая, живая реальность».

Во фразе Тибоде чередование определенного и неопределенного артиклей несет только грамматическую нагрузку. Аналогичное значение имеет неопределенный артикль и в примерах из Руссо и Лафрета (стр. 64). Стилистическое объяснение Р. Г. Пиотровского представляется мало убедительным: «Употребление неопределенного артикля при существительном *homme* «человек» выдвигает на первый план образ живого человека, сосредоточивая внимание читателя на его физической природе или внешнем облике» (стр. 64).

На стр. 66 дан отрывок из Эркмана-Шатриана: «Mais déjà la ferme était pleine de bruit: dans la cour, le coq, les poules, le chien, tout allait, venait, caquetait, aboyait. Dans la cuisine, les casseroles tintaient, le feu pétillait, les portes s'ouvraient et se refermaient» (Erckmann, Chatrian, L'Ami Fritz) «Но ферма была уже наполнена шумом: во дворе петух, куры, собаки — все ходило, приходило, кудахтало, лаяло. В кухне кастрюли звенели, огонь трещал, двери открывались и вновь закрывались».

Картина шумной сутолоки, нарисованная здесь писателем, складывается из всего контекста, из искусно подобранного сочетания существительных и глаголов. Эта картина не была бы нарушена употреблением неопределенного артикля вместо определенного; это внесло бы, разумеется, новый оттенок, но оттенок грамматический, не разрушающий образного представления.

Думается, что в приведенных на стр. 69 отрывках нельзя заменить определенный артикль неопределенным, не исказив смысла высказывания: «Elle y revit les jours de son enfance, le château dans lequel elle passait les grands étés tristes, les bois taillés, le parc humide et sombre, le bassin où dormaient les eaux vertes, les nymphes de marbre sous le marronniers et le banc sur lequel elle pleurait et désirait mourir» (A. France, Le Lys rouge) «Она там увидела вновь дни своего детства, замок, в котором она не раз проводила длинное грустное лето, подстриженные рощи, сырой и мрачный парк, бассейн

с сонными зелеными водами, мраморные нимфы под каштанами и скамейку, на которой она плакала и хотела умереть».

На стр. 70 Р. Г. Пиотровский приводит фразу из книги Симоны Тери о Д. Казанова. С. Тери говорит о фашистах: «Ils voulaient surtout... tuer en ces hommes l'humain, leur arracher tout ce qui fait la noblesse, la dignité, la grandeur de l'homme, les avilir...» (S. Téry, *Du soleil plein le cœur*) «Им [т. е. фашистам.—О. Р.] особенно хотелось... убить в этих людях все человеческое, вырвать из них все то, что составляет благородство, достоинство, величие человека, принизить их...». Замена в этом случае определенного артикля неопределенным не привела бы к разрушению единства образа, как полагает Р. Г. Пиотровский, а была бы просто невозможной, противоречащей языковой норме.

Сомнительным представляется утверждение автора, что «неожиданность появления в ходе повествования отдельных предметов подчеркивается употреблением неопределенного артикля» (стр. 71). В иллюстрирующих это положение примерах из Доде постановка определенного артикля не изменила бы художественно-выразительную систему этих отрывков, но внесла бы различия грамматического характера.

На наш взгляд надуманным является стилистический анализ следующего отрывка: «Dans la plaine rase, sous la nuit sans étoiles... un homme suivait seul la grande route de Marchiennes à Montsou... à travers les champs de betteraves. Devant lui, il ne voyait même pas le sol noir, et il n'avait la sensation de l'immense horizon plat...» (Zola, *Germinal*). В густом мраке беззвездной ночи по большой дороге из Маршьенна в Монсу... шел одинокий путник, шагая напрямиком через доли свекловичные... Он не видел перед собой в темноте даже земли и лишь чувствовал, что идет по открытому месту...»

Мы позволим себе привести разъяснение Р. Г. Пиотровского по данному поводу: «В этом отрывке существительные с определенным артиклем обозначают элементы мрачного ночного пейзажа, являющегося фоном повествования. Эта мрачная картина как бы предвещает жестокую мрачную действительность жизни шахтеров, с которой суждено познакомиться герою романа Этьену (un homme), сейчас шагающему посреди этого ночного пейзажа к шахтерскому поселку в надежде найти там работу» (стр. 76).

Нам представляется, что автор «Отрывков по грамматической стилистике французского языка» несколько преувеличивает стилистические возможности артикля. Они весьма ограничены именно, может быть, в силу его многообразных и взаимно переплетающихся грамматических значений.

Никто не ставит отрицать, конечно, что иногда артикль во французском языке выполняет образную функцию, например при собственных именах и фамилиях (стр. 77—79 рецензируемой книги). К области стилистики относятся некоторые случаи неупотребления артикля. Очевидно, в стилистических целях иногда в суперлативе появляется неопределенный артикль, вопреки совершенно ясной грамматической норме — использованию в этой конструкции определенного артикля. Но, повторяем, стилистические оттенки его незначительны; в ряде случаев стилистический анализ, применяемый Р. Г. Пиотровским, произволен, грешит излишним психологизмом и, как указывалось выше, сливается с анализом грамматическим.

Самой большой по объему является четвертая глава рецензируемой книги — «Глагол», что естественно, так как именно в глаголе заложено наибольшее количество дополнительных стилистических оттенков. Этот раздел книги, полагаем мы, наиболее удался автору.

Нельзя возразить против стилистического толкования исторического предфекта (стр. 163—165); его экспрессивная, эмоционально насыщенная значимость убедительно раскрыта на материале из Руссо («Les Confessions»). Автор правильно видит в некоторых употреблении предфекта (*passé simple*) возможность подчеркивания возвышенного или патетического характера высказывания и удачно комментирует с этой точки зрения диалог Пьера Нюьера и мадам Ганс у А. Франса (стр. 156). Хочется только добавить, что в приведенном на той же странице отрывке из автобиографической повести М. Тореза «Сын народа» предфект придает повествованию не только эпитетность, как отмечает Р. Г. Пиотровский, но, в сочетании с лексическими средствами, большую выразительность и эмоциональность. Однако нам кажется, что на стр. 173—175, говоря об описательных возможностях *passé simple* и *passé composé*, автор относит к стилистике то, что принадлежит по праву грамматике, в частности в параграфе 123 (стр. 174—175), где он разбирает видовые оттенки обоих предфектов, простого и сложного.

Некоторые возражения вызывает трактовка имперфекта. Р. Г. Пиотровский обращается к имперфекту дважды — вначале он разбирает его повествовательные возможности, хотя и считает их незначительными (§ 115, стр. 165—168), вторично он привлекает к нему внимание в разделе «Прошедшие времена, выполняющие описательные функции» (§ 118, стр. 169—173). Имперфект индикатива действительно выполняет некоторые повествовательные функции, и тогда он обладает очень яркой стилистической окраской. В первую очередь это «*imparfait pittoresque*», «*imparfait de narration*», «*imparfait stylistique*», как его различно называют различные лингвисты. К этому стилистическому употреблению имперфекта автор дает хорошие языковые иллюстрации на А. Франса (стр. 166) и М. Тореза (стр. 167, 168). Наряду с убедительными при-

мерах, Р. Г. Пиотровский помещает и комментирует отрывок из «Кармен» Мериме (стр. 166). Между тем в фразе Мериме: «...*Je marchais derrière comme un brigadier doit faire en semblable rencontre*» «... я шел сади, как полагается в таком случае ефрейтору» — мы имеем обычный имперфект, представляющий действие, в силу своих исконных видовых свойств, длившимся, растянутым. Любопытно заметить, что в другом разделе (стр. 170), где речь идет о характерном для имперфекта видовом употреблении, автор помещает аналогичные примеры: «...*à cette époque on écoutait tout le temps la radio, on espérait tellement des nouvelles...*» (E. Triolet, *Les fantômes armés*) «... в то время не переставая слушали радио, так наделись услышать новости».

С точки зрения грамматической и стилистической нет никакой разницы в использовании *imparfait* между *je marchais* и *on écoutait*. Весь раздел, посвященный описательному имперфекту, целиком относится к области грамматики, что особенно отчетливо обнаруживается в отрывке из новеллы Монассана «Пьерро» (стр. 172—173), где мы можем наблюдать обычное в рассказе чередование *imparfait* и *passé simple*. Это грамматическое значение имперфекта следовало бы в книге подчеркнуть и отделить от стилистического. Вместе с тем не все стилистические возможности данной формы раскрыты; так, например, автор не упоминает об употреблении имперфекта, называемом в нормативных грамматиках «модальным», типа: «*Encore un pas, et elle tombait*». «Еще один шаг — и она упала бы». Этот вариант условной конструкции нам представляется стилистически окрашенным.

Наконец, вызывает недоумение тот факт, что в главу, посвященную глаголу, не вошло описание «будущего предварительного» (*futur antérieur*) в тех случаях, когда оно относится к прошлому. Нам кажется, что это употребление в значительной степени следует рассматривать в стилистическом плане.

Хотелось бы ввести в «Очерки по грамматической стилистике» и явления синтаксиса, тем более, что хотя автор и ограничивает себя подзаголовком «морфология», но на самом деле в книге имеются элементы синтаксиса и их следовало бы только расширить. Так, например, в главе второй «Имя прилагательное и его грамматические синонимы» (стр. 83—90) автор оперирует не только морфологическим материалом, но и синтаксическим. Он фактически касается вопросов синтаксиса и на страницах 136—141, трактуящих безличные конструкции. Правильно отмечает акад. В. В. Виноградов: «... вопросы об экспрессивных оттенках предикативных форм и оборотов (например, глагольных форм времени и наклонения, безличных глаголов и т. п.) относятся уже к области или лексики, или синтаксиса, а тем самым и соответствующих разделов стилистики»¹.

Нам представляется, что при переиздании «Очерков» следовало бы увеличить объем книги, включив в нее и вопросы синтаксиса в стилистическом освещении. Одновременно в некоторых разделах целесообразно было бы произвести сокращения².

В заключение нельзя не упомянуть о некоторых шероховатостях стиля. Громоздко и тяжеловесно изложен § 91 на странице 133: «Стилистико-смысловые и экспрессивные возможности третьего лица [личных местоимений. — О. Н.] вытекают, во-первых, по линии противопоставления последнего первому и второму лицам местоименно-глагольных форм, во-вторых, по линии сравнения различных синонимических форм выражения значения третьего лица». Двусмысленна фраза на стр. 144: «Синонимические «встречи» *présent* и *imparfait* происходит обычно в дополнителных придаточных предложениях, зависящих от глаголов говорения и чувствования, употребляемых в одном из прошедших времен: *Il m'a dit qu'il est ('tait) malade*». Слово «встреча» можно понять как одновременное употребление указанных времен в одном предложении, чего, конечно, автор не предполагал.

В последнем абзаце на стр. 17 автор злоупотребляет словом «обычно», а на стр. 18 излишне часто повторяется: «разновидности и формы функционирования языка». Однако книга написана в целом хорошим языком, погрешности стиля незначительны; мы упомянули о них только потому, что кособоко по стилистике следует предъявить особо строгие требования в отношении стиля — он должен быть безукоризненным.

О. В. Кржевская

¹ В. В. Виноградов, *Итоги обсуждения вопросов стилистики*, ВЯ, 1955, № 1, стр. 65.

² Так, например, едва ли нужно сообщать читателю и иллюстрировать длинными отрывками, что форма единственного числа 2-го лица личных местоимений употребляется при обращении говорящего к близким людям и членам семьи, а формой множественного числа пользуется при обращении к посторонним (стр. 127—128).

Limba română. Fonetică — Vocabular — Gramatică. — București, Ed. Acad. R. P. R., 1956. 279 стр. (Institutul delingvistică din București Acad. R. P. R.).

Два года спустя после выхода в свет академической «Грамматики румынского языка» (2 тома)¹ Институт языкознания в Бухаресте издал краткое руководство по румынскому языку, предназначенное не только для специалистов, но и для широкого круга читателей.

Книга составлена группой сотрудников Секции грамматики Института — акад. Ал. Грауром, проф. Д. Макря, проф. Ж. Биком и рядом молодых исследователей. Как указано в «Предисловии», она является общим руководством по румынскому языку, включающим в себя не только грамматику, фонетику и лексику, но и общие сведения по языкознанию, а также сведения по истории румынского языка. По сравнению с академической «Грамматикой» в «Румынском языке» сокращены главы по фонетике, морфологии и синтаксису, которые в принципиальном отношении не отличаются от соответствующих разделов прежней работы, за исключением ряда поправок и уточнений.

В главе «Общие сведения по языкознанию» (стр. 11—24) дается краткое и компактное изложение основных вопросов науки о языке; лишь в некоторых случаях эта глава грешит известным схематизмом и наличием излишних цитат. Четко и ясно изложены также «Сведения по истории румынского языка» (стр. 25—35), указывающие на место и время образования этого языка-наследника латинской речи придунайских областей, включившего в себя ряд автохтонных (дако-фракийских, возможно, и иллирийских) элементов. Характеристика исконного латинского фонда лексики дается наряду с иноязычными пластами, прочно вошедшими в румынский язык: славянскими, греческими, венгерскими, турецкими и французскими заимствованиями. Удачно определены основные морфологические процессы, приведшие к упрощению и перегруппировке именного склонения, к развитию разных видов артикля и т. п. Важны также указания на ряд отличий румынского синтаксиса от латинского (развитие конъюнктивных конструкций за счет инфинитивных, развитие особого показателя для винительного падежа личных имен и местоимений *-re*, установление относительно несвободного порядка слов и др.).

В главе «Лексика» (стр. 37—52) рассматриваются вопросы соотношения лексики и грамматики, основного, наиболее устойчивого словарного фонда и противопоставляемых ему архаизмов, неологизмов, областных и профессиональных слов. Раздел о синонимах и омонимах, к сожалению, разработан недостаточно (стр. 40—42). Это же можно сказать о разделе «Фонетика» (стр. 53—62), где, однако, теоретические положения авторы умело сочетают с рядом практических указаний. Полнее всего, с достаточным числом иллюстраций и примеров из современной литературы изложены «Морфология» (стр. 67—184) и «Синтаксис» (стр. 185—268), являющиеся основными и, по нашему мнению, наиболее удачными разделами книги.

Отсылая читателя к упомянутой рецензии на академическую «Грамматику румынского языка», содержащей ряд замечаний по основным вопросам, которые остаются в силе и для «Румынского языка», остановимся лишь на некоторых более частных моментах. Недостаточно оправданной является ссылка на славянские языки, якобы способствовавшие сохранению румынского «довольно сложного склонения» (стр. 24), ибо такое развитие именного склонения (за исключением авт. падежа жен. рода на *o: so-ro*) объясняется его внутренними тенденциями и законами. Кроме того, здесь следует говорить не только о сохранении, но и о развитии, ибо склонение существительного с определенным артиклем является специфичным для румынского языка. То же самое надо сказать о среднем роде, якобы сохранившемся и усилившемся под воздействием славянских языков. Известно, что слова среднего рода типа *vedro, vreme* стали в румынском языке существительными женского рода *vedră, vreme* и что мало общего между славянским средним родом и румынским.

Когда говорят о том, что румынский язык был уже «сформирован» в VII в., до активного общения романского населения со славянами, не учитывают, что это активное общение имело место немного позже, начиная с IX в., и играло определенную роль в становлении румынского языка. Кроме того, не все приведенные здесь (и в других работах) фонетические и грамматические аргументы в пользу раннего «формирования» румынского языка являются достаточными или правильными. Так, на стр. 26 говорится, что «грамматический строй румынского языка содержит мало славянских элементов, но это не довод, ибо в румынской грамматике еще меньше, например, фракийских элементов. Что касается фонетики, то нам кажется, что нельзя рассматривать в одной плоскости такие явления, как *hibërna > iarnă* и *ovis* (собственно *ovis*) > *oaië*, и ожидать, что и славянские слова, вошедшие в румынский (типа *treabă*), должны были потерять средний согласный в том случае, если бы они входили в балкано-романскую речь до «формирования» румынского языка. Вряд ли также можно считать безоговорочным переход *a > i* (перед носовым, под

¹ См. рецензию В. А. Лисицкого (ВЯ, 1955, № 6).

ударением) только для латинских элементов (ср. *stîrîp*, которое, если не является славянским, то по крайней мере проникло в румынский через южнославянские языки; ср. также *smîn'inî* < слав. *smetana*). Таким образом, видимо, вопрос о формировании румынского языка следует рассматривать более внимательно, и не только с фонетической стороны, но и со стороны морфологической, а отчасти — словарной.

По нашему мнению, не следует считать статистически окончательно установленным характер «основного словарного фонда» румынского языка (60% — латинские элементы, около 20% — славянские и т. п.), согласно подсчетам Ал. Граура¹. Касаясь вопроса о русском влиянии, следовало бы учитывать, что оно началось еще в XVIII в., а в первой половине XIX в. проявлялось более интенсивно.

Мало внимания уделяется в книге фонетической стороне развития от латинского к румынскому, не объясняются условия развития чередований гласных и согласных в румынском языке. Хотя об изменениях в морфологической структуре говорится подробнее, отсутствует указание на различные этапы формирования грамматического строя румынского языка. В книге, к сожалению, не говорится о появлении письменности на румынском языке и об условиях складывания письменно-литературного языка начиная с XVI в.

Укажем на одну неточность в разделе «Фонетика». Говоря о сочетаниях «глухой + сонант», авторы отмечают, что озвличение глухого происходит нерегулярно, и приводят такие примеры, как *zmeu, gleznî, izlaz*, с одной стороны, и *smîntînî, trosni, slab, destuși* — с другой, забывая, что именно в таком виде они были заимствованы из славянских языков.

В «Морфологии» описания грамматических форм и категорий в некоторых случаях остаются без должных разъяснений относительно их употребления. В книге встречается ряд недостаточно объясненных новых грамматических терминов, как, например, *motiunea, diateza*. При склонении существительных женского рода отсутствуют парадигмы с именами личного рода, что оставляет нераскрытым образование форм звательного и винительного падежей единственного и множественного числа от соответствующих слов. Что касается разных видов артикля, то следовало бы больше остановиться на синтаксических условиях их употребления, ибо логические объяснения недостаточны. Говоря о склонении имен прилагательных, сопровождающих имена существительные, надо уточнить, что здесь мы имеем дело со своеобразным неполным согласованием (ср. дат. падеж: *bîrbatului viteaz* или *frumosului copil*).

Характерным для традиционной-логической позиции авторов является определение местоимений как изменяемой части речи, которая замещает существительное. На самом деле содержание и функции местоимений намного сложнее, а их употребление никак не укладывается в рамки такого определения. Насколько авторы еще придерживаются старой традиции, можно видеть также по тому, что в разряде наклонений глагола рассматриваются и такие глагольные формы, как инфинитив, причастие, герундий и сузив. Спорным является выделение особого наклонения — презумтива (*presuntiv*), являющегося на деле сложным будущим временем с особым оттенком.

Эти замечания ни в коей мере не умаляют того положительного вклада, который вносит данная работа (наряду с другими исследованиями, вышедшими в последнее время в РНР) в научную разработку румынского языка. Книгу «Румынский язык» следует считать ценным и нужным руководством, а появление ее более чем своевременным.

Г. Милаше

Maurice Toussaint. La frontière linguistique en Lorraine.—Paris, éd. A. et J. Picard, 1955. 240 стр., 1 карта.

Обширная литература, посвященная изучению францужско-немецкой языковой границы, пополнилась еще одним интересным и обстоятельным исследованием — книгой М. Туссэна «Языковая граница в Лотарингии». В своей работе Туссэн ограничивается лишь описанием департамента Мозель. Этот департамент представляет большой интерес для исследования, так как именно здесь францужско-немецкая языковая граница подвергалась наиболее значительным изменениям — до 1500 г. в пользу немецкого языка, а с 1500 и до наших дней в пользу французского, который отвоевывает у немецкого зону шириной до 20—25 км.

Работа М. Туссэна, которой предпослано предисловие (стр. 5—11), составленное Ш. Перреном, состоит из двух частей. В первой части «Коллебанье лингвистической границы и современное ее положение» (стр. 13—58) дается описание изучаемой языковой границы, излагается история вопроса и приводятся материалы собственных

¹ См. Ал. Граура, *Încercare asupra fondului principal lexical al limbii romîne* [București], 1954.

² Иной точки зрения по этому вопросу придерживается акад. И. Йордан (см. I. Iordana, *Limbă romînă contemporană*, [București], 1954, стр. 424).

исследований и наблюдений автора за последние годы. Здесь можно найти также обширную библиографию трудов по изучению францужско-немецкой языковой границы.

К своим предшественникам М. Туссен подходит критически. В частности, он указывает на недостаточную объективность многих исследователей и их стремление, вопреки фактам, преувеличить удельный вес немецкого языка на изучаемой территории [см. замечания автора о картах, составленных Кипертом и Пфистером, и о неточных сведениях переписи населения в период немецкой оккупации (стр. 16—17)]. В одном из параграфов первой части книги М. Туссен излагает также результаты своих исследований в области археологии и топонимики. Эти данные интересны как дополнительные материалы к исследованию Г. Витте, определившего контуры францужско-немецкой языковой границы в 1000—1500 г., а также К. Тиса, установившего контуры этой же границы в 1885 г. Изучение дальнейшего распространения французского языка с 1885 г. по 1950 г., происходившего особенно интенсивно после воссоздания Лотарингии и Эльзаса в 1918 г., представляет собой оригинальное, принадлежащее автору исследование, в котором он использовал и некоторые данные своих современников (например, статью Ж. Робийо). На карте, приложенной в конце книги, кривая граница к 1950 году вычерчена автором на основании личной анкеты, а также последних данных переписи населения. Как видно из материалов М. Туссена, зона распространения французского языка после 1885 г. доходит до 5 км.

Во второй части работы — «Перечень топонимов общин, расположенных на языковой границе от Люксембурга до Вогеза» (стр. 59—233) — публикуются кадастровые списки¹ деп. Мозель, составленные в 1810—1835 гг. Эти материалы разделены на три части — от Люксембурга до долины р. Мозель, от долины р. Мозель до области двух рек Нид и от области двух Нид до Вогеза. Последовательно перечисляются местности, в которых в рассматриваемый период господствовал французский язык, двуязычные области и области распространения германских диалектов. Для наиболее крупных пунктов дается история их наименований. Например, *Lostruff* (кантон *Albestroff*): *Liuestroff* (XV в.); *Louerstroff* (1476 г.); *Lostruff* (1481 г.); *Losdorf* (1662 г.); *Losdorjen* (1665 г.) (стр. 185). Материал кадастровых списков является новым и мало использован в специальной литературе. Несмотря на неточности и ошибки их составителей, эти списки представляют большой научный интерес.

М. Туссен, так как он не лингвист, не акцентирует внимание читателей на проблеме происхождения и обусловленности диалектных границ в свете новейших достижений романского и германского языкознания. Тем не менее необходимо отметить, что материалы, изложенные в книге, содержат много интересных данных и наблюдений для освещения этого вопроса, являющегося, как известно, одним из наиболее сложных и спорных вопросов французской и немецкой диалектологии. Из работы М. Туссена следует, что современная граница не является ни крайней границей римского расселения, ни крайней границей германской колонизации, а находится где-то между этими двумя границами. Таким образом, выводы М. Туссена в значительной мере совпадают с утверждениями Ф. Штейнбаха и Ф. Петри² о том, что языковая линия между немецким и французским языками представляет собой «линию выравнивания» (*Ausgleichslinie*) при взаимодействии двух культур.

Фактически очерченная францужско-немецкой языковой границы, как показывает М. Туссен, обусловлены разными причинами. Известное значение имело направление римских дорог, на которых были установлены укрепления, мешавшие продвижению германских племен к Мецу как к крупному пункту римской цивилизации. Большое значение имела, например, дорога из Меца в Страсбург (через Дельм, Виксюр-Сей, Марсаль, Саарбур)³. В районе двух рек Нид лесной массив Ремий также оказал некоторое влияние на формирование части границы (стр. 24). Большое значение имели и исторические события — заселение выходцами из Пикардии и Вермандуа территории, опустошенной в результате тридцатилетней войны. Эти обстоятельства, а также значительное экономическое развитие области сыграли, по Туссену, решающую роль в продвижении французского языка с 1500 по 1886 гг. в районе Шато-Сален и юго-восточнее (до 25 км).

Содержательное и богатое материалом исследование М. Туссена является большим вкладом в изучение проблемы «романо-германского мира». Эта книга представляет значительный интерес не только для романистов, но также и для германистов, поскольку кадастровые списки содержат и германские наименования. Она может быть полезна и для историков, как и все работы, затрагивающие вопросы языковых границ.

М. А. Бородина

¹ Списки земельной собственности с указанием владельца, населения, часто языка жителей и других сведений.

² См.: F. Steinbach, *Studien zur westdeutschen Stammes- und Volksgeschichte*, Jena, 1926, стр. 179—180; F. Petri, *Germanisches Volkserbe in Wallonien und Nordfrankreich*, Ha'bbd. II, Bonn, 1937, стр. 941—984, особенно стр. 955.

³ Ср. с шоссейной дорогой на карте «Франция», сост. научно-редакционной карто-составительской частью ГУГК при Совете Министров СССР.

Victor Garcia Hoz. Vocabulario usual, vocabulario común y vocabulario fundamental. — Madrid, 1953. 523 стр.

Хотя автор этого необычного словаря не лингвист, а специалист по психологии и педагогике, его работа имеет большое значение именно для лингвистики. Она представляет собой попытку построить словарь, отражающий статистическую структуру испанской лексики. Это первый словарь такого рода, изданный в Испании, тогда как в других странах аналогичные словари существуют уже давно¹.

«Vocabulario», как это видно уже из заглавия, состоит из трех основных разделов. Первый раздел — это «Употребительный словарь». Он составлен так: обследованные тексты автор объединил в четыре группы: частные письма, газеты, официальные документы и книги (художественная, политическая, научно-популярная литература). В каждой группе было подсчитано 100 тыс. слов. В «Употребительный словарь» вошли слова, встретившиеся по крайней мере один раз хотя бы в одной группе, т. е. критерий «употребительности» таков: встречаемость не реже чем один раз на 400 тыс. слов. Этот критерий автор обосновывает для испанского языка следующим образом: при подсчете в первом десятке тысяч слов их оказывается около 1800 различных (остальные 8200 — повторения), во втором десятке тысяч — только менее тысячи новых слов (таких, каких не было в первом десятке), в третьем — около 500 новых слов и т. д. Число новых слов уменьшается с каждым последующим десятком тысяч, и в одиннадцатом десятке появляется всего 90—95 слов. Автор считает, что если слово встречается реже чем один раз на сто слов, оно не является употребительным. Поэтому в каждой группе и было подсчитано десять десятков тысяч, т. е. 100 тыс. слов, а всего 400 тыс. слов.

Однако большое число (509) слов, удовлетворяющих критерию употребительности, как его определял сам автор, не включено в «Употребительный словарь» только потому, что они отмечены как специальные в Академическом словаре испанского языка или вообще отсутствуют в нем (см. «Diccionario manual e ilustrado de la lengua española, 2-a ed., Madrid, Real Acad. española, 1950). Среди таких слов мы найдем *astronomía, bacteria, gripe, solista, ti is...* (отмечены как специальные), *amical, antifascista, b. indado, bolchevizar, celofán, típicamente...* (отсутствуют) и т. д. Эти слова собраны в двух приложениях к «Употребительному словарю».

Затем следует «Общий словарь», который содержит слова, встретившиеся хотя бы по одному разу в каждой из четырех вышеупомянутых групп текстов (всего 1971 слово). Если слово не встретилось в какой-нибудь одной из этих групп, оно не допускается в «Общий словарь». При этом критерий «общими» не являются, например, следующие слова: *abuelo, allá, av. ón, baile, comer, doña, gustar, mamá, película, quitar, regla, sueño* и т. д. Слова с достаточно высокой частотностью (не ниже 40), но встречающиеся не во всех четырех группах текстов помещены в специальное приложение (212 слов).

«Основной словарь» состоит всего из 208 слов. Как же они были отобраны? Прежде всего автор вычислил так называемые «коэффициенты сходства» каждой пары из четырех групп текстов (коэффициент сходства — число, показывающее степень близости двух групп). Коэффициент сходства тем больше, чем больше число общих слов в одной и другой группе и чем ровнее их распределение (если слово имеет равное распределение в двух группах, это означает, что его частотности в одной и в другой группе приблизительно равны). Ближе всего друг к другу оказались газеты и документы (коэффициент сходства 0,925), потом — газеты и книги (0,889), потом — документы и книги (0,878), письма и книги (0,805), письма и газеты (0,764), письма и документы (0,710).

Подсчеты, проведенные автором на стр. 466—467, показывают, что значения коэффициентов сходства образуются главным образом за счет слов с частотностью более 400 и некоторых слов с частотностью от 40 до 400, имеющих приблизительно равное распределение по всем четырем группам текстов. Вот эти-то слова и вошли в «Основной словарь».

«Употребительный словарь» составляет первую часть книги, «Общий» и «Основной» вторую; а третья, озаглавленная «Анализ факторов», содержит сравнение всех четырех групп текстов между собой при помощи статистических методов.

Оказывается, что наиболее богата лексика книг — 7974 слова. Затем идут газеты — 7094 слова, документы — 5945 слов и, наконец, письма — 3876 различных слов. В письмах меньше всего слов, не вошедших в «Общий словарь» (3876—1971 = 1905). Тем не менее подсчеты автора (стр. 507) показывают, что именно лексика писем наи-

¹ См.: F. W. K a e d i n g, Häufigkeitwörterbuch der deutschen Sprache, Steglitz, 1897—1898; V. A. C. H e n n i s o n, A French word book; based on a count of 400,000 running words, Univ. of Wisconsin, 1924; G. E. V a n d e r B e k e, French word book, New York, 1929; E. L. T h o r n d i k e and I. L o r g e, The teacher's word book of 30 000 words, New York, 1944; H. S. E a t o n, A comparative frequency list, New York, 1934.

более специфична («показатель специфичности» для писем — 0,463, для книг — 0,322, для газет — 0,248 и для официальных документов — 0,220). Это можно объяснить тем, что многие слова хотя и встречаются во всех группах (и входят в «Общий словарь»), но имеют крайне высокую частотность только в письмах, чем и создают специфичность эпистолярной лексики. Например:

Слова \ Вид текста	Вид текста			
	Письма	Газеты	Документы	Книги
<i>beso</i>	451	62	115	100
<i>mío</i>	724	23	19	88
<i>querido</i>	325	3	8	11

т. е. *beso* употребляется в письмах почти в 2 раза чаще, чем во всех остальных текстах, *mío* — более чем в 5,5 раза, а *querido* — в 15 раз.

Автор показывает различие между «Употребительным», «Общим» и «Основным» словарями по частотности входящих в них слов. Так, в 400 тыс. подсчитанных слов слова из «Употребительного словаря» встречаются в среднем по 31 разу каждое, из «Общего словаря» — по 172 раза и из «Основного словаря» — по 1324 раза.

Стремление выделить различные слои испанской лексики, опираясь на числовые данные, — одно из основных достоинств рецензируемого словаря. Однако не все в этой работе представляется одинаково убедительным. Так, вызывает сомнение само разделение текстов на те четыре группы, которые автор получил, исходя из совершенно ненаучного представления о четырех «основных аспектах жизни» (семейная жизнь — письма, общественная — газеты, общественная организованная жизнь — официальные документы, культурная жизнь — книги). Поэтому неудачен и критерий, которым пользовался автор для отнесения слов к «Общему словарю» (обязательное вхождение во все четыре группы).

Автор исключил из рассмотрения лексику драматургии: театр якобы «отражает жизнь» не такой, какова она на самом деле, а такой, как ее воспринимает автор пьесы (стр. 21). Тем не менее язык художественной прозы учитывается в его словаре.

Непонятно, почему под рубрикой «книги» смешаны такие разнородные явления, как романы, специальные научные труды, публицистика и детские сказки. В рубрике «официальные документы» оказалось 45 бюллетеней различных епископств при 13 правительственных и 14 профсоюзных публикациях, что, вероятно, искажает реальную картину.

С одной стороны, стремясь быть объективным и строго придерживаться принятых им критериев, автор не включил в «Общий» словарь даже таких слов, как *tú* и *lo*; с другой стороны, он идет на искажение своих собственных объективных данных в угоду Академическому словарю (хорошо известному своей консервативностью).

Наконец, общее число подсчитанных автором слов все-таки недостаточно велико (в аналогичных словарях подсчитывалось, например, у Кединга — 11 миллионов, а у Вандер-Беке — 1 млн. 200 тыс. слов). Поэтому его выводы нередко основываются на случайности; так, в письмах автор не встретил таких слов, как *campesía*, *cultura*, *ferrocarril*, *la medicina*, *oriente* и т. д. В книгах — *ferrocarril*, *paciencia*, *piloto*, *republicano*, *indical*, *teléfono*.

Учитывая все вышесказанное, мы должны будем признать, что автор не выполнил поставленной им самим задачи: получить в виде своего «основного словаря» «vocabulario del hombre de la calle» («словарь простого человека», буквально: «словарь человека улицы»). Но это не мешает его работе оставаться интересным и поучительным образцом статистического исследования лексики. Неоднократно говорилось и писалось о роли статистики в языкознании. Она особенно важна при изучении лексики, где число объектов анализа очень велико и где количественные закономерности проявляются наиболее последовательно и являются наиболее показательными. «Словарь» Виктора Гарсия Ос — шаг вперед по пути разработки методов и техники статистического описания словарного состава языков. Что же касается путей практического применения этого словаря, то автор сам указывает два из них (в лексикологии и в стилистике) в конце своей работы (стр. 514): «Я осмелюсь утверждать, что подобный словарь может служить... отправной точкой для исследований по употреблению того или иного типа слов... Кроме того, я подозреваю, что в нем скрыт путь изучения стиля литературных произведений».

S. Ella. Orientações da lingüística moderna. — Rio de Janeiro, Livr. acadêmica, 1955. 245 стр. («Biblioteca brasileira de filologia», № 7).

Книга бразильского лингвиста С. Элли «Направления современной лингвистики» представляет собой критический обзор основных направлений в языковедении с позиций эстетического идеализма. Она охватывает период от К. Фосслера до современного структурализма. Книга открывается разделом общетеоретического характера (стр. 17—45), где автор излагает свою точку зрения на предмет и задачи языковедения. По мнению С. Элли, наука о языке разделяется в соответствии с объектами изучения на две основные дисциплины: стилистику и собственно лингвистику. Стилистика изучает язык как индивидуальный творческий акт, отражающий психологические особенности говорящего; лингвистика же изучает функционирование языка как исторически сложившейся системы знаков.

Задачи и содержание лингвистики излагаются в рамках концепции Ф. де Соссюра и таких его последователей, как А. Мейе и Ш. Балли. В связи с этим дается обзор работы Мейе «Общее и историческое языковедение» (1921). Затем автор переходит к изложению предмета и задач стилистики как второй составной части науки о языке. Опираясь на соссюрское деление языковедения на «лингвистику языка» («linguistique de la langue») и «лингвистику речи» («linguistique de la parole»), автор анализирует точку зрения К. Фосслера: «стиль — это индивидуальное языковое употребление в отличие от общего» — и излагает основные идеи Ш. Балли, Ж. Марузо, Д. Алонсо, Е. Косериу и других лингвистов по вопросу о соотношении индивидуального и общего в языке.

Здесь же формулируется основная концепция автора, который разделяет взгляды школы Фосслера: «Наука о языке — это, в сущности, стилистика» (стр. 62). Эстетическому идеализму Фосслера посвящен особый раздел книги (стр. 75—94), в этом разделе дается обзор его программной работы «Позитивизм и идеализм в языковедении» (1904) и излагаются некоторые положения книги В. Кроче «Эстетика как наука о выражении и общем языковедении» (1902—1908) — философской основы эстетического идеализма. Приводится также подрбный анализ сборника работ Фосслера «Философия языка», вышедшего в 1943 г. в Буэнос-Айресе в испанском переводе.

Следующая глава книги С. Элли (стр. 97—118) посвящена основным наблюдениям и выводам лингвистической географии. Приводятся сведения об основных трудах по созданию лингвистических атласов и кратко характеризуются методы лингвистической географии.

Отдельный раздел (стр. 121—143), озаглавленный «Семантика», посвящен рассмотрению языковых теорий современной семантической философии — одного из направлений неопозитивизма. С. Элли показывает, как, опираясь на концепцию де Соссюра о том, что «лингвистика есть часть семиологии — науки о знаковых системах», логические позитивисты Р. Карнал, Ч. Моррис и др. сосредотачивают философский анализ на рассмотрении проблем значения слова, связи слов, вещей и понятий. Излагается ряд положений программной работы Р. Карнана «Введение в семантику» (1940).

Далее автор критикует направление семантики, связанное с приложением ее к социологии и политике. (Как известно, приверженцы этого направления утверждают, что причины социального зла и конфликтов лежат в незнании семантических правил и вытекающем отсюда неправильном употреблении языка.) Резко критикуются, хотя и с идеалистических позиций, книги А. Коржибского «Наука и здоровье» (1933), С. Чейза «Тирания слов» (1943), С. Хайкава «Язык в мышлении и реальности» (1952).

В следующих двух главах книги рассматривается основное направление современной зарубежной лингвистики — структурализм. Первая из этих глав («Структурализм») посвящена Ельмслеву и копенгагенской школе, вторая («Фонология») — фонологическим концепциям пражской школы.

Автор показывает, как, опираясь на основные положения Ф. де Соссюра, Ельмслев создал свою глоссематику — теорию абстрактных отношений. Подробно излагаются основные идеи работы Ельмслева «Введение в теорию языка» (1953). Автор считает, что наиболее плодотворным является применение структуральных методов исследования языка на фонемном уровне. Для получения удовлетворительных результатов в области морфологии и синтаксиса надо изменить методы анализа, поскольку, в отличие от фонемы, морфема и слово являются носителями самостоятельного значения. При этом автор не выходит за рамки фосслеровской концепции языка как индивидуального творческого акта и его критика структурализма остается недостаточно убедительной.

В главе «Фонология» рассматривается главным образом работа Н. С. Трубецкого «Принципы фонологии» (1939). Кроме того, излагается история создания фонологии как научной дисциплины и приводятся определения фонемы, предложенные различными учеными: Д. Джонсом, И. А. Бодуэном де Куртэнэ, Л. Блумфилдом и др.

В качестве примера применения фонологической теории пражской школы к кон-

кретному языку очень кратко (стр. 197—202) излагаются основы фонологической системы португальского языка.

В книге имеется приложение, где помещены журнальные статьи С. Элиа за 1952—1953 гг., являющиеся ответом на критику его учебника «Компендиум языка и литературы» (1951). Книга рассчитана на широкого читателя.

Р. М. Фрумкина

B. T. Sozzi. Aspetti e momenti della questione linguistica. — Padova, Liviana editrice, 1955. 239 стр.

Книга Б. Т. Соцци посвящена проблеме литературной нормы итальянского языка, т. е. вопросу, который интересовал языковедов и неязыковедов со времени Данте и продолжает интересовать и в наши дни. В первой части книги («Аристократия и демократия в лингвистической контроверзе») излагаются в хронологическом порядке взгляды филологов XVI в. на проблему литературной нормы. Автора интересует прежде всего XVI век, так как именно в этот период споры относительно нормы литературного языка носили ожесточенный характер. Эта часть исследования богата систематически изложенным интересным материалом, касающимся проблемы литературной нормы, которую автор рассматривает в трех аспектах: язык какого народа, язык какого времени и язык какого социального слоя должен быть стать литературным языком Италии. Советский читатель, знакомый с контроверзой по исследованиям Лабанд-Жанруа¹ и Б. Мильорини², найдет в книге Б. Т. Соцци более полный материал (так, например, он сможет познакомиться со взглядами таких лингвистов, как Челлини, Беллафини, Фиросцуола, Каро, Руселли и др., о которых Мильорини не упоминает).

Во второй части книги, рассматривающей взгляды Сальвиати, автор ставит перед собой задачу — подробно анализировать отношение этого лингвиста к течению бембизма и к академии Круска. Особое внимание к трудам Сальвиати³ объясняется тем, что критическая литература о произведениях лингвистов конца XVI в. значительно беднее, чем литературы о первой половине века; кроме того, сложившееся традиционное представление о Сальвиати как о стороннике и пропагандисте положений Бембо (также, например, мнение Мильорини в указанном произведении) рассматривается автором как не соответствующее действительности. Для доказательства подробно анализируется основное произведение Сальвиати «*Degli Avvertimenti della lingua sopra l'Decamerone*».

Точка зрения Б. Т. Соцци может быть схематично выражена следующим образом: Сальвиати старается примирить устаревшее с современным, литературный язык с живым народным языком, что приводит его к эклектизму, хотя литературное и архаичное в разной мере в лексике, морфологии, синтаксисе и орфографии) в общем превагирует над народной струей.

Большой фактический материал, стремление пересмотреть некоторые положения, ставшие традиционными, делают исследование Соцци ценным пособием для итальяниста-языковеда и литературоведа. Следует добавить, что автор собрал большую библиографию по различным общим и частным вопросам данной проблемы.

Но в книге есть и недостатки. Автор не раз подчеркивает, что вопрос языковой нормы не может быть автономным вопросом, не зависящим от экономической и политической жизни общества. Однако автор часто отступает от этого утверждения: исследование в общем ведется в отрыве от исторических условий жизни народа. Далее, в первой части исследования автор незаслуженно умалчивает об А. Л. Читтолини и о его исследовании «*Lettera in difesa della lingua volgare*» (Venezia, 1540), о стороннике «общего» языка — Акиллино и о трех письмах Донни, хотя деятельность этих лингвистов относится к периоду, изучение которого Б. Т. Соцци ставит своей задачей.

Г. Лебедева

¹ Th. Labande - Jeanroy, *La question de la langue en Italie*, Paris., 1925.

² B. Migliorini, *La questione della lingua*, «*Questioni e correnti di storia letteraria*», Milano, 1949.

³ См. также Б. Т. Соцци, *Tasso contro Salvati*, «*Studi sul Tasso*», Pisa, 1954.

I. M. Carlsen and P. M. H. Edwards, A numericon of Russian inflections and stress patterns. A guide for students of Russian.—Vancouver, B. C., Canada, 1955. 213 стр.

Цель составителей книги «Нумерикон флексий и моделей ударения в русском языке» И. М. Карлсен и П. М. Эдвардса — практическая. Они стремились помочь изучающим русский язык правильно употреблять изменяемые формы, ударение и чередование, свести до минимума затраты усилий при освоении иностранного языка. Оригинальность данного пособия заключается в том, что в нем делается попытка применить систему кодифицирования информации при помощи цифровых и буквенных кодов и многочисленных схем в целях более сжатого описания русской грамматики.

Книга включает в себя словарь, материал к которому отбирался по работе О'Брайена (M. A. O'Brien, *New English — Russian and Russian — English dictionary (new orthography)*, New York, 1944). Слова разделены на морфемы («элементы», по терминологии Карлсен и Эдвардса), т. е. в них выделяются префиксы, суффиксы, корни и окончания (к сожалению, делается это не всегда точно). Каждый элемент слова помещается в словаре в алфавитном порядке. Так, слово *несведомленный* нельзя обнаружить целиком на букву Н, но под соответствующей буквой можно найти каждую из семи морфем этого слова: *не;о;с;вед;ом;лен;н-ый*; под буквой В находим корень *вед-*, под буквой О — суффикс *-ом* и т. д. При этом может случиться, что корни сходного орфографического вида (*-мал-*) являются носителями совершенно различных значений: *мал,м-а*, *мал,ейш-ий*, *мал,ея-ть* и т. п., но помещается в словаре такой корень лишь один раз.

Корни сопровождаются определенным кодом, расшифровка которого дается в специальной ключевой таблице в конце книги. Например, код V-2430-с при глаголе *на,лис;ать* указывает, что цифра 2000 в колонке с буквой V (verb «глагол») покажет личные окончания глагола в настоящем и будущем времени; цифра 400 в этом же столбце — флексия императива; 30 — ударение для настоящего и будущего времени. Буквенный код «с» в колонке с чередованием установит, что согласный «с» в русском языке чередуется с «ш» по правилам, данным в разделе «Чередования» № 2 (перед словарем). Наконец, в словаре делаются различные грамматические пометы. Подобный словарь, расположенный в алфавитном порядке морфем языка, дает своеобразное наглядное представление о морфологической структуре слова.

Перед словарем дан достаточно подробный очерк грамматики русского языка. Здесь приводится описание различных частей речи и характеристика следующих категорий: время, вид, наклонение, число, лицо, падеж и пр. Такие явления русского языка, как беглые гласные, чередования, степени сравнения, ударение, вызвали особые комментарии И. М. Карлсен и П. М. Эдвардса, сопровождаемые большим количеством схем и диаграмм. В конце грамматической части работы помещены фразы, вызывающие трудности при переводе с английского языка на русский.

В руководстве включен также русский алфавит (и наиболее удобная система транслитерации), сопровождаемый пометами в отношении гласных, согласных, диакритических знаков и т. п. Книга может быть использована не только иностранцами при изучении русского языка, но и русистами при анализе морфологического строя русского языка.

А. И. Кузнецова

Joseph Schütz. Die geographische Terminologie des Serbokroatischen. — Berlin, Akademie-Verlag, 1957. 113 стр.

И. Шютц, унаследовавший от своего учителя Р. Траутманна точность и краткость изложения, вносит ценный вклад в изучение лексики южнославянских языков работой «Географическая терминология сербского языка»; задачу этого исследования сам автор определяет как «расположение всей сербской лексики, касающейся географических понятий, по семантическим полям» (например, *гора, лес, река*).

И. Шютц проделал кропотливый труд по точному определению значений нескольких сот сербских слов — географических терминов [не в узком значении «научных терминов», хотя таковые также разбираются в книге, а вообще названий, бытующих во всех слоях языка (включая диалекты) для обозначения деталей географического ландшафта: форм рельефа, водной сети и т. п.], по установлению места каждого слова в синонимическом ряду из нескольких названий, по указанию источников, засвидетельствовавших слово, работ, дающих этимологию слова. Эта книга устраняет необходимость проведения подобной подготовительной работы для данной семантической группы слов при составлении будущего сербского этимологического словаря, которого так недостает славистам.

Не пытаясь этимологизировать каждое приводимое слово (для краткости в списке слов вообще не дается этимология, а только делается ссылка на соответствующие словари для работы), И. Шютц, однако, в предпосланных основной части «Методических соображениях» приходит к интересным выводам. Рассмотрение слова не изолировано, а в синонимическом ряду позволяет объяснить ряд неясных прежде образований. Так, становится понятной связь между общеслав. **ъrdo* «холм, гора» и **ъrdo* «бёрдо» (часть ткацкого станка) при сопоставлении этих слов с рядом других случаев перенесения названий частей ткацкого станка на части географического ландшафта. Анализ этого явления — языковой метафоры — представляет интерес для специалистов по общему языкознанию тем более, что автор не ограничивается изложением фактов, но связывает их с концепциями И. Трйра, В. фон Вартбург. В другом синонимическом ряду со значением «лес» И. Шютц выделяет нейтрально окрашенное слово (серб. *šuma* «лес») и показывает, почему именно оно стало наиболее общим обозначением.

Отказавшись, ввиду полного отсутствия предварительных исследований, от первоначально поставленной перед собой задачи — определить, каким изменениям подверглась общеславянская географическая терминология в сербском в связи с коренной переменной географической среды (карстовый рельеф Югославии по сравнению с низменностями севернее и восточнее Карпат, откуда началось движение славян на Балканы), автор тем не менее сделал многое для того, чтобы будущий исследователь (можно надеяться, что им будет сам И. Шютц) решил ее. В этом отношении ряд выводов в заключительной книге главе о соотношении географической терминологии и географической среды интересен для каждого слависта-лингвиста и историка.

Подробным разбором сербских названий карстовых форм рельефа (в том числе и серб. *Kras*, словенск. *Kras* «карст», вошедшего в специальную географическую терминологию всех европейских языков; ср. русск. *карст*, нем. *Karst* и т. п.) И. Шютц показал несостоятельность теории П. Скока (считавшего, что такие названия являются, в основном, иллирийскими реликтами) и установил их славянское происхождение и архаическую структуру. Такой вывод подтверждает предположение историков о слабой зазеленности карстовой области во времени славянского поселения. (В связи с этим интересно, каковы были бы результаты подобного исследования для болгарской лексики, относящейся к рельефу Балкан).

Исследователей восточнославянских языков должно заинтересовать отмечаемое и раньше и подтвержденное И. Шютцем на более широком материале сходство сербских (и вообще южнославянских) и западноукраинских (собственно, закарпатских) географических терминов: кроме общеизвестного серб. *plan'na*, болг. *планина* — укр. *подолина*, еще: серб. *grđot* — зап.-укр. *еретим* «голые утесы»; серб. *di* — зап.-укр. *діа* «холм» и некоторые другие.

Автор кратко анализирует также поздние заимствования (из турецкого, итальянского и т. д.), причем в ряде случаев показывает обусловленность заимствования сдвигом внутри славянской лексики (например, серб. *d lga, talas* «волна» из турецкого вследствие фонетического совпадения общеслав. **ъlina* «волна» и **ъlina* «шерсть»).

Не свободная от вызывающих возражения этимологий (что неизбежно в исследовании такого рода), книга И. Шютца, несомненно, заполняет один из существенных пробелов современного славянского языкознания.

В. М. Илич-Свитыч

Н. Конечна і W. Zawadowski. *Obrazy rentgenograficzne głosek rosyjskich* («Prace Komitetu językoznawczego PAN», № 9). — Warszawa, Państw. wyd-wo naukowe, 1956. 105 стр., 262 рис.

Работа Г. Конечной и В. Завадовского «Рентгенография русских звуков» возникла в связи с потребностью обучения русскому языку и правильному русскому произношению. Ее теоретическая часть является продолжением и дополнением проведенных ранее аналогичных исследований звукового состава польского языка (см. исследование тех же авторов «Przegląd o rentgenograficzne głosek polskich», Warszawa, 1951, 16 стр., 146 схем). Изучение русских звуков, анатомо-физиологическое описание их артикуляций авторы основывают на рентгенограммах, произведенных в момент артикуляции звука. В качестве дикторов с ними работали три женщины и мужчина — уроженцы Москвы и Ленинграда, которые владеют правильным литературным произношением и хорошо знакомы с научной фонетикой современного русского языка. На пленке фиксировались произношение как изолированных звуков, так и связанных в словах (например, все безударные гласные).

Книга снабжена двумя рентгенограммами и 260 штриховыми схемами рентгеновских снимков, которые служат основой изложения. Результаты экспериментального рентгенографического изучения звуков русской речи дополнены палатограммами из

трудов В. А. Богородицкого («Опыт физиологии общерусского произношения», Казань, 1909), Л. В. Щербы («Русские гласные в качественном и количественном отношении», СПб., 1912) и Т. Венни (T. Veni, *Palatogramy polskie*, Kraków, 1931). Работе предпосланы вступительные замечания проф. Г. Конечной о методе рентгенографического исследования и статья проф. В. Завадовского о применении рентгенологии для нужд экспериментальной фонетики вообще, о принципах рентгенографии, а также о методах и условиях произведения снимков при данном исследовании.

Основная часть книги — это три главы, посвященные ударным гласным, безударным гласным и согласным. Данные о произношении каждого звука состоит, как правило, из подробного, на базе схем-рисунков, описания артикуляции звука (отдельно для каждого диктора), обобщения этих наблюдений, сравнения с польским языком, а также определения этого звука в предыдущих лингвистических трудах. Каждый раздел (ударные и безударные гласные, согласные) оканчивается синтетической характеристикой данной группы звуков, общим сравнением с соответствующими польскими звуками, рассмотрением их с точки зрения общей фонетики, сравнением со звуками других европейских языков. Наиболее изучена авторами группа ударных гласных, менее всего — безударные гласные. Исходя из общих сведений о взаимодействии органов речи, авторы пытаются в ряде случаев объяснить различные фонетические явления в истории славянских языков (см., например, палатализация согласных перед гласными переднего ряда). Причину фонетического развития языков Г. Конечная и В. Завадовский вслед за проф. В. Дорошевичем видят в неидентичности артикуляции звука даже у одного лица, в постоянных артикуляционных колебаниях.

Проведенное исследование рентгенограмм русских звуков позволило авторам не только подробно описать артикуляции звуков русского языка, уклад органов речи, дать сравнительный анализ фонетического рисунка польской в русской речи, но и поставить ряд проблем из области общей фонетики, в частности вопрос о взаимодействии органов речи, об артикуляционных тенденциях, о безударных гласных и др.

Т. С. Тихомирова

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

В ИНСТИТУТЕ ЯЗЫКОЗНАНИЯ АН СССР

12—16 марта с. г. в Москве состоялось расширенное заседание Ученого совета Института языкознания АН СССР, посвященное дискуссии о соотношении синхронного анализа и исторического исследования языка. Дискуссия вызвала большой интерес не только у сотрудников Института, но и у многочисленных (около 400 чел.) гостей — работников различных учреждений Москвы, языковедов Ленинграда, Киева, Минска, Тбилиси, Еревана, Вильнюса, Риги, Таллина, Кишинева, Алма-Аты, Ташкента, Сталинабада, Ашхабада, Харькова, Львова, Свердловска, Куйбышева, Казани, Одессы, Черновца, Уфы, Петрозаводска, Калининграда, Хабаровска, Кызыла, Великих Лук, Калуги, Орехово-Зуева, Елабуга.

На дискуссии было заслушано семь докладов: канд. филол. наук Б. В. Горнунга «Единство синхронии и диахронии как следствие специфики языковой структуры»; канд. филол. наук А. А. Реформатского «Принципы синхронного описания языка»; докт. филол. наук В. Н. Ярцевой «Диахроническое изучение системы языка»; докт. филол. наук Р. А. Будагова «Понятие системы и системных отклонений в языке в связи с разграничением синхронии и диахронии»; канд. филол. наук Н. Д. Андреева (ЛГУ) «Полихроническая методика исследования (полихрония и таутохрония)»; канд. филол. наук Вяч. Вс. Иванова (МГУ) «О методах изучения истории индоевропейского языка и его диалектов»; канд. филол. наук Э. А. Мамаева «Синхрония и диахрония и вопросы реконструкции»¹.

Б. В. Горнунг в своем докладе отстаивал тезис о невозможности «структурального» анализа системы живого языка в ее синхронном состоянии. По его мнению, тот, кто занимается исследованием системы языка вне ее развития, имеет дело с фикцией. Значительное место в докладе занимала критика противопоставления синхронии и диахронии в «Курсе» Ф. де Соссюра и в трудах его последователей — представителей различных направлений современного зарубежного структурализма. Это «неправильное противопоставление», по мнению Б. В. Горнунга, вытекает из игнорирования «горизонтных» отличий языка как исторически развивающегося общественного явления от других семиотических систем, лишенных закономерного развития (к ним докладчик относит, кроме разного рода кодов и систем сигнализаций, также искусственные языки).

Докладу Б. В. Горнунга противостоял доклад А. А. Реформатского. Ссылаясь на работы И. А. Водуэна де Куртенэ, Ф. Ф. Фортунатова и опираясь на тезис Ф. де Соссюра: «... синхронический аспект важнее диахронического, так как для говорящей массы только он — подлинная реальность», — докладчик доказывал возможность и необходимость «чистой синхронии» как первого этапа всестороннего исследования конкретного языка. Отметив, что для де Соссюра ни о каком единстве синхронии и диахронии не могло быть и речи, А. А. Реформатский привел некоторые примеры в поддержку той точки зрения, что «синхронический аспект... является решающим и в исторической лингвистике...» В докладе была сделана попытка разграничить понятия системы и структуры и показать различные применения синхронических исследований в теории и практике описательной лингвистики.

В докладе В. Н. Ярцевой в о в о й метод синхронического описания «горизонтальных срезов» — и в его соссюровском и в современном структуралистском вариантах — характеризовался как нецелесообразный в исследованиях по истории языка «даже как форма предварительной обработки материала». Система языка, отмечалось в докладе, всегда трехмерна, объемна, обычное же синхроническое описание дает статическое и плоскостное изображение системы. Тот факт, что в процессе развития особенно ярко обнаруживается качественная неоднородность отдельных сторон языка, делает неприменимым в исторических исследованиях структуралистский «изоморфический метод». В докладе были приведены конкретные примеры связи и взаимодействия отдельных

¹ См. «Тезисы докладов на открытом расширенном заседании Ученого совета [Института языкознания АН СССР], посвященном дискуссии о соотношении синхронного анализа и исторического исследования языка», М., 1957.

сторон языка (морфологической, синтаксической, лексической и фонетической систем) в процессе его исторического развития.

Р. А. Будагов в своем докладе на материале русского и романских языков показал необходимость расчленения и исторической конкретизации понятия системы языка, а также уточнения понятия системного ряда. Развивая тезис о том, что для синхронной грамматики «важна не только категория отношения, но и категория значения», докладчик отметил, что, вопреки взглядам И. А. Бодуэна де Куртенэ, отдельные формы грамматической парадигмы не просто сосуществуют, а выступают по отношению друг к другу — в соответствии с их значением — как основная и производные формы (например, *вода и воду*). Между тем у некоторых современных сторонников «чистой синхронии» синхронная грамматика превращается в грамматику отношений независимо от того, что выражают эти отношения. Единство категорий отношения и значения очень существенно в для понятия системы в лексике, в связи с чем необходима разработка вопроса о том, что Потебня называл «ближайшим» и «дальнейшим» значениями слова. По мнению Р. А. Будагова, разграничение синхронии и диахронии весьма осложняется в том случае, если современный язык берется во всем многообразии его стилей (например, предложения типа *Благодаря ему я сломал себе ногу*, уже возможные в устно-разговорном языке, не встречаются в авторской речи хороших стилистов).

В докладе Н. Д. Андреева (зачитанном канд. филол. наук С. А. Мирновым) была сделана попытка обосновать, кроме понятий синхронии и диахронии, отражающих, по терминологии докладчика, соответственно статический и кинематический аспекты языка, понятие таухронии, которое, представляя динамический аспект языка, связывает синхронию с диахронией. Исходл из «неизбежной приближенности в неравномерности линейного описания диахронического потока», Н. Д. Андреев предложил полихроническую методику исследования группы родственных языков, заключающуюся в «последовательных структуральных синхронных разрезах через однородные пучки диахронических линий».

После указанных пяти докладов началось прения, в которых приняло участие 28 человек.

В развернутом выступлении канд. филол. наук В. И. Абаев критиковал тех советских языковедов, которые, по его мнению, «стоят целиком на соссюрианско-структуралистской позиции полного отмежевания синхронии от диахронии, т. е. отказа от историзма в описательном языкознании». Считаю, что историзм — это программа-минимум марксизма в языкознании, В. И. Абаев усматривает в советской лингвистике последних лет тенденции опасного сближения с зарубежными «модернистскими течениями», в частности, со структурализмом. Взгляд на язык как на систему, сказал В. И. Абаев, был господствующим на всем протяжении истории языкознания. Новое у структуралистов заключается здесь в том, что они «раздувают сверх всякой меры» значение системности языка, который рассматривается ими как «чистая знаковая техника». Доклады на данной дискуссии, утверждал В. И. Абаев, «либо примыкают к структуралистским взглядам, либо нейтральны». Исключение представляет только доклад Б. В. Горнунга, но и он с этой стороны является половичатым, так как невозможно, по мнению В. И. Абаева, принимая соссюровское учение о знаковости языка, бороться с соссюрианством и структурализмом. В. И. Абаев решительно высказался против перенесения принципов фонологического исследования в область лексики и грамматики. На конкретном материале иранских языков В. И. Абаев показал, как часто оказываются необходимыми исторические экскурсы в описательной грамматике, и критиковал высказывания о «недопустимости смещения описательного и исторического жанра в языкознании». Чисто синхронический, структуральный анализ, с этой точки зрения, применим только к искусственным языкам, «где никаких «аномалий» нет».

Одна группа участников обсуждения высказалась (хотя и с некоторыми оговорками) в поддержку основных положений доклада Б. В. Горнунга и развернутого выступления В. И. Абаева.

Член-корр. АН СССР В. М. Жирмунский (Ленинград) поддержал критику соссюрианства и структурализма в докладе Б. В. Горнунга и выступлении В. И. Абаева. Еще в начале XX в., сказал В. М. Жирмунский, определились тенденции «лингвистического модернизма», которому мы обязаны пониманием того, что «синхронное» изучение современного языка как данности является очень важной задачей языкознания. Однако в работах И. А. Бодуэна де Куртенэ, Л. В. Щербы, В. В. Виноградова, И. И. Мещанинова и других наших ученых современное состояние языка рассматривается не как статический двухмерный срез, не как система соссюровских противопоставлений, безразличных к «положительным качествам» элементов системы, а как система, находящаяся в движении и развитии.

К выступлениям В. И. Абаева и В. М. Жирмунского, а также к основным положениям доклада Б. В. Горнунга присоединился доктор филол. наук В. А. Воронин (Ленинград), предложивший в то же время четко разграничивать случаи, когда для синхронного описания необходимо обращение к истории языка, и такие, когда это не нужно.

Проф. Т. П. Ломтев (МГУ) критиковал утверждение А. А. Реформатского о том, что в структуре языка высшая единица низшего яруса является нижней единицей высшего яруса. Т. П. Ломтев, в частности, сослался на слова типа *собака* (с певчим фонемным составом), а также на нерешенность вопроса об отправных посылках для построения синтаксической системы. Синхронное изучение языка, очищенное от всяких исторических характеристик, которое предлагалось в докладе А. А. Реформатского, отметил Т. П. Ломтев, не может обеспечить проникновения в сущность явлений, определить закономерное направление в развитии. В этом утверждении Т. П. Ломтева поддержал Н. И. Букатевиц (Одесса). Мл. научн. сотр. Ин-та востоковедения АН СССР Н. А. Сыромятников утверждал, что синхронное описание искажает картину реального состояния языка.

Доктор филол. наук Т. С. Шарадзендзе (Тбилиси), полемизируя с А. А. Реформатским, говорила о неправомерности объединения взглядов Н. А. Бодуэна де Куртене и Ф. де Соссюра, так как последний «оторвал синхронию от диахронии» и отлаивал предпочтительное синхроническому анализу. Для научного познания, объяснения фактов необходим исторический подход, описание же дает только констатацию фактов и их связей. Т. С. Шарадзендзе сделала обзор зарубежной структурной лингвистики и подчеркнула, что в последние годы лучшие представители этого направления стремятся восстановить в правах диахронию, отказываясь от некоторых основных положений концепции де Соссюра.

Канд. филол. наук А. М. Финкель (Харьков) подчеркнул, что в советском языкознании основное внимание должно быть уделено историческому лингвистике, которой следует подчинить все полезные и могущие быть использованными методы описательной лингвистики.

Канд. филол. наук О. Н. Моряховская критиковала доклад А. А. Реформатского, который, по ее мнению, недооценивает важность исторической интерпретации синхронных явлений.

О значении историзма для советского языкознания говорил акад. АН Груз. ССР А. С. Чикобава (Тбилиси), отметивший, что историческое восприятие структурализма отчасти связано с неразработанностью в историческом языкознании методики изучения процессов интеграции и описания системы языка.

Акад. АН Казахск. ССР С. К. Кенесбаев (Алма-Ата) призывал к трезвому критическому отношению ко всему тому, что мы называем структуральной лингвистикой». Присоединившись к основным положениям В. И. Абаева, С. К. Кенесбаев в то же время возражал, как и многие другие выступавшие, против данной В. И. Абаевым оценки современного этапа в развитии советского языкознания.

Канд. филол. наук Л. П. Жуковская критиковала выступление В. Д. Левина (см. ниже), игнорировавшего, по ее мнению, «тот факт, что современное историческое языкознание уже прочно стало на путь изучения системы языка, а не единичных разрозненных фактов», а также доклад А. А. Реформатского. В этой связи Л. П. Жуковская утверждала, что чисто синхронное исследование фактов языка прошлых эпох вообще не должно иметь места. «Будущее, — сказала она, — за изучением языка одновременно как процесса и как системы».

Доктор филол. наук К. А. Тимофеев (Ленинград) присоединился к выступлению В. И. Абаева. Признавая возможность, при определенных условиях, чисто синхронически исследовать язык, Тимофеев отметил, что применение исторического метода является более совершенным этапом познания языка. О словообразовании как о процессе создания новых слов можно говорить, по мнению К. А. Тимофеева, лишь с диахронической точки зрения, синхрония же дает основание для выделения структурных форм слова, которые являются предметом изучения морфологии.

Другая группа участников дискуссии тяготела — в большей или меньшей степени и также с оговорками — к положениям доклада А. А. Реформатского.

Канд. филол. наук С. К. Шаумян (Ин-т славяноведения АН СССР) настаивал на необходимости строго различать объективное содержание структурной лингвистики и ее идеалистические извращения, ошибочные философские высказывания отдельных структуралистов. Традиционное языкознание, которое изучает отдельные факты исторического языка только во временной последовательности, по мнению С. К. Шаумяна, антиисторически и метафизически вырывает эти факты из их естественных связей, в то время как метод структурной лингвистики, который позволяет изучать историю целых систем фактов, соответствует марксистскому пониманию историзма. Структурная лингвистика в лице ее основательницы Ф. де Соссюра и Н. С. Трубецкого подняла науку о языке на уровень стихийной диалектики. Наша задача состоит в том, сказал С. К. Шаумян, чтобы разрабатывать структурную лингвистику на базе диалектического материализма. Следует отметить, что использование С. К. Шаумяном без достаточной убедительной аргументации оценок типа «стихийный метафизик» и т. п. в отношении своих оппонентов вызвало решительные возражения В. А. Аврорина и некоторых других участников дискуссии.

Доктор филол. наук А. Б. Шапиро остановился на вопросах методики синхронного исследования системы языка. В каждом данном состоянии языка, сказал А. Б.

Шапиро, нет движения, так как синхрония не имеет «толщины». Анализ зафиксированных состояний предполагает прежде всего отделение продуктивного от непродуктивного. Для раскрытия причин сосуществования различных вариантов в системе языка и тенденций ее развития необходимо обратиться к диахронии, т. е. к раскрытию процесса последовательной смены систем. В заключительной части своего выступления А. Б. Шапиро полемизировал с утверждениями В. И. Абаева о том, что советские языковеды увлекаются «модным» на Западе структурализмом и что это связано с явлением «научного вакуума», которым якобы характеризуется современный период в развитии нашего языкознания. Ведь еще в 80-е гг. прошлого века, сказал А. Б. Шапиро, высказывалось, а потом и осуществлялось (ср., например, работы Пешковского) многие из того, что мы отстаиваем сейчас, и здесь мы идем не от Бренделя и Блумфилда, а от наших русских предшественников. Полемизируя с В. И. Абаевым, А. Б. Шапиро указал также на неправомочность отождествления «мрачного лета» господства «нового учения» о языке с периодом после 1950 г., когда, несмотря на культ личности И. В. Сталина, было написано и издано немало хороших работ.

Выступившие в прениях логики т. т. Г. П. Щедровицкий и Б. А. Грушин и поддержали тезис доклада А. А. Реформатского о том, что характер изобретения объекта зависит от задачи исследования и что поэтому принципиально возможны «чисто» синхроническая и «чисто» диахроническая системы языка. Но чтобы воспроизвести каждую из этих систем, необходимо изучить всевозможные связи исследуемого объекта. В этом плане действительно существует неразрывное единство синхронии и диахронии, но задача исследователей — языковедов и логиков — состоит не в том, чтобы снова и снова выдвигать этот принцип, а в том, чтобы проанализировать конкретные формы этого единства. Г. П. Щедровицкий и Б. А. Грушин особенно подчеркивали необходимость изучения и использования языковедами методов и приемов, примененных Марксом при структурном исследовании сложных исторически развивающихся объектов. Г. П. Щедровицкий в своем выступлении пытался также провести разграничение объекта науки о языке (речь) и ее предмета («язык вообще», который как «система, построенная человеком в процессе отражения», «живет по своим особым законам, не совпадающим с законами существования обычных актов речи»). Это разграничение встретило критическое отношение со стороны большинства участников дискуссии.

Канд. филол. наук Вяч. Вс. Иванов полемизировал с Б. В. Горнунгом и В. И. Абаевым, отметив, что нельзя подменить проблему «синхрония или диахрония» проблемой «структурализм или историзм». Описавшие функционирование языка в данный период необходимо для исследования его истории и правильного и глубокого понимания связей языка и общества. Говоря об общем значении методов синхронного описания структуры языка, выработанных еще Панини, и о значении новых методов структурного исследования, Вяч. Вс. Иванов привел слова Есперсена: «связь между Панини и Трубецким неразрывна» — и сослался на опыт таких ученых, использующих эти методы в сравнительно-исторических работах, как Е. Курилович и А. Мартине. Отстаивая необходимость применения в языкознании математических методов исследования, Вяч. Вс. Иванов отметил большое значение для самых различных областей знания новой научной дисциплины — теории информации.

По мнению канд. филол. наук В. Н. Топорова (Ин-т славяноведения АН СССР), полемизировавшего с Б. В. Горнунгом, В. И. Абаевым и отчасти с Т. С. Шарлазендзе, многие из принципов де Соссюра стали аксиомами современного теоретического языкознания (различение языка и речи, синхронии и диахронии, знаковый характер языка и др.). Кропущие связи языкознания с точными науками являются вполне закономерными и полезными. В. Н. Топоров подчеркнул необходимость для исследователя «оторвать» синхроническое состояние языка от его истории, что не противоречит их реальным связям, отметил ошибочность интерпретации соссюровских осей синхронии и диахронии как системы координат и указал на важность вопроса о каузальности в синхронии, а также затронул вопрос об объективном времени как форме существования языка и о мере языкового времени. Очень низко оценив большинство докладов в связи с устарелостью их проблематики и предлагаемых в них решений, В. Н. Топоров призвал к использованию новейших достижений структуралистов в области общих методов и частных приемов исследовании языка.

Канд. филол. наук Р. Г. П и о т р о в с к и й (Кишинев) отметил достижения современной структурной лингвистики в исторических, сравнительно-исторических, диалектологических и стилистических исследованиях (работы Куриловича, Вавейка, Якобсона, Мартине, Жюйна и Одрикурн, Фурце, Васкеса и др.) и рассказал о своем опыте применения структурной методики в работе над диалектологическим атласом Молдавской ССР.

Критике доклада Б. В. Горнунга было посвящено выступление члена-корр. АН СССР Б. А. Серебрякова, по мнению которого Б. В. Горнунг фактически предложил ту же самую последовательность анализа языка, что и Соссюр (сначала синхрония, затем диахрония). Преимущества же одновременно синхронного и диахронного изучения языка в докладе Б. В. Горнунга не показаны.

Основные положения доклада А. А. Реформатского и выступления А. Б. Шапиро и Вяч. Вс. Иванова поддержал проф. П. С. Кузнецов, который сделал также ряд критических замечаний по докладу Н. Д. Андреева, высказавшись против использования в лингвистике физико-математической терминологии.

По мнению канд. филол. наук Н. Ф. Шелевиной (Черновцы) отсутствие в языке статик не делает невозможным синхронное изучение языка, а структуральные методы исследования не только не представляют опасности для советского языковедения, но полезны и необходимы.

Канд. филол. наук В. Д. Левин, говоривший о различии в задачах синхронного и исторического анализа, критиковал доклад Б. В. Горнунга и выступление В. И. Абаева. Подчеркнув, что искать новые пути синхронного анализа системы языка как средства общения данного коллектива — наиболее важная задача современного языковедения, так как это необходимо и для исторического изучения языка, В. Д. Левин отметил, что не всякое исследование истории языка обязательно отвечает требованиям научного историзма. Работы западных структуралистов часто неприемлемы для нас не потому, что они разрабатывают методы синхронного анализа, а потому, что в них обнаруживается стремление к дематериализации языка, игнорирование значения, «абстракционизм». Аналогичную точку зрения на структурализм и на синхронный анализ высказал канд. филол. наук В. З. Панафилов (Ленинград).

Канд. филол. наук О. С. Широков (Черновцы) использовал материал склопления в новогреческом языке для того, чтобы показать, что в синхронном срезе могут сосуществовать несколько подсистем, но связанных иерархически между собой. По мнению О. С. Широкова, только четкое различение и противопоставление синхрония и диахрония и дает возможность использовать синхронный анализ при историческом исследовании, а данные истории — в описательной грамматике.

По мнению канд. филол. наук И. П. Мучника, предлагаемая в докладе Б. В. Горнунга система координат, которая позволяет рассматривать каждый факт языка по отношению к обеим осям, может привести к стиранию граней между синхронией и диахронией. И. П. Мучник отметил также, что А. А. Реформатский в своем докладе никак не аргументировал свой отказ от критики соссюровского взгляда на абсолютную противопоставленность синхрония и диахрония (см.: А. А. Реформатский, Введение в языковедение, М., 1955, стр. 31; А. И. Смирницкий, По поводу конверсии в английском языке, «Иж. яз. в шк.», 1954, № 3, стр. 16).

Доктор филол. наук Н. С. Поспелов критиковал доклады Б. В. Горнунга и особенно А. А. Реформатского за анахронический характер их аргументации, сосредоточившейся в основном на положениях Ф. де Соссюра в тезисах Пражского лингвистического кружка, т. е. на положениях 40—30-летней давности. Вне поля зрения докладчиков оказались работы Н. С. Трубецкого, С. О. Карцевского и Р. О. Якобсона, важные для углубления методики синхронного анализа («в сторону его диахронизации» (понятия морфемы, асимметрического дуализма лингвистического знака, кода и др.).

Канд. филол. наук В. П. Григорьев посвятил свое выступление вопросу о так называемых искусственных языках и критиковал точку зрения Б. В. Горнунга на их развитие как совершающееся якобы «целиком и вовсе произвольно», а также замечание А. А. Реформатского о том, что «лингвистическое осмысление искусственных языков... не может распространяться за пределы синхронии».

В заключительных словах докладчики, отвечая на критические замечания, уточнили отдельные положения своих докладов.

Заслушанные затем доклады Вяч. Вс. Иванова и Э. А. Макаева были посвящены методам реконструкции доисторического состояния индоевропейских языков и в ряде своих основных положений совпадали. В докладе Вяч. Вс. Иванова эта проблема рассматривалась преимущественно на материалах хеттского, лувийского и «тохарских» языков. Используя метод реконструкции праязыковой системы, предложенный Е. Куриловичем, докладчик дал свое построение ларингальной гипотезы на основе архаичных фактов хеттского языка. Применение метода внутренней реконструкции для восстановления праязыка, по мнению докладчика, требует пересмотра установившихся взглядов на древнейший период истории отдельных индоевропейских языков. Необходимость системного анализа праязыковых фактов, сказал Вяч. Вс. Иванов, диктуется уже эмпирическими результатами реконструкции. Заключительная часть доклада была посвящена сложной проблеме реконструкции состояний, предшествующих тому праязыковому состоянию, которое восстанавливается на основании данных отдельных языков и в котором выделяются различные хронологические слои. Докладчик указал на то значение, которое здесь имеют типологические параллели системного характера, и отметил, что невозможность восстановления сообщения, т. е. текста, на индоевропейском праязыке (типа известной басни Шлейхера) не исключает возможности характеристики кода, использовавшегося для коммуникации, т. е. восстановления системы праязыка. Естественно, что с углублением в дописьменную историю языка реконструируется все меньшее число элементов, но при этом все же сохраняется возможность реконструкции отношений между элементами.

Канд. филол. наук Э. А. Макаев в своем докладе подчеркнул, что одной из глав-

ных задач диахронической лингвистики является анализ взаимозависимости и соотносительности всех элементов языковой системы на различных этапах развития языка. Отказ от реконструкции системы языка приводит или к искажению действительного праязыкового состояния, или к пигмалистическому взгляду на праязык как на мнимую величину. Э. А. Макаев отметил, что синхронный анализ позволяет обнаружить различные сосуществующие дублетные формы, вскрыть синхронные изоглоссы в праязыковом состоянии. Докладчик предложил использовать введенное Э. Херманом разграничение собственно реконструкций и формул. По Э. А. Макаеву, формулы в отличие от реконструкций воссоздают точный фонемный состав и фономорфологическую структуру языковой единицы.

Выступившие в прениях П. С. Кузнецов, О. С. Широков и канд. филол. наук Б. М. Задорожный (Львов), сделав ряд отдельных критических замечаний (в частности, по поводу ларингальной гипотезы в каложении Вяч. Вс. Иванова и в связи с разграничением формул и реконструкций в докладе Э. А. Макаева), поддержали основные положения докладчиков. Б. М. Задорожный подчеркнул, что доклады Вяч. Вс. Иванова и Э. А. Макаева «были ярким опровержением того взгляда, будто структурный анализ явлений языка несомненным с принципом историзма в языкознании». Доклад Э. А. Макаева особенно наглядно продемонстрировал, что структурная лингвистика имеет дело не только с «чистыми отношениями». Б. М. Задорожный присоединился к мнению Вяч. Вс. Иванова о необходимости разработки лингвистической аксиоматики и так же, как П. С. Кузнецов, указал на важность вопроса о критериях достоверности реконструкций. Мл. научн. сотр. Ин-та востоковедения АН СССР В. П. Старилин в своем выступлении говорил об испытываемой широкими кругами советских языковедов потребности в скорейшем переиздании трудов классиков науки о языке и критиковал книгу «Вопросы методики сравнительно-исторического изучения индоевропейских языков».

Подводя — от имени Бюро Секции общего и сравнительно-исторического языкознания Ученого совета — предварительные итоги дискуссии, доктор филол. наук М. М. Гухман отметил, что обсуждение показало необходимость четкого разграничения вопроса о сущности языка, с одной стороны, и методики лингвистического исследования — с другой. Как подчеркивалось в выступлениях, историческое изучение не может быть сведено к атомистической диахрии. В настоящее время вряд ли найдется много противников применения некоторых синхронистских приемов исследования к истории языка и сравнительной грамматике родственных языков, так как очевидно, что выключение — в определенных целях — объекта изучения из исторических связей не противоречит важнейшему принципу марксистского языкознания — принципу историзма. Разграничение синхронного анализа и исторических исследований должно быть средством более полного и всестороннего познания языка. В связи с тем, что в понимании сущности и границ структурализма среди участников дискуссии обнаружился значительный разброд, особую роль должна сыграть дискуссия о структурализме, развернувшаяся на страницах журнала «Вопросы языкознания». При этом нельзя забывать, что к структурализму примыкают и такие языковеды, теоретические положения и лингвистическая практика которых находятся в явном противоречии с принципами советского языкознания. Среди вопросов, которые ждут дальнейшего широкого обсуждения, М. М. Гухман назвала следующие: понятие системы, типы диахронных и синхронных исследований, соотношение знака и значения, философия языка и языкознание, языкознание и математика.

Председательствующий, директор Ин-та языкознания АН СССР проф. В. И. Бороковский, поблагодарил всех участников обсуждения и сообщил, что материалы дискуссии будут опубликованы в очередном выпуске «Докладов и сообщений» Института.

ЧИТАТЕЛЬСКИЕ КОНФЕРЕНЦИИ В КАЗАХСТАНЕ, КИРГИЗИИ И ТУРКМЕНИИ

В феврале и марте с. г. в институтах языка и литературы академий наук Казах. ССР (Алма-Ата), Кирг. ССР (Фрунзе) и Туркм. ССР (Ашхабад) состоялись читательские конференции, посвященные обсуждению тематического плана работы журнала «Вопросы языкознания»¹. В обсуждениях приняли активное участие сотрудники институтов языка и литературы, а также профессора и преподаватели университетов и других языковедческих высших учебных заведений. Среди выступавших на конференциях 16 февраля в г. Алма-Ата были акад. АН Казах. ССР К. Н. Кенесбаев, член-корр. АН Казах. ССР С. А. Аманжолов, д-р филол. наук М. Б. Балакаев, кандидаты филол. наук А. И. Исканов, П. Д. Номинханов, Ш. Ш. Сарыбаев, Г. Г. Мусабаяв, Т. Талибов и др.; на конференции 21 февраля в г. Фрунзе — академики АН Кирг. ССР К. К. Юдахин и И. А. Гатманов, кандидаты филол. наук Г. Бакинова, В. Орзабаев, Ю. Яншансин, С. Кудайбергенев и др.; на конференции 2 марта в г. Ашхабаде — директор

¹ См. ВЯ, 1956, № 5, стр. 162.

Ин-та языка и литературы АН Туркм. ССР М. Я. Хамаев, член-корр. АН Туркм. ССР Э. Б. Мухаммедова, зав. Сектором языка Б. Ч. Чарыйров, зав. Сектором словарей С. А. Алтаев, зав. Сектором литературы Н. А. Аширов, кандидаты филол. наук Р. Б. Бердыев, К. А. Атаев, Г. А. Ачилова и др.

В выступлениях многих участников общее направление работы журнала получило одобрение. Указывалось, что такой общетеоретический журнал, каким является журнал «Вопросы языкознания», необходим как для языковедов-теоретиков, так и для преподавателей языковедческих дисциплин в высших учебных заведениях и в средней школе. Было отмечено, что журнал освещает основные теоретические вопросы и дает в каждом номере новые по материалу и разнообразные по тематике статьи, интересные большинству читателей, независимо от той или иной, иногда узкой, их специальности. Журнал ведет значительную работу с авторами при редактировании, доработке, сокращении, уточнении и подготовке статей к печати. Удовлетворяют читателей и имеющиеся в журнале основные разделы. Однако в некоторых выступлениях высказывались и сомнения в том, что критерии распределения статей по разделам [1) основные статьи, 2) дискуссии и обсуждения и 3) заметки и обсуждения] не всегда ясны для читателя, так как иногда статьи, помещенные в основном, первом разделе, требуют обсуждений в большей степени, чем некоторые статьи, помещенные в разделе втором — дискуссии и обсуждения.

Было высказано и большое количество критических замечаний. Отмечалось, например, что редколлегию, помещая в журнале те или иные спорные статьи или статьи, отражающие различные направления и точки зрения, не сопровождала их изложением своего собственного мнения. Указывалось также, что печатается недостаточное количество направляющих методологических статей и статей, посвященных критике буржуазных теорий языкознания.

Многие выступления касались необходимости большего освещения в журнале таких, например, проблем, как: а) проблема периодизации истории развития языка от родовых языков к племенным, от племенных языков к языкам народностей, от языков народностей к языкам буржуазных наций и языкам социалистических наций; б) проблема основного словарного состава; в) проблема ведущего или опорного диалекта литературного языка; г) проблема внутренних законов развития языка; д) проблема структуры языка как продукта ряда эпох и пр. Высказывались пожелания о необходимости открыть специальный информационный отдел журнала «По республикам и областям Советского Союза», где бы в самом кратком виде давалась информация о том, что делается в каждой республике по языкознанию, какие проблемы решаются, какие защищаются диссертации и т. д. Такой же информационный и критико-библиографический отдел необходимо, по мнению некоторых, открыть в журнале и в отношении зарубежных стран Европы, Азии и Америки. В частности, указывалось на необходимость для тюркологов и иранистов подробной информации о языкознании в Турции и Иране. Преподаватели университетов просили также более подробно освещать в этом разделе такие вопросы, как характеристика языков Китая, Индии, Камбоджи, Полинезии и т. д., и другие консультации по языкознанию. Были высказаны пожелания об усилении общего критико-библиографического раздела журнала. Отмечалось незначительное количество аннотаций и рецензий на труды, вышедшие в республиках и областях СССР, а также на крупнейшие работы по языкознанию, изданные в Москве, Ленинграде и за рубежом.

Были названы некоторые конкретные проблемы и вопросы, освещение которых желательно видеть на страницах журнала:

1. Проблемы истории и диалектологии конкретных языков, например, вопросы отношения современных тюркских языков к древним языкам, публикации памятников или их фрагментов.

2. Проблемы развития литературных языков и их отношения к средневековым и древним литературным языкам.

3. Вопросы описательной грамматики, тесно связанной в свою очередь с практическими вопросами языка и методики его преподавания в средней и высшей школе.

4. Вопросы лексикологии и лексикографии. В частности, отмечалась необходимость публикации статей по методике разработки толковых словарей, создание которых сейчас имеется в планах почти всех институтов языка национальных академий.

5. Практические вопросы языкознания и, в частности, вопросы письменности, алфавита, орфографии, орфоэпии, транскрипции и пр. — вопросы, которые совершенно ныне не регулируются в СССР, что вызывает большой разброд в существующих алфавитах¹.

6. Вопрос, выдвинутый языковедами Казахстана, Киргизии и Туркмении о спе-

¹ Можно вполне согласиться с проф. А. К. Боровковым, что регулирование вопросов письменности должно быть централизовано, а кроме того, вопросы эти должны изучаться и в филологических институтах Академии наук СССР (А. К. Б о р о в к о в, К вопросу об унификации тюркских алфавитов в СССР, «Советское востоковедение», 1956, № 4).

циффике постановки лингвистических курсов в национальных университетах и педвузах: Введения в языковедение, Общего языковедения, Введения в изучение языков данной (например, тюркской) группы, Современного языка и пр.

Следует отметить также, что многие из выступавших указывали на необходимость публикации на страницах журнала большего количества конкретных статей, посвященных отдельным вопросам грамматики: отдельным частям речи, отдельным категориям (залог, наклонению, виду, времени, склонению, спряжению, проблемам слово-сочетания и предложения и пр.), а также некоторых общих теоретических статей, например, статей об определении таких понятий, как «грамматическая категория», «грамматическое значение», «грамматическое понятие», «грамматическая форма» и пр.; статей, посвященных проблемам аналитических и синтетических форм выражения грамматических значений, от разрешения которых, как указывали некоторые выступавшие, в значительной степени зависит и успешная разработка конкретных вопросов грамматики.

Как видно из обзора выступлений, все пожелания носят главным образом практический характер, что объясняется тем, что в планах научно-исследовательской работы академических институтов стоят соответствующие практические задачи.

В связи с изложенным очевидно, что Отделу языков и письменности народов СССР редакции журнала следует предпринять следующие шаги: а) организовать регулярную информацию о научной жизни в национальных республиках и областях (в некоторых республиках намечены уже персонально постоянные корреспонденты, которые регулярно будут давать соответствующие сведения); б) организовать дискуссию на тему «Лингвистические курсы в национальных университетах и педвузах»; в) выделить в Отделе критики и библиографии в каждом номере журнала страничку для обзора и аннотации основных работ, изданных в национальных республиках и областях; г) подготовить специальные статьи или консультации, например, на следующие темы: 1) «Грамматическая категория и грамматическая форма», 2) «Аналитические и синтетические формы выражения грамматических значений», 3) «Принципы составления толковых словарей», 4) «Вопросы нормализации литературных языков и проблема совершенствования письменности».

В заключение необходимо отметить и общее пожелание участников конференции об оказании языковедам национальных республик и областей более эффективной научной помощи, чем до сих пор. Эта помощь должна быть реализована не только в виде печатания статей и консультаций в журнале или в виде поездок соответствующих специалистов на места, но в виде организации различного рода совещаний и главным образом в виде организации при Бюро Отделенная литературы и языка или при Институте языковедения АН СССР специальных семинаров и прежде всего: а) семинаров по лексикографии (в связи с составлением на местах толковых словарей); б) семинаров по методике разработки описательных грамматик; в) семинаров по истории отдельных языков, а также групп и семей языков; г) семинаров по практике диалектологических описаний говоров и диалектов, по картографированию и составлению диалектологических атласов*.

Н. А. Баскаков

*От редакции. Редакционная коллегия, выражая благодарность читателям за их замечания и указания, высказанные на проведенных совещаниях, сообщает, что в пределах возможностей редакции эти замечания будут учтены ею в дальнейшей работе журнала. В частности, предполагается помещать в журнале статьи-консультации по запросам, получаемым от читателей, а также по возможности расширить отделы критики, библиографии и информации о научной жизни языковедческих учреждений во всех национальных республиках и областях нашей страны.

В связи с этим редакционная коллегия рассчитывает и на активное содействие читателей журнала, от которых она ожидает, кроме специальных научных статей, также разнообразного информационного материала.

СЛОВАЦКОЕ ЯЗЫКОВЕДЕНИЕ ПОСЛЕ 1945 г.

1

В первом десятилетии после первой мировой войны языковедения в Словакии собственно говоря не было. Из работ лингвистов старшего поколения заслуживает внимания книга Й. Главатого «Развитие склонения имен существительных и имен прилагательных в словацком языке» (J. Hlavatý, Vývoj skloňovania podstatných a prídavných mien slovenských, Trnava, 1922). Очевидное отставание словацкой лингвистики в этот период легко объяснить национальным, социальным и культурным угнетением словаков в старой Австро-Венгрии.

Таким образом, в период между мировыми войнами словацкая лингвистика формируется во многом как дисциплина новая, не опирающаяся на отечественную традицию (например, на труды Штура, Гатталы, Цамбля). Такое положение часто вредило делу. Для возникновения нового словацкого языкознания большое значение имело развитие чешского языкознания. Словацкие лингвисты учились главным образом в Карловом университете в Праге. Далее, в развитии словацкой лингвистики большую роль сыграло изучение диалектов диалектов в связи с большим интересом к ним. С 1921 г. словацкими диалектами занимался проф. В. Важный.

Уже во втором десятилетии в период первой республики появляется и начинает активно работать новое поколение словацких языковедов. Часть лингвистов занималась преимущественно вопросами литературного языка и группировалась вокруг журнала «Словацкий язык» («Slovenska reč» — сокр. SR), который начал выходить в 1932 г. Другая часть лингвистов работала, в основном, над вопросами диалектологии и объединялась вокруг журнала «Братислава» («Bratislava»), а с 1935 г. — вокруг «Сборника Матисы словацкой» («Sbornik Matice slovenskej» — сокр. SMS). Кроме того, в значительной мере стали разрабатываться вопросы общего языкознания, исторической грамматики словацкого языка и фино-угорского языкознания.

Итак, в период второй мировой войны сформировались два лингвистических центра. Один возник в Мартине, при Матисе словацкой; второй — в Братиславе при университете в Шафарыковом ученом обществе, которое в 1939 г. преобразовалось в Словацкое ученое общество, а в 1943 г. — в Словацкую Академию наук и искусств; языковедческим органом ее был журнал «Словацкая лингвистика» («Linguistica slovacca» — сокр. LS), который выходил с 1939 по 1948 г. (т. I—VI).

Заслуживают внимания лекционная деятельность возникшего в годы войны Словацкого языковедческого общества и дискуссии, проводимые им. Направление этого общества было структуралистским; с позиций структурализма решались преимущественно вопросы фонологии, языкового развития и предмета языкознания. Но, кроме того, изучались и другие проблемы. Таково в общих чертах было состояние словацкого языкознания в 1945 г.

2

Тотчас после освобождения стало ясно, что словацкое языкознание вступает в новый период. Уже с самого начала стала очевидной необходимость подвести под языкознание марксистскую базу. Однако это было достигнуто не сразу и не без труда. Лишь результаты языковедческой дискуссии 1950 г. на страницах «Правды», разрешившие в значительной мере также и вопросы, стоявшие перед словацким языкознанием, создали условия для плотной научной работы. После 1952 г. главное внимание стало уделиться не декларативным заявлениям о необходимости марксистского языкознания, а тому, чтобы марксистские принципы применялись в работах лингвистов. Вторым фактором, важным для развития работы языковедов, было сосредоточение всей лингвистической деятельности в Институте словацкого языка Академии наук.

Период после освобождения характеризовался завершением старых организационных форм и поисками новых методов и нового содержания работы. В Братиславе тотчас же после освобождения началась активная работа в университете, прежде всего в области воспитания молодых научных кадров. В этом направлении особенно много было сделано на кафедре словацкого языка и литературы и кафедре русского языка в литературе. На первой из них работали проф. Я. Станислав, проф. Э. Паулини, доц. П. Штольд, доц. П. Ружичка и доц. В. Бланар, на второй — проф. А. В. Псащенко и позднее доц. Л. Дырович. Из педагогических школ за последнее время приобретает важное значение Педагогический институт в Братиславе, в котором ведут занятия доц. Э. Попа и доц. П. Штольд.

Для развития лингвистической мысли после 1945 г. немалое значение имел Братиславский лингвистический кружок (существовал фактически до 1950 г., председатель Э. Паулини), который пришел на смену Словацкому языковедческому обществу. Ориентация кружка была, как и у Словацкого общества, структуралистской. Это ограничало состав членов и снижало общественное значение его деятельности. Тем не менее кружок проделал большую работу, особенно при исследовании вопросов словацкой грамматики и словаря, так как общие положения вверялись большей частью на словацком и русском языковом материале. Кружок издавал журнал «Слово и форма» («Slovo a tvar» — сокр. SaT, ред. Э. Паулини, 1947—1950) и «Сборник Братиславского лингвистического кружка» («Recueil Linguistique de Bratislava», — сокр. Recueil, I, ред. А. В. Псащенко, 1948) Журнал «Слово и форма», начиная с третьего года издания, имел приложение «Язык технических отраслей» («Technický jazyk»), которое редактировал Я. Горещкий. Деятельность Братиславского лингвистического кружка после 1950 г. была не так значительна, а в последующие годы прекратилась совсем.

В дальнейшем все большее и большее значение как центр лингвистической деятельности приобретает Институт словацкого языка АН, который осуществляет и осуществляет работы по следующей тематике.

1. Правила словацкого правописания. Пособие «Правила словацкого правописания» («Pravidlá slovenského pravopisu», Bratislava, 1953) содержит не только кодификацию правописания, но и основы грамматической и словарной кодификации. Дискуссия о реформе словацкого правописания началась уже давно. После издания «Правил словацкого правописания» в 1931 г. и особенно после 1945 г. все более настойчивыми стали голоса, требовавшие радикальной реформы. Однако приверженцы реформы чересчур подчеркивали номинативную функцию правописания и недооценивали значение и силу традиции. Отсутствие единства мнений в вопросах об отдельных конкретных сторонах реформы, нерешительность и колебания культурной общест-венности (кроме большинства учителей) привели к тому, что проведение реформы по-стоянно откладывалось. Наконец, было решено, что изменение правописания, помимо исключения некоторых частностей и непоследовательностей, будет сведено только к из-менению в написании предлогов и приставок *s, z, s-, z-*, формы множественного числа прошедшего времени и к изменению правил словораздела.

Подробное изложение дискуссии о реформе правописания содержат работы: Э. Паулины — Я. Горецкий, О реформе словацкого правописания (E. Pauliny — J. Horecký, O reforme slovenského pravopisu, Bratislava, 1948); Э. Йона, Замечания к проектам реформы словацкого правописания (SR, XII, 1946, стр. 46—57, 103—113); Ш. Пецляр, О демократизации правописания (SR, XVI, 1950—1951, стр. 257—269). Кроме того, в журнале «Словацкий язык» (XVII, 1951—1952 и особенно XVIII, 1952—1953) помещены многочисленные статьи о заключительной фазе подготовки реформы правописания.

После установления объема изменений правописания в 1950 г. началась подго-товка нового издания «Правил словацкого правописания» (главным редактором пер-вого варианта был Э. Паулина). Переработке подверглась вся грамматическая часть и словарь старых «Правил». В окончательной редакции они вышли в 1953 г. (гл. ред. Ш. Пецляр). Новое издание «Правил словацкого правописания» — обстоятельный труд; ясно составленные правила представляют результаты изучения правописания, произношения и грамматического строя словацкого языка. «Правила» являются хо-рошей базой для школьных учебников словацкого языка.

2. Словарь литературного языка и другие словари. Материал для словаря словацкого литературного языка систематически собирали еще в Матпие словацкой примерно с 1936 г. После 1945 г. стал выходить в тетрадях «Словарь словацкого литературного языка» А. Яношика и Э. Йоны (A. Jánošík, E. Jóna, Slovník spisovného jazyka slovenského, Turč. Sv. Martin, 1946—1949). Вышел первый том, до буквы I. Этот словарь ставил своей целью собрать, истолковать и снабдить примерами все слова словацкого литературного языка. В словаре было до-пущено много ошибок: словарные статьи были разработаны неравномерно; не были соблюдены надлежащие критерии при отборе примеров; толкования слов и их стили-стическая оценка были часто недостаточны и неудачны и т. д. В 1949 г. словарь перестал выходить, и вся работа была сосредоточена в Словацкой АН.

Несколько позже начали собирать материал для другого словаря в Словацком уче-ном обществе (позднее в Словацкой АН). В 1944 г. была сдана в набор первая тетрадь (авторы И. Орловский и Э. Паулина), но издание словаря прекратилось, так как стало очевидным, что материала недостаточно и словарь не достигает должного уровня. В дальнейшем над словарем работал И. Орловский, а позднее Я. Горецкий, который подготовил материалы до буквы Р. С 1949 г. работой стал руководить Ш. Пецляр; тогда изменялся и характер подготавливаемого словаря: стали составлять фразеологи-ческий толковый словарь в трех томах. Работа, к сожалению, идет крайне медленно; сейчас готовится к печати первый том.

Значительно лучше положение с русско-словацкими словарями. А. В. Исаченко с сотрудниками надал методически хорошо составленный «Словацко-русский перевод-ной словарь» (A. V. Isačenko, Slovensko-ruský prekladový slovník, diel I, Bratislava, 1950) и закончил рукопись второго тома. Кроме того, он вместе с сотрудниками издал краткий, но содержательный «Настольный русско-словацкий словарь» («Príručný slovník rusko-slovenský», Bratislava, 1952). Подготавливается и трехтомный русско-словацкий словарь. Этой работой в Чехословацко-советском институте руководит канд. филол. наук Л. Дюрович. Внешним редактором словаря является доцент Московского ун-та Н. А. Кондрашов.

3. Специальная терминология. Разработкой и объединением тер-минологии отдельных отраслей науки занимается Отделение терминологии Института словацкого языка АН, которым руководит Я. Горецкий. Отделение возникло весной 1950 г. Оно включает 30 рабочих комиссий, каждая из которых занимается термино-логией какой-либо отрасли науки или ее части. Соответствующие материалы публикуются в виде особых словарей. До настоящего времени их вышло четырнадцать, пять подготовлено к печати. Меньшие по объему материалы печатаются в ежемесячном жур-нале «Словацкая специальная терминология» («Slovenské odborné názvoslovie», ред. Я. Горецкий, выходит с 1953 г.). В этом журнале обсуждаются принципы терминологи-ческого словообразования и вновь вводимые термины.

4. Изучение диалектов. Коллективное изучение словацких диалектов имеет богатые традиции. До 1938 г. ими систематически занимался В. Важный, в более узких масштабах продолжавший свою деятельность и в годы войны. Понятно, что в благоприятных условиях, создавшихся после освобождения, эта работа широко развернулась. В 1947 г. Э. Паулини и Й. Штольц издали «Вопросник для изучения словацких диалектов» (E. Pauliny, J. Štolc, Dotazník pre výskum slovenských nárečí, Bratislava, 1947). Он содержит 750 вопросов, включающих около 1800 слов и форм. С помощью студентов философского факультета Братиславского ун-та (семинар проф. Э. Паулини) было начато собирание диалектологического материала. До середины 1951 г. (под руководством Й. Штольца) удалось организовать собирание материала в сущности во всех словацких селах Словакии. Остальной материал (примерно из 40 сел) был собран в последующие годы. Помимо сбора материала в Словакии, работа проводилась и в словацких селах Венгрии (в 1946 г. Й. Штольцем, П. Ондрусом, В. Блаваром, К. Палковичем), в Югославии (в 1947 г. Й. Штольцем, Э. Паулини) и в Болгарии (в 1949 г. и 1955 г. В. Блаваром).

В диалектологическом отделении Института словацкого языка собирается материал и для диалектологического словаря. До настоящего времени собрано 150 тыс. карточек. Был основан архив диалектологических текстов (собрано свыше 2000 страниц текстов из 276 сел) и архив звуковых записей, находящийся в ведении Г. Горака.

5. История словацкого языка. Подготовительными работами, связанными с изучением истории словацкого языка, занимается Отделение истории словацкого языка при Институте словацкого языка. Здесь собирают материал для исторического словаря, привлекают как старые венгерские документы, так и литературу 1850—1860 гг. До сих пор сделано более 200 тыс. выписок.

6. Грамматика литературного языка. Отделение литературного языка при Институте словацкого языка (руков. доц. Й. Ружичка) подготавливает научную грамматику литературного языка. Его задачей в настоящее время является подготовка монографий по отдельным проблемам с тем, чтобы в дальнейшем приступить к созданию обширной научной грамматики словацкого литературного языка. С этой целью создается картотечка, преимущественно в области синтаксиса и употребления грамматических форм. Имеется уже свыше 100 тыс. карточек.

Таковы условия, в которых развивалась исследовательская работа после освобождения. Следует также отметить, что работа в области неславянской филологии ведется при отдельных кафедрах философского факультета ун-та им. Коменского.

Отдельные языковедческие дисциплины разрабатывались следующим образом.

Общее языковедение. Применение структуралистского метода (в интерпретации автора) находим в изданной посмертно, незавершенной книге чешского профессора Братиславского ун-та Й. М. Коржиника «Введение в языковедение» (J. M. Kofínek, Úvod do jazykozvedy, Bratislava, 1948). В ней рассматривается предмет языковедения, разбирается содержание понятий «langue» и «parole», далее идут фонологическая систематика и вопросы языковой типологии. Взгляды Й. М. Коржиника некоторое время оказывали влияние на часть словацких лингвистов.

Проблема отношения «langue — parole» интересует словацких лингвистов и в дальнейшем. А. В. Исаченко занимается аппеллятивной (призывной) функцией языка и приходит к выводу, что аппеллятивные средства языка по своему характеру сильно отличаются от системных языковых средств (Recueil, I, стр. 45—57). Э. Паулини рассматривает различие между предложением и высказыванием и приходит к выводу, что предложение качественно отличается от слова и высказывания; для предложения характерен момент отождествления понятия (выраженного словом) с определенным предметом (Recueil, I, стр. 59—66).

Важное значение имеет работа Й. Ружички «К проблеме дифтонгов» (I, IV—VI, 1946—1948, стр. 23—39), решающая вопрос о критериях, которых необходимо придерживаться при оценке дифтонгов с фонологической стороны.

Интерес к советской лингвистике, довольно значительный и до дискуссии на страницах «Правды», сильно возрос после 1950 г., так что с тех пор советская лингвистика становится предметом постоянного изучения. Она в значительной степени способствовала изменению интересов словацких лингвистов. Большая заслуга в этом принадлежит также словацкой русистике, которая систематически знакомила словацких лингвистов с новыми достижениями русского языковедения.

Центр тяжести после 1945 г. переместился с фонетики на морфологию, синтаксис, словарь и стилистику, т. е. преимущественно на семантическую сторону языка.

Неславянские языки. Проблемами германистики занимался Й. Ружичка. В книге «К проблематике слога и просодических свойств» (J. Ružička, Z problematiky slabiky a prosodických vlastností, Bratislava, 1947) он сначала рассматривает проблему слога и просодических свойств вообще, а потом приводит комплекс изменений, имевших место в немецком языке перед так называемым нововерхнемецким периодом. На основании полученных результатов автор предлагает новую периодизацию немецкого языка. Й. Ружичка опубликовал также две статьи о фонетике и морфологии готского языка («Jazykovedný zborník» — сокр. JS, V, Bratislava, 1951, стр. 259—264; Recueil, I, стр.

151—166)). Современным немецким языком занимается В. Швантлер. Специалист в области англистики Я. Шимко занимается изучением некоторых вопросов соотношения грамматики и словаря («Zeitschrift für Anglistik und Amerikanistik», III, 1955, стр. 305—314); он сдал в печать книгу о порядке слов в английском языке средних веков.

Я. Горепский издаёт книгу «Фонология латинского языка» (J. Horecký, Fonetológia latinsčiny, Bratislava, 1949). Книга интересна в методическом отношении тем, как автор определяет фонологическую систему языка, известного только по письменным памятникам. Он написал также работу о двойных согласных в латинском языке (Resueil, I, стр. 117—137) и о значении латинских надежд (LS, IV—VI, стр. 44—56); помимо этого он изучал стиль средневековой латыни в Словакии (см. JS, V, 1951, стр. 167—186).

М. Окал занимается переводом произведений греческих и римских классиков и их исследованием.

Известный семитолог акад. Ян Бакош издаёт памятники литературы на семитских языках. Следует упомянуть два его издания: «Психология Григория Абу-л-Фараджа, называемого Баргебрауусом» (J. Bakoš, Psychologie de Grégoire Aboufaradj dit Barhebraeus, Leiden. E. J. Brill, 1948)—текст в французский перевод труда сирийского энциклопедиста XIII в. и «Психология Ибн Сина-Авиценны по его труду ан-Шифа» (J. Bakoš, Psychologie d'Ibn Sīnā [Avicenne] d'après son oeuvre aš-Šifā, Praha, ČSAV, 1956)—текст в французский перевод труда Авиценны.

Славянское языковедение. Из книг в этой области следует отметить изданную по-смертно неоконченную работу Я. М. Коржинка «От индоевропейского праязыка к праславянскому языку» (J. M. Kořínek, Od indoeuropského prajazyka k praslavančine, Bratislava, 1948). Она написана в основном в традиционном младограмматическом духе с несколькими структуралистскими схемами в разделе фонетики. Помимо вводной части и раздела фонетики она содержит неполный раздел морфологии.

Отношение словацкого языка, севернее некоторых диалектов его, к другим славянским языкам стало уже традиционной темой. В этой связи следует упомянуть дискуссионные статьи Я. Станислава (SR, XV, 1949—1950, стр. 37—45) и Э. Паулини (JS, IV, 1950, стр. 156—162) относительно взглядов И. Книежи на югославизмы в среднесловацком диалекте («Études slaves et roumaines», I, Budapest, 1948, стр. 2—6, 139—147). Я. Станиславу принадлежит также интересная статья «Место словацкого языка среди славянских языков» (SR, XX, 1955, стр. 133—144; см. в немецком переводе «Zeitschrift für Slavistik», I, Heft 2, Berlin, 1956). Обзор работ о метатезе плавных с критическим анализом отдельных взглядов опубликовал Ш. Пецъяр (JS, VI, 1952, стр. 59—93).

Уделялось внимание и древнеславянскому периоду, особенно выяснению вопроса о том, в какой степени словацкая территория и словацкое население были причастны к созданию старославянской письменности и просвещения в Великоморавской державе. Я. Станислав во многих работах доказывает, что предки нынешних словаков принимали в этом активное участие. После 1945 г. следует особенно отметить его работу «Славянские апостолы Кирилл и Мефодий и их деятельность в Великоморавской державе» (J. Stanislav, Slovanskí apostoľi Cyril a Metod a ich činnosť vo Veľkomoravskej ríši, Bratislava, 1945). Дискуссии вызвало особенно утверждение Я. Станислава о том, что резиденцией Мефодия была Нитра. Часть дискуссии опубликована (JS, I—II, 1946—1947, стр. 193—199, 178—193). Старославянского и, собственно, еще более древнего периода касалась работа А. В. Исаченко «Начало просвещения в Великоморавской державе» (JS, I—II, 1946—1947, стр. 137—178, 265—317). Эта работа вышла отдельным изданием. Автор убедительно и удачно с методической точки зрения освещает вопрос о предпосылках возникновения литературного языка у предков нынешних чехов и словаков.

Из отдельных славянских языков больше других изучается русский. Словацкие работы по русистике характеризуются тем, что в них очень широко осуществляется сравнение русской и словацкой грамматических систем. Самой интересной работой в области русистики является книга А. В. Исаченко «Грамматический строй русского языка в сопоставлении с словацким. Морфология», ч. I (Братислава 1954). Автор изложил в ней свой взгляд на место морфологии в системе языка и разобрал языковые категории и функционирование имени существительного, прилагательного, наречия и предикативов. По всей вероятности, вызовет дискуссии книга Л. Дюровича «Модальность. Лексико-синтаксическое выражение модальных и оценочных отношений в словацком и русском языке» (L. Ďurovič, Modálnosť. Lexikálno-syntaktické vyjadrovanie modálnych a hodnotiacich vzťahov v slovenčine a ruštine, Bratislava, 1956). Дискуссионным прежде всего окажется широкое понятие модальности, согласно которому синтаксически и семантически не расчленяемым целым становится не только изменяемая глагольная форма в инфинитиве, но и неизменяемая глагольная форма с прадаточным предложением. Из работ по русистике заслуживает также внимания книга А. В. Исаченко «Фонетика русского литературного языка» (A. V. Isačenko, Fonetika spisovnej ruštiny, Bratislava, 1947), изданная в качестве пособия для вузов.

В. Бланар посвятил несколько трудов влиянию болгарского языка на язык словацкой и чешской языковой группы в Болгарии (JS, V, 1951, стр. 97—122; «Studie a práce lingvistické», I, Praha, 1951, стр. 353—368).

Для развития славистики большое значение имели общереспубликанские конференции славистов. На конференции славистов в Оломоуце (5—7 III 1953) В. Бланар сделал доклад о смещении языков, Ш. Пецьяр — о морфологической классификации глагольных форм. На конференции памяти И. Добровского в Праге (30 XI — 2 XII 1953) Ш. Пецьяр сделал доклад об отношении Добровского к словацкому литературному языку, В. Бланар — о классификации славянских языков в трудах Добровского, Я. Станислав — о культуре Кирилла и Мефодия в Словакии в связи со взглядами Добровского. Материалы были напечатаны в журн. «Slavia» (XXII, 1953 и XXIII, 1954).

Словацкий язык. Понятно, что усилия языковедов были направлены главным образом на изучение словацкого языка. Работы велись во всех областях: история языка, диалектология, грамматика литературного языка, словарь.

История словацкого языка. Из монографий по истории литературного языка следует указать на работы Я. Боредного, проанализировавшего состояние правописания Гадбавного словаря середины XVIII в. (JS, IV, 1950, стр. 174—192), Л. Сверчковой, изучившей язык Фандли (JS, IV, 1950, стр. 193—208) и Э. Йона, исследовавшего деятельность М. Гатталы (журн. «Jazykovedný časopis», сокр. — JČ, VII, 1953, стр. 15—33). По случаю столетия со дня смерти Я. Штура происходила конференция, посвященная его трудам по языкованию (материалы см. SR, XXI, 1956, стр. 129—260).

За последнее десятилетие вышло много монографических исследований, анализирующих старые памятники письменности. Из них следует отметить труды Я. Станислава о славянских элементах в греческой грамоте короля Стефана 1002 г. (JS, III, 1948, стр. 1—17), об именах собственных в Цивадальском евангелии («Slavia», X III, 1947—1948, стр. 87—100), издание текста и лингвистический анализ Спильской книги проповедей XV в. (JS, IV, 1950, стр. 141—155); следует также упомянуть статью Д. Дубаи о языке кремнических грамот XVI в. (LS, IV—VI, стр. 307—331), работу И. Штольда о языке левочских словацких присяг XVII—XIX вв. (JS, V, 1951, стр. 190—247). Большое значение для изучения развития словацкого языка имеет хрестоматия Я. Станислава «По следам предков» (J. Stanislav, Po stopách predkov, Bratislava, 1948), в которой приводятся отрывки текстов от древнейших времен до XVII в.

Для ознакомления с историей литературного языка важна работа Э. Паулини «История словацкого литературного языка» (E. Pauliny, Dejiny spisovnej slovenčiny, Bratislava, 1948), которая дает новую концепцию и содержит много интересных данных и толкований, но уже несколько устарела вследствие недостаточного количества анализируемого материала.

Я. Станислав издает обширную историческую грамматику словацкого языка в двух томах (фонетика и морфология); первый том ее (фонетика) уже вышел из печати (J. Stanislav, Dejiny slovenského jazyka, I, Bratislava, 1956). По словацкой исторической диалектологии наибольшее число работ опубликовал Э. Паулини. Он изучал развитие групп *l', d', n', l' + e, i* в словацком языке (JS, V, 1951, стр. 140—151), возникновение именительного-винительного падежа типа *znamená* (JČ, VII, 1953, стр. 51—62), возникновение некоторых фонетических изменений в гемеерском наречии (JČ, VIII, 1954, стр. 108—117) и т. д.

К трудам по истории языка тесно примыкают работы по топонимике и ономастике. В этой связи следует особенно отметить монографию Я. Станислава «Словацкий юг в средние века» (J. Stanislav, Slovenský juh v stredoveku, I, II, Martin, 1948). На основании весьма обширного материала топонимических названий автор определяет этнический состав населения Дунайской котловины перед приходом венгров и заключает, что западнославянское население занимало территорию, уходившую в глубь территории сегодняшней Венгрии. Книга вызвала оживленную дискуссию. Я. Станислав опубликовал также большое число исследований по этимологии словацких топонимических названий, преимущественно в журн. «Словацкий язык». Я. Станислав в популярной форме изложил много интересных этимологий названий городов в книге «Открытые имена» (J. Stanislav, Odkryté mená, Bratislava, 1947). В статье «Из словацкой социальной топонимии» (JS, V, 1951, стр. 58—96) он анализирует топонимические названия с точки зрения того, как они отражают старое социальное расслоение населения в эпоху раннего феодализма. Эту работу позднее продолжил, привлекая факты археологии, Р. Крайчович («Historický časopis», IV, 1956, стр. 222—234 и «Slovenský národopis», IV, 1956, стр. 337—367).

В. Бланар изучает способы образования топонимических названий и особенно собственных имен лиц и анализирует средства (главным образом морфологии и словообразования), которые используются при образовании и изменении собственных имен. Этой проблеме он посвятил много статей (JS, I—II, 1946—1947, стр. 26—38; SaT, I, 1947, стр. 70—80; JS, IV, 1950, стр. 89—99). Его книга «К проблеме изучения словацких собственных имен и топонимических названий в Венгрии» (V. Blanár, Prispevok ku štúdiu slovenských osobných a pomestných mien v Mad'arsku, Bratislava, 1950), в основном, также посвящена теории собственных имен.

Словацкая диалектология. Все изданные монографии по диалектологии посвящены, в основном, либо окраинным, либо смешанным говорам. Э. Паулини выпустил книгу «Говоры сел на Верхней Ораве, подлежащих затоплению» (E. Pau-

liny, Nárečie zátorových osád na hornej Orave, Martin, 1947), содержащую описание фонетики и морфологии говоров четырех сел, которые находились на территории плотин оравской гидроэлектростанции. В ней автор старается применить метод структурального анализа.

И. Штольц издал «Говоры трех словацких островов в Венгрии» (J. Štolc, Nárečia troch slovenských ostrovov v Maďarsku, Bratislava, 1949). Книга интересна тем, что дает материал для изучения языка переселенцев, которые в XVIII в. ушли из Словакии в Венгрию. Интересные наблюдения над возникновением смешанных говоров. Аналогичный материал находим в книге П. Ондруса «Среднесловацкие говоры в Венгерской Народной Республике» (P. Ondrus, Stredoslovenské nárečia v Maďarskej ľudovej republike, Bratislava, 1956). В монографии Ф. Буффы «Говор Долгой Луки в Бардейовском округе» (F. Buřfa, Nárečia Dlhej Lúky v Bardejovskom okrese, Bratislava, 1953) описывается говор северной окраины Восточной Словакии. Г. Горак в книге «Говор Погорелой» (G. Horák, Nárečia Pohorelej, Bratislava, 1955) описал интересный говор, который возник в результате смешения языка польских колонистов с языком словацкого населения.

Следует также упомянуть описания фонетической системы языка жителей Муранской долины в Гемере (LS, IV—VI, стр. 154—173) и фонетической системы говора села Карлова Весь около Братиславы (см. сб. «Slovenská Bratislava», II—III, 1949—1950, стр. 239—274), сделанные И. Орловским, а также работу И. Штольца о появлении слоговых *r*, *l* на границе между среднесловацкими и восточнословацкими говорами (JS, I—II, 1946—1947, стр. 317—389).

Проблемам изучения диалектов была посвящена диалектологическая конференция в Брно (25—27 XI 1954), на которой И. Штольц выступил с докладом о подготавливаемом атласе словацкого языка (см. «Slovo a slovesnosť», XVI, 1955, стр. 173—174). Подробный обзор работ по диалектологии за 1938—1953 гг. сделал А. Габовштяком (JČ, VIII, 1954, стр. 69—107).

Словацкий литературный язык. В прошедшем десятилетии самое большое внимание уделялось изучению системы литературного языка. Из грамматик надо отметить следующие: И. Орловский — Л. Арав, Грамматика словацкого языка (J. Orlovský — L. Arany, Gramatika jazyka slovenského, Bratislava, 1946), в которой дается обзор исторического развития, делаются попытки фонологического описания звуковой системы и приводятся богатый материал в разделе морфология; Б. Летц, Грамматика словацкого языка (B. Letz, Gramatika slovenského jazyka, Bratislava, 1950). Эта грамматика интересна как запоздалое резюме деятельности словацких пуристов (большая часть ее теоретических основ устарела после выхода книги); Э. Паулин — И. Ружичка — И. Штольц, Словацкая грамматика (E. Pauliny — J. Ruzička — J. Štolc, Slovenská gramatika, Martin, 1953). Эта грамматика — пособие, в доступной форме подводимое итоги изучению словацкого языка за последнее десятилетие. В настоящий момент это наиболее отвечающая требованиям современной науки грамматика словацкого языка.

Много работ было посвящено вопросам литературного произношения. Я. Станислав издал пособие «Словацкое произношение» (J. Stanislav, Slovenská výslovnosť, Martin, 1953). В этой книге и особенно в отдельных статьях он уделяет много внимания сценическому произношению (см., например, его статью «Культура слова на реалистической сцене», — «Slovenské divadlo», II, 1954, стр. 97—114). Много статей по вопросу сценического произношения и особенно оперного написал А. Пранда (например: SaT, III, 1949, стр. 5—10; там же, IV, 1950, стр. 52—69; SR, XIX, 1954, стр. 211—221). Популярно изложил вопросы произношения Я. Станислав в книге «Культура словацкой устной речи» (J. Stanislav, Kultúra slovenského hovoreného slova, Martin, 1955).

Фонетике литературного языка посвящена книга Л. Двонца «Ритмический закон в словацком литературном языке» (L. Dvonč, Rytmičský zákon v spisovnej slovenčine, Bratislava, 1955). Ш. Пецьяр опубликовал несколько работ по фонологии словацкого литературного языка: о группах гласных и заимствованных словах (SR, XIII, 1947, стр. 72—86); о количестве и ритмическом законе (SR, XII, 1946, стр. 137—152; 217—224); о фонологическом отношении *i* и *ü* в словацком языке (LS, IV—VI, 1946—1948, стр. 107—120).

Наибольшее внимание, однако, уделялось морфологии и синтаксису литературного языка. Актуальным стал прежде всего вопрос о типах неизменяющихся слов. Главным образом русисты (проф. А. В. Исаченко и его ученики) по примеру некоторых советских исследователей разрабатывали в многочисленных статьях и дискуссиях (например, Л. Дюрович, JS, IV, 1950, стр. 113—140) проблему предикатива, модальных слов и частиц. Оживленная дискуссия развернулась вокруг проблемы классификации глаголов. Э. Паулин предложил свою классификацию в небольшом исследовании «Словацкое спряжение» (E. Pauliny, Slovenské časovanie, Bratislava, 1949). Его мнение подверглось критическому рассмотрению со стороны И. Ружички (SaT, IV, 1950, стр. 43—51). Их взгляды вызвали необыкновенно резкую реакцию Ш. Пецьяра (JS, V, 1951, стр. 30—57). Затем снова выступили И. Ружичка (JČ, VII, 1953, стр.

135—168) и Ш. Пецьяр (JČ, VIII, 1954, стр. 248—266). Единое мнение выработано не было.

За последние годы повышенный интерес проявляется к вопросам синтаксиса. Й. Ружичка, помимо многочисленных исследований по частным вопросам [о глаголе «быть» (SR, XVІІІ, 1952—1953, стр. 398—405); о глаголах действия и состояния (JČ, VIII, 1954, стр. 5—17); об употреблении союза *au* (SR, XX, 1955, стр. 290—301) и т. д.], издал книгу «Синтаксис неопределенного наклонения в словацком литературном языке». (J. Ružička, *Skladba neurčitku v spisovnej slovenčine*, Bratislava, 1956), в которой подробно разобрал инфинитивные сочетания в словацком языке и решил вопрос классификации неполнозначных глаголов. Из работ по синтаксису следует упомянуть статью В. Бланара (JS, VI, 1952, стр. 43—58), где он критикует старые взгляды, нашедшие отражение в грамматике Летца. Большой интерес представляет также его работа о присоединительных предложениях (см. сб. «Jazykovedné štúdie» — сокр. JS, I, Bratislava, 1956, стр. 179—212). М. Урбанчок напечатал работу о классификации вопросительных предложений (там же, стр. 213—225). Следует упомянуть также статью Э. Паулина о порядке слов (SR, XVI, 1950—1951, стр. 197—207, 228—235, 171—179).

О живой исследовательской работе в области морфологии и синтаксиса словацкого литературного языка свидетельствует и конференция, посвященная вопросам морфологии словацкого языка (см. SR, XXI, 1956, стр. 3—128). Меньшее значение и результаты имела конференция по вопросам нормы литературного языка (материалы см. SR, XX, 1955, стр. 193—279).

В результате появления многочисленных работ и статей о грамматическом строе литературного языка грамматическая система словацкого языка в основном уже изучена. Это обстоятельство весьма положительно сказалось при создании учебников, прежде всего словацкого и русского языков. В составлении этих учебников приняли участие многие лингвисты, работающие в высших учебных заведениях и в Словацкой АН. Насущные вопросы школьной практики рассматриваются в журнале «Словацкий язык и литература в школе» («Slovenský jazyk a literatúra v škole»), который выходит с 1955 г. Вопросам терминологии посвящен журнал «Словацкая специальная терминология» («Slovenské odborné názvoslovie»). В этой области работают главным образом Я. Горецкий, Ф. Буффа и В. Дуйчикова. Я. Горецкий издал книгу «Основы словацкой терминологии» (J. Horecký, *Základy slovenskej terminológie*, Bratislava, 1956).

Огромное значение придается созданию словарей. Для решения теоретических проблем словарной работы была созвана общегосударственная конференция чехословацких лексикографов, происходившая 5—7 VI 1952 г. в Bratislave. Итоги этой конференции опубликованы в «Лексикографическом сборнике» («Lexikografický zborník, Bratislava, 1953»). Словацкие делегаты конференции сделали доклады о проблемах омонимии (Л. Дюрович), о фразеологических единицах (В. Лапарова), о проблемах терминологии (Я. Горецкий), об объеме словаря (Р. Шнек). Проблемам словаря литературного языка были посвящены специальные номера журнала «Словацкий язык» (XIX, 1954, стр. 65—128; XX, 1955, стр. 3—64).

Недостаточно систематически ведется работа в области стилистики. Вопросы стиля вообще, отношения литературного языка, диалектов и использования диалектизмов как художественного изобразительного средства рассматривал Э. Паулина в книге «Две главы о литературном языке и диалекте» (E. Pauliny, *Dve kapitoly o spisovnom jazyku a nárečí*, Bratislava, 1946). К вопросу использования диалектизмов как художественного изобразительного средства вновь обратился Й. Штолиц в работе «Исследования по славянскому языку» («Slovenské pohľady», LXXII, 1956, стр. 222—241). На конференции по вопросам стилистики Э. Паулина сделал доклад о функциональном расчленении литературного языка (см. «Slovo a slovesnosť», 1955, стр. 17—24). Ф. Мико издал работу о стилистической категории неопределенности в словацком языке (см. JS, I, стр. 277—305).

В заключение можно сказать, что за десятилетие после освобождения развитие словацкой лингвистики шло в направлении расширения объема разрабатываемых проблем и увеличения числа исследователей, работающих в разных областях языкознания. Очевидно успехи достигнуты, главным образом, в создании грамматики словацкого литературного языка. Весьма успешно ведутся работы в области терминологии. Достижением следует считать и собиравие материала для атласа словацкого языка; жаль, однако, что в настоящее время работа приостановлена. Медленно идет работа и над словарем литературного языка, который так необходим. Не может удовлетворить нас также положение дел с разработкой истории словацкого языка. Довольно значительно развилась русистика, но у нас все еще не хватает специалистов по сравнительному славянскому и индоевропейскому языкознанию, мало работ в этой области; мало также исследований по неславянским языкам.

Надо надеяться, что благоприятные условия, сложившиеся для научной работы после освобождения в 1945 г., в результате чего словацкая лингвистика развилась и достигла сегодняшнего уровня, в будущем обеспечат успехи и в тех областях, в которых сегодня наблюдается отставание. История и развитие словацкого языка вследствие особенностей географического положения и исторических судеб его носителей крайне интересны, поэтому детальное изучение словацкого языка может быть полезным и в широком славистическом масштабе. Следовательно, детальное изучение истории и современного состояния словацкого языка — обязанность и долг словацких лингвистов не только перед своим народом, но и перед всей славистикой.

Э. Паулини

ЗАСЕДАНИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО КОМИТЕТА СЛАВИСТОВ В ПРАГЕ

В соответствии с решением Первого заседания Международного комитета славистов в Москве (см. ВЯ, 1956, № 5). Второе заседание комитета состоялось в Праге в конце января 1957 г. (с 22 по 26 января). В Пражском заседании приняли участие представители 13 стран (см. ВЯ, 1957, № 3).

Заседание открыл председатель Чехословацкого национального комитета славистов акад. Б. Гавранек; от имени Отделения литературы и языка Чехословацкой Академии наук участников приветствовал председатель Отделения акад. Я. Прушек. Рабочие заседания Международного комитета вел его председатель акад. В. В. Виноградов.

Обсуждение научных и организационных проблем проходило в дружеской и коллегиальной обстановке, что привело к успешному разрешению поставленных вопросов. Общая тематика Международного съезда славистов и ее распределение по секциям и подсекциям были уже разработаны на Московском заседании Международного комитета славистов¹ и поэтому широкой дискуссии по общим вопросам тематики съезда на Пражском заседании не велось; следует ожидать их непосредственного разрешения на съезде в докладах. Ответы на поставленные перед славистами всех стран вопросы по более специальным проблемам славянской филологии дадут возможность провести предварительную дискуссию и уточнят позиции отдельных ученых. Эти краткие ответы будут помещены в специальном сборнике Советского комитета славистов. Доклады, которые будут делать на съезде представители различных стран, тоже будут предварительно опубликованы в сборниках,готавливаемых национальными комитетами.

Заседание Международного комитета приняло к сведению конкретные сообщения о возможностях предварительно напечатать доклады, которые имеются в разных странах. Решено было продлить срок получения ответов на вопросы. Большинство делегатов сообщало о распределении тем среди славистов своих стран и представило заявки на доклады. Из этого материала видно, что по некоторым темам пока отсутствуют доклады, по другим их слишком много; некоторые доклады — из-за слишком частного характера — войдут в состав сборников скорее в качестве статей, чем докладов. На основе сведений, полученных от делегатов и обработанных секретариатом Чехословацкого национального комитета (С. Вольманом, В. Ф. Маршом), рабочая группа Международного комитета (В. В. Виноградов, В. И. Борковский, Р. И. Аванесов и М. П. Алексеев) выработает точный план распределения докладов и вышлет его национальным комитетам. Доклады на съезде могут быть написаны и прочитаны на всех славянских и на основных западноевропейских языках (английском, французском, немецком и итальянском). Предварительное опубликование докладов даст возможность докладчикам на конгрессе уделить больше времени дополнениям и пояснениям.

По предложению Польского национального комитета славистов решено организовать, кроме утвержденных ранее двух секций съезда (лингвистической и литературоведческой), еще объединенную лингвистическо-литературоведческую секцию, в состав которой войдет подсекция славянской поэтики и стиховедения. На заседании было также решено образовать шесть рабочих комиссий съезда, а именно: информационно-библиографическую, текстологическо-издательскую, терминологическую, транскрипционную, комиссию по изучению истории славяноведения и специальную комиссию по делам конкретных международных научных предприятий (например, по подготовке большого церковнославянского словаря²). Члены этих комиссий будут представлены

¹ См. брошюру, изданную Советским комитетом славистов: «Проект тематики IV Международного съезда славистов и вопросы к его участникам», М., 1956.

² Этот словарь должен охватывать весь лексический запас огромного количества памятников разных веков и разных местных редакций. Словарь старославянского языка, включающий в себя и исчерпывающей полнотой тексты древнейшего периода, подготовлен уже в Праге Чехословацкой Академией наук.

отдельными национальными комитетами. В Москве во время съезда будет организована выставка современной мировой научной славистической продукции; для этой выставки национальные комитеты пришлют из своих стран книги и журналы.

Решено, что IV Международный съезд славистов состоится в Москве с 1 по 10 сентября 1958 г. и будет продолжаться семь рабочих дней; полтора дня займут пленарные заседания, полтора дня — заседания секций и четыре дня — заседания подсекций. Предполагается, что на съезд будет приглашено около 100—120 гостей — членов конгресса.

В состав Международного комитета славистов вошли новые члены — бывшие заместители членов комитета проф. Р. Ягодич (Австрия), проф. И. Книжежа (Венгрия), а также представитель канадского славяноведения проф. Дж. О. Ст. Клер-Собелья. Наконец, приняты некоторые практические меры по укреплению связей между национальными комитетами, прежде всего осуществление обмена полных списков точных адресов всех членов национальных комитетов (при посредстве Советского комитета).

Следующее, т. е. Третье заседание Международного комитета славистов состоится в январе 1958 г. в Варшаве.

В свободный от заседаний день участники Пражского совещания посетили город Табор в южной Чехии и замок в городе Бехине, превращенный в дом отдыха Чехословацкой Академии наук; вечером того же дня на заседании Языковедческого общества при Чехословацкой Академии наук акад. В. В. Виноградов прочитал доклад о спорных вопросах истории русского литературного языка. Делегаты посетили филологический факультет Карлова ун-та в Праге и славистические институты Чехословацкой Академии наук (Славянский ин-т, Чехословацко-советский ин-т, Ин-т чешского языка и Ин-т чешской литературы).

В. Ф. Мареш

ЧЕХОСЛОВАЦКАЯ ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО СРАВНИТЕЛЬНО-ИСТОРИЧЕСКОМУ ИЗУЧЕНИЮ СЛАВЯНСКИХ ЯЗЫКОВ

С 28 января по 2 февраля 1957 г. состоялось совещание чехословацких языковедов по вопросам сравнительно-исторического изучения славянских языков. Первая часть совещания (28—29 января) протекала в г. Оломоуце в Моравии в связи с празднованием десятилетия со дня возобновления деятельности Оломоуцкого университета им. Палацкого. Кроме чехословацких ученых, в совещании приняли участие члены Международного комитета славистов, оставшиеся в Чехословакии после окончания Второго заседания комитета: проф. Р. И. Аванесов (СССР), проф. Г. Г. Бильфельдт (ГДР), проф. В. Георгиев и проф. П. Диеков (Болгария), проф. И. Книжежа (Венгрия), проф. Т. Лер-Сплавинский (Польша), проф. Э. Петрович (Румыния), проф. К. Г. Ван-Схонефельд (Голландия), проф. Р. Якобсон (США), а также ряд других зарубежных гостей.

Совещание открыл ректор университета им. Палацкого член-корр. Чехословацкой Академии наук Я. Б е л и ч. Он подчеркнул заслуги оломоуцких ученых и культурных деятелей в области славянской филологии. Со вступительным словом обратился к участникам конференции акад. Б. Г а в р а н е к. Оценив развитие чехословацкой славистики за период, прошедший после предыдущего совещания в Оломоуце (1953 г.), он наметил новые задачи, стоящие перед исследователями; он призывал к преодолению методической разобщенности при изучении славянских языков, подчеркнув важность тесной связи синхронного и диахронного аспектов. Если ученые обратят больше внимания на целостный характер языковой системы, подчеркнул Б. Гавранек, они легче избегнут опасности методической разобщенности исследований. От имени гостей участников заседания приветствовали проф. Т. Лер-Сплавинский (Краков) и А. Г. Руднев (Ленинград).

Доклады, содоклады и дискуссии были посвящены трем основным проблемам: 1) сравнительно-историческое изучение морфологического строя славянских языков; 2) сравнительно-историческое изучение синтаксиса славянских языков; 3) сравнительно-историческое изучение словарного состава славянских языков.

Вопросам морфологического строя были посвящены доклады: К. Г о р а л к а (Прага) «Методические предпосылки сравнительно-исторического изучения грамматических категорий в славянских языках», А. Д о с т а л а (Прага) «Глагольные категории личных и неличных глагольных форм», Э. П а у л и н и (Братислава) «Проблемы глагольного управления», Й. Р у ж и ч к и (Братислава) «Спорные части речи», Р. Я к о б с о н а (Гарвардск. ун-т) «О синхронии и диахронии в языковедении», М. К о м а р н а (Оломоуц) «К некоторым вопросам сравнительно-исторического изучения частей речи в славянских языках». По вопросам синтаксиса были вы-

слушаны доклады: Б. Гавранка (Прага) «Методическая проблематика сравнительно-исторического изучения синтаксиса славянских языков», И. Курца (Прага) «Проблематика изучения синтаксиса старославянского языка и анализ причастных конструкций в славянских языках», Я. Бауэра (Брно) «Старочешское простое и сложное предложение и их сравнительный анализ», П. Троста (Прага) «О балтославянских отношениях в области синтаксиса». По вопросам словарного состава были сделаны доклады: А. В. Исаченко (Оломоуц) «Общие закономерности и национальная специфика в развитии словарного состава славянских языков», Я. Белича (Оломоуц) «Влияние исторического развития общества на лексику национального языка», Ю. Даньгелки (Оломоуц) «Применение сравнительно-исторического метода при изучении и описании развития словарного состава», Я. Горецкого (Братислава) «Наименования, обозначающие цель или назначение», В. Бланара (Братислава) «Некоторые проблемы словацкой исторической лексикологии», В. Махка (Брно) «Хеттские параллели к славянскому словообразованию».

Кроме того, были прочитаны четыре доклада, не относящиеся к основным проблемам конференции, а именно: В. Георгиева (София) «Положение славянских языков среди языков индоевропейской семьи»; Р. И. Аванесова (Москва) «О теоретических основах лингвистического атласа русского языка»; К. Г. Ван-Схоненфельда (Лейден) «Об интонации русского предложения» и Э. Петровича (Бухарест) «О влиянии славянской фонологической системы на румынскую».

В заключительном слове Б. Гавранек подвел основные итоги конференции. По его мнению, совершенно очевидно, что синхронное изучение славянских языков должно вестись параллельно с сравнительно-историческими исследованиями. При изучении морфологии надо учитывать не только форму, но и значение, которое нельзя выявить достаточно полно и точно, не принимая во внимание весь грамматический строй. Кроме того, нельзя упускать из виду соотношение морфологии и звуковой стороны языка. В области синтаксиса дело обстоит еще сложнее, ибо синтаксис пользуется и звуковым, и морфологическим планом языка. Вопрос о частях речи нужно разрабатывать при максимальном внимании к связи и соотношению содержания и формы. Методы изучения лексической системы языка еще недостаточно выработаны, и языковеды ищут новых путей. Интересно отметить, что на конференции, так же как и на недавно состоявшемся совещании по изучению современных языков, выдвигались те же вопросы и предложения. Это свидетельствует о том, что данные проблемы стали актуальными и внимание исследователей сосредоточивается на их основных положениях. Для дальнейшего успешного развития славянского языковедения необходимо создать, пользуясь современными методами исследования, исторические грамматики и исторические словари отдельных языков. Сравнительно-историческое изучение славянских языков будет вестись в двух смежных планах: сравнение языков с точки зрения одного общего исходного пункта и сравнение отдельных литературных языков на протяжении их истории. Надо, однако, учитывать не только их сходства, но и различия.

Доклады, содоклады и выступления на дискуссии будут опубликованы.

В. Ф. Марси

ХРОНИКАЛЬНЫЕ ЗАМЕТКИ

10 апреля с. г. исполнилось 60 лет со дня рождения выдающегося адыгейского ученого и педагога Дауда Алиевича Ашхамова (1897—1946). В связи с этой датой в газете «Адыгейская правда» помещены статья Х. Водождонова «Д. А. Ашхамов и развитие адыгейского литературного языка», а также статьи А. Хоретлева и А. Гадагаты, раскрывающие роль Д. А. Ашхамова как выдающегося деятеля культуры и, специально, как фольклориста.

2 апреля с. г. на расширенном заседании Бюро Отделения литературы и языка АН СССР был заслушан и обсужден перспективный план издания словарей русского языка, выработанный специальной комиссией под председательством члена-корр. АН СССР С. Г. Бархударова. В ходе обсуждения указывалось на необходимость ускорения подготовки словарей древнерусского (XI—XIV вв.) и старорусского (XV—XVII вв.) языка, поскольку словарь И. И. Срезневского, работа над переизданием которого ведется в Издательстве иностранных и национальных словарей, уже не может в полной

мере удовлетворять современного историка языка. Предполагается также начать подготовку единого сводного областного словаря и этимологического словаря, всесторонне поощрять составление словарей к отдельным памятникам письменности и произведений художественной литературы. В ближайшие годы начнется работа по созданию словаря русского языка от Горького до наших дней, словарей языка Ломоносова и Салтыкова-Щедрина, словаря языка фольклора, синонимического словаря. Сектор культуры речи Ин-та языкознания АН СССР уже начал подготовку фразеологического словаря. На широкие круги читателей будут рассчитаны однотомные издания словаря древнерусского языка XI—XVII вв., этимологического словаря, словаря языка Пушкина, малого фразеологического словаря и толкового словаря.

В ноябре 1956 г. в г. Свердловске состоялось первое межобластное диалектологическое совещание, посвященное вопросу создания словаря русских говоров Свердловской области. В совещании, организованном кафедрой русского языка и общего языкознания Уральского ун-та им. А. М. Горького, приняли участие также научные работники Казанского и Молотовского ун-тов, Свердловского, Нижне-Тагильского, Тюменского и Челябинского пед. ин-тов и преподаватели языка педучилищ области.

На совещании были заслушаны доклады: канд. филол. наук А. М. Пашков «О сборе материала для словаря русских говоров Свердловской области» и канд. филол. наук Э. В. Глазырина «Принципы построения словарной статьи в областном словаре». А. М. Пашковский, отметив, что в говоре Свердловской области русскими поселенцами, заселявшими Урал с XVII—XVIII вв., была привнесена диалектная южнорусская и главным образом севернорусская лексика, охарактеризовал в своем докладе задачи и цели проектируемого словаря. Докладчик подробно остановился и на вопросах дифференциации слов при их отборе для словаря, на разнообразных видах источников получения лексики и на методике собирания материала. Э. В. Глазырина, приведя обоснование основному принципу построения словарной статьи — давать полную характеристику слова, весь доклад построила на рассмотрении разрядов слов, входящих в словарь, и проблемы методики их подачи. В докладе были, в частности, освещены следующие вопросы: роль и место в словаре экспрессивных синонимов, специфическая диалектная фразеология, значение полноты иллюстративного материала и установление при словах локальных помет.

Доклады были дополнены сообщениями преподавателей: Е. П. Грушевской «О фонетических особенностях говоров Зайковского района Свердловской области», В. П. Светловой «О категория рода существительных в говорах восточных районов Свердловской области», А. К. Матвеева «О мансийских заимствованиях в русских говорах» и А. А. Добряка «О результатах экспедиции, проведенной Нижне-Тагильским пед. ин-том, и о планах последующих диалектологических экспедиций». В прениях приняли участие кандидаты филол. наук М. Д. Голубых (Свердловск), Е. К. Бахмутова (Казань), П. А. Вовчок (Свердловск) и др.

Совещание, одобряя основные положения заслушанных докладов и отметив ценность начатой работы, в которую уже включились и преподаватели Молотовского, Нижне-Тагильского, Тюменского и Челябинского пед. ин-тов, рекомендовало расширить круг участников сбора материала путем привлечения уральских краеведов и учителей массовой школы.

6—7 марта с. г. состоялась конференция профессорско-преподавательского состава Благовещенского гос. пед. ин-та им. М. И. Калинина, посвященная итогам научно-исследовательской работы за 1956 г. На конференции были заслушаны доклады канд. филол. наук И. П. Распопова «К вопросу о смысловом анализе предложения», ст. преп. А. А. Кернера, «Вопрос о международном вспомогательном языке на современном этапе», ст. преп. Г. В. Грачевой «Категория вида в современном английском языке», ст. преп. П. В. Хидешели «К вопросу об именной словообразовании в немецком языке».

6—9 мая с. г. в Куйбышеве состоялась конференция работников кафедр русского языка педвузов Поволжья. На пленарных заседаниях конференции были заслушаны и обсуждены доклады проф. А. Н. Гвоздева (Куйбышев) «К вопросу о фонеме», проф. А. Ф. Ефремова (Саратов) «Язык и стиль памфлета В. Г. Белинского», «Письмо к Н. В. Гоголю» и допента Р. Г. Григунт (Куйбышев) «Основные направления современного структурализма». На заседаниях секции современного русского языка выступили с докладами доцент Н. Я. Лофман (Чкалов) «Из наблюдений над окказиональными значениями слов», канд. филол. наук Н. Н. Чурилова «Субстантивация имен прилагательных», аспирант Н. К. Жучевко (Саратов)

«Глагольные омонимы». Следует также отметить доклады преп. А. Д. Осоловской (Ульяновск) о немостоятельных вопросительных предложениях и доцента Л. И. Бараниковой (Саратов) о сборнике упражнений по фонетике для практических занятий по курсу «Введение в языковедение».

На заседаниях Секция истории и диалектологии русского языка проф. В. П. Воробьев (Саратов) сделал доклад о стилистической роли дательного самостоятельного в русских оригинальных повестях XVII в., ст. преп. В. Н. Кипарисов (Уфа) — о категории залога в «Хожении за три моря» Афанасия Никитина, проф. В. А. Малуховский (Куйбышев) — об областном словаре русских народных говоров. Были заслушаны также доклады асс. Н. М. Золотарева (Куйбышев) «Из опыта собирания материалов по лексике народных говоров», преп. З. П. Здобной (Уфа) «Соотношение говоров Западной Удмуртии с соседними говорами (собственно вятскими и Покамья)», доц. В. Д. Бондалетова (Пенза) «О четвертой разновидности ассимилятивно-диссимилятивного яканья», преп. А. М. Дряхлушина (Саратов) «Синонимика лексики в „Сказках“ Салтыкова-Щедрина» и преп. Д. Е. Горелик (Чкалов) — «Разговорно-просторечная лексика в романе Д. А. Фурманова «Чапаев».

9 апреля с. г. Секция общего и сравнительно-исторического языковедения Ученого совета Института языковедения АН СССР провела совещание, на котором был заслушан и обсужден доклад мл. науч. сотр. И. А. Мельчука «Правила машинного перевода с венгерского языка на русский». В обсуждении доклада приняли участие Л. И. Жирков, П. С. Кузнецов, А. А. Ляпунов, А. А. Реформатский, А. Б. Шапиро.

19 апреля с. г. состоялось заседание Секции русского языка Ученого совета Института языковедения АН СССР, посвященное памяти члена-корр. АН СССР Д. Н. Ушакова, в связи с 15-летием со дня смерти. С докладами и воспоминаниями о жизни и деятельности Д. Н. Ушакова выступили А. Б. Шапиро, И. Г. Голанов, С. И. Ожегов и А. А. Реформатский.

В Издательстве Академии наук Груз. ССР вышел в свет первый том трехтомного «Русско-грузинского словаря» (А—М). Словарь составляется коллективом языковедов Института языковедения АН Груз. ССР [редколлегия: А. Г. Ахведиани, С. Вачнадзе, Н. Гогоберидзе, К. Даткашвили, К. Ломтатидзе (председатель), В. Топурия, Г. Церетели, А. Чикобава, А. Шанидзе]. Весь словарь будет содержать 64887 слов.

8 февраля 1957 г. Ученый совет Института языковедения АН СССР обсудил на заседании статью Н. Мацуева «1695 бы» («Литературная газета» 15.I.1957), посвященную критике I тома «Словаря языка А. С. Пушкина». Ученый совет отметил, что в статье Н. Мацуева отсутствует разбор основного материала словаря и принципов его построения и дается лишь разбор сивачной и технической стороны словаря, а также некоторых второстепенных вопросов (о целесообразности включения иностранных слов в верусском написании географических названий и т. п.). Статья Н. Мацуева дает одностороннее и неверное представление о словаре, в ней высказываются несправедливые и необоснованные упреки в адрес его составителей (вопрос о включении предлогов, союзов, междометий, о полном перечне слов, об ударении и др.). Ученый совет Института языковедения подчеркнул необходимость серьезной критической оценки «Словаря языка Пушкина» на страницах нашей печати и указал на недопустимость тона статьи Н. Мацуева, отнюдь не способствовавшей правильной характеристике этого большого и нужного научного труда.

*

3—8 апреля 1956 г. во Флоренции состоялся 8-й Международный конгресс романистов, посвященный проблеме формирования романских литературных языков. Дискуссия развернулась вокруг четырех основных докладов (предварительно опубликованы в журнале «Cultura neolatina», т. 16, № 1, 1956): Б. Терраччиа (Турин) «Понятие литературного языка»; А. Куна (Инсбрук) «Литературный язык и диалект»; Дж. Нечини (Рим) «Грамматическое учение и риторическая традиция»; Л. Шпандера (Балтимора) «Индивидуальный фактор как причина языковых инноваций». Конгресс заслушал также доклад Ш. Брюно (Париж) «Наука о сти-

листике — проблемы словаря». Помимо докладов, на конгрессе было сделано большое количество научных сообщений. На конгрессе присутствовало 240 делегатов от 22 стран. Следующий Международный конгресс романистов намечено провести в Лиссабоне.

26—30 сентября 1956 г. в Венеции состоялся Международный конгресс по итальянстике, организованный Международной ассоциацией по изучению итальянского языка и литературы. Большое место в работах конгресса было отведено вопросам лингвистической стилистики и методам филологической критики текстов.

3—5 сентября 1956 г. в Париже состоялся 8-й конгресс Международной ассоциации по изучению французской культуры. Одно пленарное заседание конгресса было посвящено обсуждению вопроса о месте народного разговорного языка в языке литературы эпохи до французской революции 1789 г.

3—6 сентября 1956 г. в Авиньоне был созван 1-й Международный конгресс «За живой латинский язык» («Pour le latin vivant»). На конгрессе обсуждались вопросы о месте латинского языка в системе современного образования, об улучшении преподавания латинского языка в средних учебных заведениях, а также перспективы возрождения латинского языка как международного вспомогательного языка науки.

В октябре 1956 г. во Флоренции состоялась 11-я ежегодная конференция Флорентинского лингвистического кружка. Темой конференции был вопрос об использовании данных сравнительной лексикологии для изучения истории правовых отношений романских народов. В конференции приняли участие известные итальянские юристы.

1—5 октября 1956 г. во Франкфурте-на-Майне проходила 4-я конференция Союза немецких германистов. В качестве основной задачи Союза в области языкознания председатель И. Трир выдвинул следующую: выработку нормативных основ общегерманского литературного языка. На конференции обсуждались также вопросы методики грамматического и лексикологического исследования.

3—7 апреля 1956 г. в Шато Жиф (близ Парижа) состоялся Международный коллоквиум по крито-микенским надписям. В коллоквиуме, организованном французским Национальным центром научных исследований, приняли участие крупнейшие специалисты по расшифровке и толкованию крито-микенских и минойских надписей: Беннет, Чадвик, Пальмер, Вентрис, Бенвенист, Георгиев и другие. Участники коллоквиума пришли к выводу о преждевременности попытки ввести единую систему транслитерации надписей, поскольку ряд знаков до сих пор по-разному толкуется учеными. Коллоквиум вынес решение об опубликовании свода надписей из Кносса, Микен и Пелоса и о создании Постоянного комитета по координации работ в области изучения крито-микенских надписей.

С 1957 г. в Болгарии выходит ежемесячный иллюстрированный журнал «Современная Болгария» на языке эсперанто («Nuntempa Bulgario. Monata kultura revuo»). Задачей журнала является ознакомление читателей с достижениями Болгарии в строительстве социализма, с новостями экономической и культурной жизни страны, информация о развитии эсперантистского движения.

Адрес редакции: Str. Levski 1, Sofio, Bulgario. Ĉefredaktoro Nikolaj P. Todorov.

СО Д Е Р Ж А Н И Е

Б. А. Серебрянников (Москва). Теория волн Иоганна Шмидта и явления языковой аттракции	3
Г. В. Степанов (Ленинград). Проблема изучения испанского языка Латинской Америки	16

ДИСКУССИИ И ОБСУЖДЕНИЯ

Р. Г. Пиотровский (Кишинев). Структурализм и языковедческая практика (Возможна ли структуральная диалектология?)	26
А. М. Деборин (Москва). Заметки о происхождении и эволюции научных понятий и терминов	36

ИЗ ИСТОРИИ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

Н. С. Поспелов (Москва). О лингвистическом наследстве С. Карцевского	46
А. М. Селищев. О языке «Русской Правды» в связи с вопросом о древнейшем типе русского литературного языка	57

СООБЩЕНИЯ И ЗАМЕТКИ

Н. И. Фельдман (Москва). Окказиональные слова и лексикография	64
В. И. Борковский (Москва). Фонетико-морфологические заметки о грамотах на бересте из раскопок 1953—1954 гг.	74
А. В. Суперанская (Москва). Грамматические наблюдения над именами собственными	79
Г. Ф. Ференс (Черновцы). О типах словообразовательной формы слов (На материале современного немецкого языка)	88
М. В. Раевский (Петрозаводск). О двух предлогах <i>unter</i> в современном немецком языке.	90

ОПЫТЫ МАШИННОГО ПЕРЕВОДА

Т. Н. Молошная (Москва). Некоторые вопросы синтаксиса в связи с машинным переводом с английского языка на русский.	92
--	----

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

А. И. Толкачев (Москва). Обзор зарубежных славистических журналов [Вопросы славянского языкознания в польских лингвистических журналах и сборниках (1954—1955 гг.)].	98
А. Н. Баскаков (Москва). Обзор лингвистических статей в журнале «Турецкий язык»	103
М. И. Исеев (Москва). Последние зарубежные труды об осетинском языке	108

О. В. Кржевская (Ленинград). <i>P. G. Piotrowskiy</i> . Очерки по грамматической стилистике французского языка	110
Limba română. Fonetica — Vocabular — Gramatica (Г. Михайла); <i>M. Toussaint</i> . La frontiere linguistique en Lorraine (М. А. Бородина); <i>V. G. Hoz</i> . Vocabulario usual, vocabulario común y vocabulario fundamental (И. А. Мельчук); <i>S. Elia</i> . Orientações da lingüística moderna (Р. М. Фрумкина); <i>B. T. Sozzi</i> . Aspetti e momenti della questione linguistica (Г. Лебедева); <i>I. M. Carlsen and P. M. H. Edwards</i> . A numericon of Russian inflections and stress patterns (А. И. Кузнецова); <i>J. Schytz</i> . Die geografische Terminologie der Serbokroatischen (В. М. Иллич-Свитыч); <i>H. Koneczna, W. Zawadowski</i> . Obrazy rentgenograficzne glosek rosyjskich (Т. С. Тихомирова)	114

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

В Институте языкознания АН СССР	124
Н. А. Баскаков (Москва). Читательские конференции в Казахстане, Киргизии и Туркмении	129
Э. Паулицы (Братислава). Словацкое языкознание после 1945 г.	131
В. Ф. Мареш (Прага). Заседание Международного комитета славистов в Праге	139
В. Ф. Мареш (Прага). Чехословацкая общегосударственная конференция по сравнительно-историческому изучению славянских языков	140
Хроникальные заметки	142

Articles: B. A. Serebrennikov (Moscou). La théorie des ondes de Johann Schmidt et les phénomènes de l'attraction des langues; G. V. Stepanov (Lénigrade). Sur l'étude de l'espagnol sud-américain; **Discussions:** R. G. Pyotrovski (Kichinev). Le structuralisme et la pratique linguistique (La dialectologie structurale, est-elle possible?); A. M. Déborine (Moscou). Notes sur l'origine et l'évolution des concepts et termes scientifiques; **De l'histoire de la linguistique:** N. S. Pospelov (Moscou). Sur l'héritage linguistique de S. Karcevski; A. M. Selistchev. La langue de «Russkaja Pravda» et le problème du type le plus ancien du russe littéraire; **Communications et notices:** N. I. Feldman (Moscou). Mots occasionnels et la lexicographie; V. I. Borovski. Notes phonétiques et morphologiques sur les actes russes écrits sur l'écorce du bouleau (fondé sur les matériaux excavés en 1953—1945); A. V. Superanskaja (Moscou). Observations grammaticales sur les noms propres; J. B. Kroupatkine (Kharkov). A propos de la contraction de *ai*, *au* germaniques; G. F. Ferens (Tchernovtzi). Sur les types de formation des mots (fondé sur les faits de l'allemand moderne); M. V. Rayevski (Petrozavodsk). Sur les deux prépositions *unter* en allemand moderne; **Essais de traduction mécanique:** T. N. Molochnaia (Moscou). Quelques problèmes syntactiques importants pour la traduction mécanique de l'anglais en russe; **Critique et bibliographie:** M. I. Tolkathev (Moscou). Problèmes de la linguistique slave dans les revues linguistiques polonaises (1954—1955); A. N. Baskakov (Moscou). Les articles linguistiques publiés dans la revue «Türk dili»; M. I. Isayev (Moscou). Les récentes œuvres étrangères sur la langue ossetine; **Comptes-rendus: Vie scientifique:** A l'institut de la linguistique de l'Académie des Sciences de l'URSS; N. A. Baskakov (Moscou). Les conférences des lecteurs à Kazakhstan, Kirghizie et Turkménie; E. Paulini (Bratislava). La linguistique slovaque après 1945; V. F. Mareš (Prague). La session du comité international de slavistes à Prague; V. F. Mareš (Prague). La conférence nationale tchèque consacrée à l'étude comparative et historique des langues slaves.

CONTENTS

Articles: B. A. Serebrennikov (Moscow). Johann Schmidt's wave theory and phenomena of language attraction; G. V. Stepanov (Leningrad). On the study of Latin-American Spanish; **Discussions:** R. G. Piotrovski (nishinev). Structuralism and linguistic practice (Is structural dialectology possible?); A. M. Deborin (Moscow). Notes on the origin and evolution of scientific concepts and terms; **From the history of linguistics:** N. S. Pospelov (Moscow). On S. Karcevski's linguistic heritage; A. M. Selichev. The language of «Russkaya pravda» and the problem of the oldest type of literary Russian; **Communications and notes:** N. I. Feldman (Moscow). Occasional words and lexicography; I. V. Borkovski (Moscow). Phonetic and morphological notes on Russian acts written on birch bark (based on the materials of excavations in 1953—1954); A. V. Superanskaya (Moscow). Grammatical observations on proper names; J. B. Kroupatkin (Kharkov). Concerning the contraction of the germanic *ai*, *au*; G. F. Ferens (Tchernovtzi). On the types of word-formation with facts from modern German; M. V. Rayevski (Petrozavodsk). On the two prepositions *unter* in modern German; **Experiments in machine translation:** T. N. Molochnaia (Moscow). Some syntactic problems connected with machine translation from English into Russian; **Critics and bibliography:** A. I. Tolkathev (Moscow). Problems of Slavonic linguistics in the Polish linguistic magazines (1954—1955); A. N. Baskakov (Moscow). Linguistic articles published in the magazine «Türk dili»; M. I. Isayev (Moscow). Recent foreign works on the Ossetic language; **Book reviews: Scientific life:** At the institute of linguistics of the Academy of Sciences of the USSR; N. A. Baskakov (Moscow). Readers' conferences in Kazakhstan, Kirghizia and Turkmenia; E. Paulini (Bratislava). Slovak linguistics after 1945; V. F. Mareš (Prague). The session of the international committee of slavists in Prague; V. F. Mareš (Prague). The Czechoslovak-all-state conference on the comparative and historical study of the Slavonic languages.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА

на журналы

АКАДЕМИИ НАУК СССР НА 1958 год

Название журнала	Количество номеров в год	Годовая подписная цена (в рублях)	Название журнала	Количество номеров в год	Годовая подписная цена (в рублях)
Автоматика и телемеханика	12	108	Природа	12	84
Акустический журнал	4	36	Радиотехника и электроника	12	144
Астрономический журнал	4	90	Русская литература	4	40
Биофизика	6	72	Советская археология	4	100
Биохимия	6	90	Советская этнография	6	108
Ботанический журнал	12	180	Советское востоковедение	6	72
Вестник Академии наук СССР	12	96	Советское государство и право	12	144
Вестник древней истории	4	96	Современный Восток	12	36
Вопросы языкознания	6	72	Теория вероятностей и ее применения	4	45
Геохимия	8	72	Успехи математических наук	6	96
Доклады Академии наук СССР (без папок)	36	360	Успехи современной биологии	6	48
Доклады Академии наук СССР (с 6 коленчатыми папками с тиснением)	36	384	Успехи физических наук	12	144
Журнал аналитической химии	6	72	Успехи химии	12	96
Журнал высшей первичной деятельности им. И. П. Павлова	6	90	Физика металлов и металловедение	6	90
Журнал научной и прикладной фотографии и кинематографии	6	45	Физиологический журнал СССР им. И. М. Сеченова	12	108
Журнал неорганической химии	12	270	Физиология растений	6	54
Журнал общей биологии	6	45	Энтомологическое обозрение	4	90
Журнал общей химии	12	270	Известия Академии наук СССР:		
Журнал прикладной химии	12	180	Отделение литературы и языка	6	54
Журнал технической физики	12	225	Отделение технических наук	12	180
Журнал физической химии	12	270	Отделение химических наук	12	126
Журнал экспериментальной и теоретической физики	12	288	Серия биологическая	6	72
Записки Всесоюзного минералогического общества	6	72	Серия географическая	6	90
Зоологический журнал	12	180	Серия геологическая	12	144
Известия Всесоюзного географического общества	6	54	Серия геофизическая	12	144
Исторический архив	6	90	Серия математическая	6	81
Исторический архив в переплете	6	99	Серия физическая	12	144
История СССР	6	72	Реферативный журнал, серия:		
Коллоидный журнал	6	72	Астрономия и геодезия	12	115.20
Кристаллография	6	72	Биология (сводный том)*	24	691.20
Математический сборник	12	144	География (сводный том)*	12	288
Микробиология	6	72	Геология (сводный том)*	12	288
Новая и новейшая история	6	60	Математика	12	172.80
Оптика и спектроскопия	12	144	Машиностроение (сводный том)*	24	734.40
Почвоведение	12	144	Металлургия (сводный том)*	12	504
Приборы и техника эксперимента	6	72	Механика	12	172.80
Прикладная математика и механика	6	81	Физика	12	360
			Физика	12	115.20
			Геофизика	12	115.20
			Химия (сводный том)*	24	758
			Биологическая химия	24	216
			Электротехника	24	480

Примечание. Серии Реферативного журнала, помеченные звездочкой, издаются одновременно как отдельными выпусками, так и в виде сводного тома. Условия подписки на отдельные выпуски Реферативного журнала имеются в проспектах «Союзпечать».

Годовая и полугодовая подписка

принимается в городских отделах «Союзпечать», конторах и отделениях связи, в пунктах подписки и общественными уполномоченными на заводах и фабриках, в научно-исследовательских институтах, учебных заведениях, учреждениях и организациях.

Подписка принимается также в магазинах «Академкнига», а также конторой «Академкнига» — Москва, Пушкинская ул., д. 23